

Рак
Britannica

Карл
Поланьи



ВЕЛИКАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИСТОКИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Карл Полаanyi

Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени

Великая трансформация

Моей горячо любимой жене Илоне Дугциньской,

всецело обязанный ее дружеской помощи

и критическим замечаниям,

посвящаю я эту книгу

Предисловие автора

История этой книги — это история бескорыстной дружбы. Автор ее многим обязан своим английским друзьям и прежде всего Ирен Грант, с исследовательской группой которой он был близок. Общие научные интересы связывали его с Феликсом Шафером, экономистом из Вены, ныне живущим в Веллингтоне, Новая Зеландия. В Америке компетентную помощь автору оказал Джон А. Кувенховен, отредактировавший рукопись; многие из его идей вошли в окончательный текст книги. Кроме того, автор многим обязан своим коллегам по Беннингтон-колледжу, Хорсту Мендерхаузену и Питеру Ф. Дракеру. Хорст Мендерхаузен и его супруга, несмотря на полное несогласие с выводами автора, стали для него источником постоянной моральной поддержки, а дружеское расположение Питера Ф. Дракера делало еще более ценными его полезные советы. Автор искренне благодарит Ганса Цайзеля из университета Ратгерс, внимательно прочитавшего книгу, и выражает глубокую признательность Джону Кувенховену, который вместе с Хорстом Мендерхаузенем и Питером Дракером взял на себя все труды по подготовке ее к печати.

Фонду Рокфеллера автор благодарен за 2-летнюю стипендию, позволившую ему в 1941–1943 гг. завершить книгу

в Беннингтон-колледже, Вермонт, куда он был приглашен тогдашним его президентом Робертом Д. Леем. К мысли об этой книге автор пришел после цикла публичных лекций и семинара, который он вел в 1940/1941 академическом году. Условия для исследовательской работы ему любезно предоставили Библиотека Конгресса в Вашингтоне, О. К. Н. Л. и Зелигмановская библиотека Колумбийского университета, Нью-Йорк, за что автор выражает им свою признательность.

К. П.

Предисловие редакторов издания

Перед вами книга, с появлением которой большинство работ в этой области кажутся банальными или устаревшими. Столь редкое событие есть предвестник новых времен. В этой книге, вышедшей в переломный исторический момент, мы находим новое постижение формы и смысла дел человеческих. Г-н Поланьи не претендует на то, чтобы писать историю, — он ее переписывает. Он не вносит свечу в некие темные уголки ее и не пытается сделать из нее публичное исповедание своей собственной веры, — нет, г-н Поланьи, обнаруживая тонкую пронизательность и обширную эрудицию, проливает новый свет на разнообразные процессы и перевороты, охватывающие целую эпоху невиданных по масштабу перемен.

Непосредственная цель г-на Поланьи заключается в том, чтобы выявить (и он делает это с замечательной глубиной) социальные последствия определенной экономической системы, а именно рыночной экономики, полное развитие которой наступило в XIX в. Пришло время, когда обращенный в прошлое ум может постичь ее во всей целостности, когда он уже достиг — и оставил позади — пору своей зрелости. События и процессы, теории и поступки предстают перед нами в новой перспективе. Многое из того, что заурядным историкам кажется лишь случайным эпизодом, высвечивается теперь более глубоким смыслом, а то, что казалось странной аномалией, получает истинную оценку. Сведение человеческого существа к простой «рабочей силе», а природы — к «земельной собственности» превращает новую историю в высокую, захватывающую драму, в финале которой ее скованный протагонист, общество, разрывает свои цепи.

Этот новый взгляд, лишь намеченный, но не развитый в работах других авторов, сообщает новые пропорции личностям и идеям. Возьмем, к примеру, чартистское движение, пророческое по своему духу учение Роберта Оуэна или знаменитый урок Спинхемленда — насколько же глубже проникает г-н Поланьи в их исторический смысл! Насколько понятнее становятся для нас все эти самодовольно-рассудительные сквайры, предписывающие кабинетные законы той силе, которую ни они, ни даже самые просвещенные умы их эпохи еще не были в состоянии постичь! Совершенно другими глазами наблюдаем мы за тем, как различные идеологии ведут битву вокруг неумолимо растущей экономики, как одни теоретики сопротивляются ей в слепом безрассудстве, другие — силятся отвести самые жестокие ее удары, безжалостно разрывающие социальную ткань, а третьи, в простоте своей души — или, может быть, ума — с искренним восторгом приветствуют каждый новый ее шаг. Мы видим арьергардные бои защитников старого порядка, беспомощную растерянность ревнителей традиционного христианства, легкую победу ортодоксальных экономистов, с необыкновенной легкостью объясняющих все на свете. Но грозная сила оставляет за собой пустыню, и наспех возводимые укрепления рушатся под ее неодолимым напором. Мы понимаем, каким образом новое освобождение принесло с собой новое рабство, и можем оценить всю серьезность вызова, перед которым стоит наша собственная эпоха.

Мысль г-на Поланьи оставляет далеко позади и догматику Карла Маркса, и апологетику реакции. Он исследует развитие экономики в рамках современной цивилизации, но не предлагает нам какой-либо жесткой доктрины экономического детерминизма. Вместо этого он дает глубокий анализ конкретного процесса исторической трансформации, решающую роль в котором сыграла замена одной экономической системы другой. И произошло это не потому, что экономические отношения всегда являются первичными и определяющими, но потому, что в этом — и только в этом — случае новая экономика в ее «идеальном варианте» потребовала безжалостно отвергнуть представление о том, что человек есть существо

социальное. Г-н Поланьи весьма удачно ссылается на феномен колониализма и на пример первобытных обществ, подвергшихся вторжению промышленной цивилизации, и таким образом демонстрирует не только то, что принесла эта «идеальная система» им, но и то, что она значила для нас. «Сатанинская мельница» не желала знать ни о каких человеческих потребностях, кроме одной-единственной; с тупой беспощадностью она принялась перемалывать на атомы само человеческое общество. А потому люди вынуждены были открыть общество. Общество — вот ключевое слово для г-на Поланьи. Величайшая из трагедий, сопровождавших промышленную революцию, была вызвана отнюдь не жадностью и бессердечием алчущих прибыли капиталистов — хотя бесчеловечной жестокости в ее летописях было предостаточно, — но тем социальным опустошением, которое производит рыночная экономика, действующая бесконтрольно. Люди не сумели понять, что значит связь и единство общественного организма. Внутренний храм человеческой жизни был разграблен и осквернен. Грандиозная проблема социального контроля над процессом революционных по своему масштабу перемен не была по-настоящему осознана: ее заслонили полные оптимизма философские теории, ее скрыли от глаз близорукие филантропы, действовавшие заодно с эгоистическими политиками, и в итоге мудрость века так и осталась нерожденной.

Но, рассказывая об этом, г-н Поланьи вовсе не обращает ностальгически-печальные взоры в некое блаженное прошлое; защищать дело реакции он не намерен. Пути назад нет, и его поиски не приведут нас к решению проблемы. Наша эпоха нуждается в другом — в том, чтобы с учетом ее собственных условий и требований заново утвердить сущностные ценности человеческого бытия. Традиция ничем нам здесь не поможет; напротив, она обманет нас, если мы всецело ей доверимся. Нам следует не отрекаться от принципа личной свободы, но заново его осмыслить и воссоздать. Мы бессильны возродить ушедшее общество, пусть даже дымка истории скроет от нас его пороки, мы должны построить новое общество для самих себя, усвоив, насколько это для нас возможно, уроки прошлого и вняв его грозным предупреждениям. И, делая это, нам, вероятно, следует в виду, что совокупность причинных связей, определяющих ход дел человеческих, является настолько сложной и запутанной, что постичь ее вполне не под силу даже самым глубоким умам. Всегда наступает такой момент, когда свои ценности нам следует испытать в действии с тем, чтобы рвущиеся на свободу силы современности смогли выйти на поверхность истории и устремиться в новом направлении и к новым целям.

Столь глубокая и стимулирующая мысль книга непременно вызовет споры и возражения в самых различных пунктах. Некоторые могут усомниться в том, действительно ли роль рыночной экономики являлась настолько абсолютной и всеохватывающей, а внутренняя логика развития самой системы — настолько суровой и неумолимой. Возможно, они сочтут крайностью следующее утверждение автора: «народы и государства были всего лишь марионетками в этой пьесе, совершенно недоступной контролю с их стороны». Другие, вероятно, посчитают, что различным формам «защиты» от действия саморегулирующегося рынка следовало бы дать различное истолкование, и их немного шокирует то обстоятельство, что апологеты протекционистских тарифов и творцы социального законодательства предстают у автора чем-то вроде братьев по оружию, и т. д. Однако все они должны будут признать, что в целом его аргументация неопровержима. Теперь, после грандиозного землетрясения, мы стоим на новом наблюдательном пункте и с его высоты смотрим на обращенные в прах храмы наших любимых богов. Нам открылась вся непрочность их фундамента, и, может быть, мы сумеем понять, где и как следует нам восстанавливать институциональное здание общества, чтобы оно могло с большим, чем прежде, успехом, противостоять ударам исторических перемен.

Первостепенную важность имеет сегодня тот урок, который несет эта книга творцам будущего миропорядка. Она показывает, что банальных формул либерализма вроде «всеобщий мир через мировую торговлю» уже недостаточно. Довольствуясь подобными догмами, мы становимся жертвами ложного и весьма опасного упрощения. Ни отдельные государства, ни

международная система не могут полагаться на автоматические регуляторы. Сбалансированные бюджеты, свободное предпринимательство, мировая торговля, международные расчетные палаты и денежные системы не способны сами по себе гарантировать устойчивость мирового порядка. Обеспечить его может только общество, а значит, нужно открыть и построить международное сообщество. И здесь институциональная структура должна поддерживать и контролировать собственно экономическую систему.

Таким образом, книга эта предназначена не только для экономистов, хотя по богатству своих идей она представит для них огромный интерес, не только для историков, хотя она откроет перед ними новые горизонты, не только для социологов, хотя она даст им более глубокое понимание того, что такое общество, не только для исследователей политики, хотя она поможет им заново сформулировать прежние проблемы и по-новому оценить старые доктрины, — эта книга адресована всем мыслящим людям, желающим расширить и углубить свои нынешние представления о социальных процессах, иначе говоря, каждому, кто стремится понять то общество, в котором он живет, тот кризис, через который прошло это общество, и те испытания, которые ожидают нас впереди. В этой книге читатель сможет разглядеть смутные очертания новой, более глубокой веры, он научится видеть что-то еще, кроме тех неполных ответов и ложных альтернатив, которые обыкновенно ему навязывают, — «до сих пор, ни шагу дальше» либерализма, «все или ничего» коллективизма, полное и абсолютное отрицание, свойственное индивидуализму, — ибо все подобные решения превращают в важнейшую цель какую-то определенную экономическую систему, тогда как только открыв и осознав абсолютный примат общества, высшую ценность всеохватывающего единства человеческих связей и взаимозависимостей, можем мы надеяться выйти из интеллектуальных тупиков нашей эпохи и разрешить ее противоречия.

П. М. Макайвер

М-р Поланьи не имел возможности вполне завершить работу над своей рукописью перед возвращением в Англию: во время войны трудно узнать заранее дату отплытия, когда же она назначена, ее нельзя отменить по собственной воле. Кроме того, ни издатель, ни друзья автора, готовившие книгу к печати, не могли ввиду неизбежных превратностей и задержек военного времени эффективно консультироваться с ним посредством почты или телеграфа. А потому нам пришлось без разрешения автора сделать ряд изменений и изъятий в примечаниях, а также (в незначительной степени) и в самом тексте. И хотя в большинстве случаев мы были твердо убеждены в их целесообразности, кое-где, к сожалению, нам приходилось полагаться единственно лишь на собственную интуицию.

Дж. А. К.

Часть I

Международная система

Глава 1

Столетний мир

Цивилизация XIX в. потерпела крушение. Настоящая книга посвящена политическим и экономическим истокам этого события, а также той грандиозной трансформации, которая за ним последовала.

Цивилизация XIX в. основывалась на четырех институтах. Первым из них была система равновесия сил, в течение ста лет предотвращавшая сколько-нибудь длительные и разрушительные войны между великими державами; вторым — международный золотой стандарт, символизирующий совершенно уникальную организацию мировой экономики; третьим — саморегулирующийся рынок, обеспечивший неслыханный рост материального процветания, и, наконец, четвертым — либеральное государство. При одном способе классификации два из этих институтов являются экономическими, два — политическими; при классификации по другому принципу два попадают в разряд национальных, два — в разряд международных. Их взаимодействие и определило в главных чертах историю нашей цивилизации.

Критическую роль в судьбе этой цивилизации сыграл золотой стандарт: именно его крах стал непосредственной причиной катастрофы. К этому моменту большинство других институтов уже было принесено в жертву в тщетных попытках его спасти.

Но источником и порождающей моделью системы был саморегулирующийся рынок. Именно это новшество вызвало к жизни цивилизацию особого типа. Золотой стандарт являлся лишь попыткой распространить на весь мир рыночную систему, функционировавшую в рамках отдельных государств; система равновесия сил была надстройкой, возведенной над золотым стандартом и отчасти действовавшей через него; а либеральное государство как таковое представляло собой продукт саморегулирующегося рынка. Ключ к пониманию системы XIX в. лежит в законах, управляющих рыночной экономикой.

Мы намерены показать, что идея саморегулирующегося рынка основывается на самой настоящей утопии. Подобный институт не мог бы просуществовать сколько-нибудь долго, не разрушив при этом человеческую и природную субстанцию общества; он бы физически уничтожил человека, а среду его обитания превратил в пустыню. Общество, что вполне естественно, принимало меры самозащиты, но любые подобного рода меры причиняли ущерб принципу саморегулируемости, вносили дезорганизацию в хозяйственную жизнь, подвергая таким образом опасности общество, но уже с другой стороны. Именно это противоречие заставило рыночную систему развиваться в одном, жестко определенном направлении и в конце концов разрушило ту социальную организацию, для которой данная система служила фундаментом.

Такое объяснение одного из глубочайших кризисов в человеческой истории должно показаться чрезмерно упрощенным. В самом деле, нет ничего более нелепого, чем попытка свести всю цивилизацию, все ее материальное и духовное содержание к определенному числу институтов, избрать один из них в качестве самого важного, а затем доказывать неизбежность саморазрушения данной цивилизации из-за каких-то частных, технических особенностей ее экономического устройства. Цивилизации, как и сама жизнь, возникают в результате взаимодействия множества независимых факторов, которые, как правило, невозможно свести к ясно очерченным институтам. Попытка исследовать институциональный механизм крушения цивилизации может показаться совершенно безнадежным предприятием. Тем не менее именно это мы намерены осуществить. Решаясь на осуществление такой задачи, мы оправдываем цель нашего исследования чрезвычайным своеобразием самого сюжета. Уникальность цивилизации XIX в. заключалась именно в том, что она концентрировалась вокруг именно этого институционального механизма.

Социальную трансформацию вселенского масштабу увенчивают беспрецедентные по своему характеру войны, в которых находят гибель два десятка государств, а из моря пролитой крови проступают очертания новых держав. Но вся эта страшная масса насилия есть, в сущности,

лишь внешняя оболочка стремительного, но бесшумного потока перемен, который нередко поглощает прошлое, не оставив на поверхности даже легкой ряби! Рациональный анализ катастрофы позволит нам объяснить и бурные потрясения, и тихий, незаметный распад.

Наша книга — не труд по истории, мы не пытаемся выстроить внешне убедительную цепь из грандиозных событий, мы стремимся понять их смысл с точки зрения судьбы институтов человеческого общества. Мы позволим себе задерживаться на картинах прошлого с одной-единственной целью — пролить свет на проблемы настоящего; мы предпримем детальный анализ отдельных переломных периодов, совершенно игнорируя лежащие между ними промежутки времени; ради этой цели мы будем вторгаться в область самых разных научных дисциплин.

Прежде всего обратимся к проблеме крушения международного порядка. Мы попытаемся доказать, что система равновесия сил уже не могла обеспечивать сохранения мира, коль скоро мировая экономика — фундамент этой системы — потерпела полное банкротство.

Данное обстоятельство объясняет внезапность краха и невероятную стремительность распада. Но если крушение нашей цивилизации совпало по времени с развалом мировой экономики, то это еще не значит, что оно было им вызвано. Истинные его первопричины — в том социальном и технологическом перевороте, который еще сто лет назад породил в Западной Европе идею саморегулирующегося рынка. Крах этой авантюры наступил в наше время, явившись завершением вполне определенного периода в истории индустриальной цивилизации.

Заключительная часть книги посвящена анализу механизма перемен, характерных для социальных и государственных структур современной эпохи. На наш взгляд, если выразить его предельно кратко, нынешнее состояние человечества следует истолковывать с точки зрения институциональных истоков кризиса.

XIX в. принес с собой явление, совершенно неслыханное в летописях западной цивилизации, а именно — Столетний мир 1815–1914 гг. Если оставить в стороне Крымскую кампанию — войну до известной степени колониальную по своей природе, — то окажется, что Англия, Франция, Пруссия, Австрия, Италия и Россия воевали между собой в общей сложности не более полутора лет. Аналогичные расчеты по двум предшествующим столетиям дают в среднем 60–70 лет крупных войн в каждом. Между тем даже самое яростное из столкновений XIX в., франко-прусская война, продолжалась меньше года, а побежденная нация смогла выплатить неслыханную по тем временам контрибуцию без каких-либо последствий для валютных систем соответствующих государств.

Этот прагматический пацифизм восторжествовал, разумеется, вовсе не потому, что в Европе отсутствовали серьезные причины для конфликтов. Фоном для этой мирной картины были почти непрерывные перемены во внутреннем и внешнем положении могущественных государств и громадных империй. В первой половине века гражданские войны, революционные и контрреволюционные интервенции представляли собой обычное явление. В Испании стотысячное войско герцога Ангулемского штурмовало Кадис, в Венгрии революционеры едва не разбили в генеральном сражении самого императора, и только русская армия, вступившая на венгерскую территорию, сумела в конце концов подавить их восстание. Священный Союз всюду ознаменовал свое присутствие вооруженными интервенциями — в германских государствах и в Бельгии, в Дании и в Швейцарии, в Польше и в Венеции. Во второй половине столетия вырвались на свободу мощные силы прогресса; Османская, Египетская и Персидская империи распались или подверглись расчленению; вторгшиеся в Китай войска заставили его открыть двери иностранцам; один исполинский порыв привел к разделу всей Африки. В то же время два государства, Россия и Соединенные Штаты, возвысились до статуса мировых держав; Германия и Италия достигли национального единства; Бельгия, Греция, Румыния, Болгария, Сербия и Венгрия получили

или возвратили себе место на карте Европы в качестве суверенных государств. Почти непрерывный ряд открытых войн сопровождал вторжение индустриальной цивилизации в царство первобытных народов и традиционных культур. Русские завоевания в Средней Азии, бесчисленные войны англичан в Индии и Африке, «подвиги» французов в Египте, Алжире, Тунисе, Сирии, Индокитае, Сиаме и на Мадагаскаре порождали между великими державами такие споры, разрешить которые можно, как правило, только силой. И однако, каждый из этих конфликтов удалось локализовать, а в бесчисленном множестве других острых ситуаций, которые способны были повлечь за собой резкие насильственные изменения, великие державы действовали сообща и, сглаживая противоречия, добивались компромисса. Изменялись методы — результат оставался прежним. В первой половине века конституционализм был предан анафеме, и Священный Союз душил свободу во имя мира — во второй его половине, и опять же во имя мира, не думавшие ни о чем, кроме денег, банкиры навязывали конституции беспокойным деспотам. Так различными способами и при содействии беспрестанно изменяющихся идеологий — именем свободы и прогресса, властью трона и алтаря, милостью фондовой биржи и чековой книжки, взятками и коррупцией, моральным убеждением и просвещенной апелляцией к высшим ценностям или с помощью бортового залпа и штыка — достигался один и тот же результат, сохранение мира.

Причиной этого воистину чудесного следствия было действие системы равновесия сил, которая в данном случае привела к результату, обыкновенно для нее несвойственному. Внутренняя природа подобной системы порождает совершенно иной результат — сохранение входящих в нее силовых единиц. В самом деле, закон функционирования этой системы сводится к следующему принципу: три или более элемента, способных оказывать силовое воздействие, всегда ведут себя таким образом, чтобы соединенными силами слабейших воспрепятствовать увеличению силы сильнейшего — и не более того. В плане всемирной истории система равновесия сил затрагивала отношения отдельных государств и служила сохранению их независимости. Однако достигалось это лишь ценой нескончаемой войны, участники которой переходили из одного лагеря в другой. Пример подобного рода дают нам города-государства Древней Греции или Северной Италии в Средние века: войны между постоянно меняющимися по составу коалициями позволяли сохранять независимость этих государств в течение довольно долгого времени. Действие того же принципа в продолжение более чем двухсот лет обеспечивало суверенитет государств, существовавших в Европе к моменту заключения Вестфальского мира (1648). Когда же семьдесят лет спустя страны-участницы Утрехтского договора формально декларировали свою приверженность этому принципу, они превратили его в систему, установив таким образом равные гарантии выживания — выживания через войну — как для сильных, так и для слабых государств. И тот факт, что в XIX в. действие того же самого механизма чаще имело своим следствием мир, нежели войну, представляет собой серьезную проблему для историка.

Совершенно новым фактором эпохи стала, на наш взгляд, острейшая заинтересованность в сохранении мира. Прежде подобную заинтересованность рассматривали по традиции как нечто, существующее вне реальной практики межгосударственных отношений. Мир вместе со всеми его плодами — науками, искусствами и ремеслами — воспринимался лишь как одно из необязательных украшений человеческой жизни. Церковь, разумеется, могла сколько угодно молить о мире (как молилась она о даровании щедрого урожая), однако в области реальной государственной политики она всякий раз оправдывала использование вооруженной силы; правительства подчиняли интересы мира соображениям безопасности и суверенитета, иначе говоря, таким целям, достигнуть которых без обращения к «последнему доводу» было невозможно. Так, еще во второй половине XVIII в. Жан-Жак Руссо гневно обличал купцов за недостаток патриотизма, ибо эти люди, как он подозревал, готовы были предпочесть мир свободе.

После 1815 г. произошла полная и стремительная перемена. Мощная волна, поднятая Французской революцией, влилась в набирающий силу поток другой, промышленной

революции, и, таким образом, создание условий для мирной коммерческой деятельности превратилось в предмет всеобщей заинтересованности. Народам Европы, провозгласил Меттерних, нужна не свобода, но мир. Гентц именовал патриотов «современными варварами». Церковь и трон принялись за «денационализацию» Европы. В пользу их аргументов свидетельствовали как неслыханная жестокость недавних войн с их новыми, «народными» методами, так и необыкновенно возросшее значение мира для быстро развивавшихся национальных экономик.

Выразителями этого нового «мирного интереса» являлись, как это обычно и происходит, те, кто извлекал из него главную выгоду, а именно картель коронованных особ и феодальной знати, чьи наследственные привилегии грозила смести поднявшаяся тогда в Европе волна революционного патриотизма. И потому примерно в течение трети века Священный Союз обеспечивал активную мирную политику как мощным идейным импульсом, так и силой принуждения; его армии рыскали по всей Европе, подавляя национальные меньшинства, а кое-где приводя к покорности большинство. С 1846 до 1871 г. — «в одно из самых сложных и насыщенных событиями двадцатипятилетней европейской истории»[1] мир был гарантирован не столь надежно, так как идущие на убыль силы реакции столкнулись с набиравшей мощь индустриальной цивилизацией. В четверть века, последовавшую за франко-прусской войной, возродившийся мирный интерес представляет новый мощный институт — Европейский концерт держав.

Однако любые интересы, как и намерения, неизбежно остаются платоническими до тех пор, пока не находят себе выражение в политике посредством тех или иных социальных инструментов. На первый поверхностный взгляд, подобное орудие для их реализации как раз отсутствовало, ибо и Священный Союз, и Европейский концерт были в конечном счете лишь простой совокупностью независимых суверенных государств, подчиненных, следовательно, системе равновесия сил и обслуживавшему ее механизму войны. Каким же образом удавалось тогда сохранить мир?

Разумеется, любой системе равновесия свойственна тенденция предотвращать такие войны, которые могут возникнуть из-за того, что та или иная страна пытается изменить статус-кво, не принимая заранее в расчет перегруппировки сил, к которой приведут подобные действия. Известный пример — сворачивание Бисмарком в 1875 г. антифранцузской газетной кампании после вмешательства Англии и России (поддержка Франции Австрией считалась само собой разумеющейся). Тогда Европейский концерт действовал против Германии, оказавшейся в изоляции. В 1877–1878 гг. Германия не сумела предотвратить русско-турецкую войну, однако ей удалось локализовать этот конфликт, поддержав ревнивое недовольство Англии продвижением России к проливам. Германия и Англия выступили на стороне Турции против России и таким образом спасли мир. На Берлинском конгрессе был принят долгосрочный план постепенной ликвидации европейских владений Османской империи; это, несмотря на все последующие изменения статуса-кво, позволило избежать войны между великими державами, ибо каждая из заинтересованных сторон знала почти наверняка, с какими силами пришлось бы ей столкнуться на поле битвы. Мир в подобных случаях оказывался желанным, но, в сущности, побочным продуктом системы равновесия сил.

А иногда там, где на карту была поставлена судьба малых государств, войну удавалось предотвратить путем целенаправленного устранения ее причин. Малым странам не позволяли нарушать статус-кво какими-либо действиями, способными спровоцировать войну. Голландское вторжение в Бельгию в 1831 г. привело в конечном счете к тому, что последняя получила статус нейтрального государства. В 1855 г. была нейтрализована Норвегия; в 1867 г. Голландия продала Люксембург Франции, Германия заявила протест, и Люксембург стал нейтральным. В 1856 г. целостность Османской империи была объявлена необходимым условием европейского равновесия, и Европейский концерт всячески стремился сохранить эту империю; после 1878 г., когда для подобного равновесия считался необходимым ее распад, расчленение Турции проводили столь же планомерно и методично, хотя в обоих

случаях соответствующее решение означало жизнь или смерть для целого ряда малых народов. Между 1852–1863 гг. Дания, а между 1851–1856 гг. германские государства грозили нарушить равновесие, однако каждый раз малые страны вынуждены были подчиняться диктату великих держав. Свобода действий, предоставляемая им системой равновесия, использовалась в подобных случаях великими державами для того, чтобы добиться общей цели, а целью этой — в данных обстоятельствах — оказался мир.

И все же следует признать, что между периодическим устранением опасности войны посредством снятия напряжения в конкретной ситуации или путем нажима на малые страны, с одной стороны, и столь глобальным историческим фактом, как Столетний мир, с другой, существует огромное различие. Причины, которые могут нарушать международное равновесие, воистину бесчисленны — от амурных приключений коронованных особ до засорения устья какой-нибудь реки, от богословского спора до технического открытия. Простой рост богатства и народонаселения страны или, напротив, их уменьшение неизбежно приводят в движение определенные политические силы, а войны и сдвиги в соотношении внешних факторов всякий раз отражают перемены внутренние. Даже хорошо отлаженная система равновесия сил может обеспечивать мир без постоянной апелляции к угрозе войны лишь тогда, когда она способна непосредственно влиять на эти внутренние факторы, предотвращая любое нарушение равновесия уже в зародыше. Если же дисбаланс успел приобрести достаточно мощный собственный импульс, то исправить его и восстановить равновесие способна опять же только сила. Чтобы гарантировать мир, нужно устранить причины войны — эта банальная истина очевидна для всякого, однако далеко не все понимают, что для достижения подобной цели необходимо контролировать поток жизни у самых истоков.

Священный Союз сумел этого добиться с помощью особых, характерных именно для него средств. Европейские монархи и аристократы образовали Интернационал кровного родства, а римско-католическая церковь обеспечила его штатом добровольных чиновников, занимавших в Южной и Центральной Европе всю социальную лестницу — от самых верхних до самых нижних ее ступеней. Таким образом, иерархия происхождения и иерархия благодати, объединившись, превратились в весьма эффективный инструмент власти в отдельных государствах, и чтобы гарантировать мир на всем континенте, ему требовалось одно-единственное дополнение — военная сила.

Между тем Европейский концерт, пришедший ему на смену, не имел ни феодальных, ни клерикальных щупальцев, представляя собой, самое большее, некую рыхлую федерацию, совершенно несопоставимую по своей внутренней сплоченности с шедевром Меттерниха. Только в отдельных случаях оказывались возможными встречи представителей великих держав, а их взаимное недоверие оставляло широкий простор для всевозможных интриг, закулисных махинаций и дипломатического саботажа; совместные военные акции стали редкостью. И однако то, чего Священный Союз, с его полным единством идеологии и практических целей, смог лишь достичь в одной только Европе организацией частых вооруженных интервенций, это шаткое образование, именовавшееся Европейским концертом, совершило в масштабах всего мира, прибегая к силе куда реже и с гораздо меньшей жестокостью. Чтобы объяснить этот поразительный результат, нам следует найти скрытый, но мощный социальный механизм, который, действуя в новых исторических условиях, смог сыграть роль, принадлежавшую прежде королям и епископам, и эффективно обеспечить интересы мира. Этой анонимной силой была финансовая олигархия.

Всесторонними исследованиями международной банковской системы XIX в. мы все еще не располагаем; контуры этого загадочного института до сих пор не проступили из тумана политико-экономической мифологии.[2] Некоторые утверждали, что он был всего лишь простым инструментом правительств, другие — что сами правительства служили орудием его неутолимого корыстолюбия; одни считали его сеятелем раздора в отношениях между государствами, другие — проводником идеи бесхребетного космополитизма, подтачивавшего

жизненные силы зрелых и мужественных народов. Во всем этом есть известная доля истины. Финансовая олигархия, институт *sui generis*[3], характерный для последней трети XIX и первой трети XX в., функционировал в качестве основного связующего звена между политической и экономической организацией мира в эту эпоху. Он обеспечивал необходимыми инструментами международную систему сохранения мира, систему, которая приводилась в действие с помощью великих держав, но которую великие державы сами по себе не смогли бы ни создать, ни поддерживать. Европейский концерт действовал лишь время от времени, тогда как финансовая олигархия функционировала в качестве постоянного института, чрезвычайно гибкого по своей природе. Независимый от отдельных правительств, даже самых могущественных, он находился в контакте со всеми без исключения; самостоятельный по отношению к центральным банкам отдельных стран, даже Английскому банку, он был прочно с ними связан. Теснейшие связи существовали также между финансистами и дипломатами: ни те ни другие не стали бы всерьез рассматривать какой-либо долгосрочный план, мирный или военный, не убедившись прежде в добром расположении другой стороны. И все же главный секрет столь успешного сохранения всеобщего мира заключался, несомненно, в особенностях организации, положения и функционирования самой международной финансовой системы.

Как персональный состав, так и движущие мотивы этого своеобразного института придавали ему статус, прочно укорененный в частной сфере строго деловых интересов. Ротшильды не подчинялись какому-то определенному правительству; как семейство, они воплощали в себе абстрактный принцип интернационализма, они были верноподданными фирмы, деловой кредит которой стал единственным звеном между правительствами и индустриальной деятельностью в условиях стремительного роста мировой экономики. В конечном счете их независимость была обусловлена требованиями эпохи, которая нуждалась в верховном самостоятельном агенте-посреднике, способном внушить равное доверие как политикам отдельных стран, так и международным инвесторам, и именно эту насущную потребность метафизическая экстерриториальность династии еврейских банкиров, обитавших в разных европейских столицах, удовлетворяла почти идеальным образом. Сами Ротшильды были кем угодно, но только не пацифистами; они нажили свое состояние, финансируя войны, они были абсолютно невосприимчивы к моральным аргументам и ничего не имели против войн небольших, коротких и локальных. Но если бы всеобщая война между великими державами дезорганизовала финансовые основы системы, то коммерческим интересам Ротшильдов был бы нанесен ущерб. Таким образом, сама логика событий отвела им эту роль — сохранять необходимые условия мира в эпоху революционной трансформации, которую переживали тогда народы нашей планеты.

В структурном отношении финансовая олигархия представляла собой ядро одного из самых сложных институтов, существовавших в истории человечества. Несмотря на относительную недолговечность, этот институт по своей универсальности, по удивительному разнообразию своих инструментов и форм может быть сопоставлен лишь со всей совокупностью человеческих усилий в области торговли и промышленности, для которой сам он стал в известном смысле символом и отражением. Помимо международного центра, или финансовой олигархии в собственном смысле, существовало с полдюжины центров с примыкавшими к ним эмиссионными банками и фондовыми биржами. К тому же международная банковская система не ограничивалась финансированием правительств в их мирных и военных предприятиях, ее операции включали в себя иностранные капиталовложения в промышленность, строительство и банки, а также долгосрочные займы государственным и частным организациям за границей. Сфера национальных финансов также представляла собой самый настоящий микрокосм. В одной только Англии насчитывалось до полусотни различных типов банков; свои характерные особенности имелись в организации банковского дела во Франции и в Германии; в деятельности казначейств этих стран и в их отношениях с частным финансовым капиталом существовали поразительные, а в том, что касается деталей, — чрезвычайно тонкие различия. Денежный

рынок имел дело с великим множеством векселей, международных акцептов, платежных поручений, равно как денежными ссудами до востребования и другими маклерскими изобретениями. Общая схема усложнялась бесконечным разнообразием национальных групп и отдельных личностей, каждая со своим особым престижем и положением, авторитетом и лояльностью, денежными и прочими связями, сферой влияния и социальной аурой.

Финансовая олигархия не была специально «придумана» в качестве инструмента мира; эта роль выпала ей на долю, как сказал бы историк, «случайным образом», тогда как социолог, вероятно, предпочел бы назвать это «законом целесообразности». Главным мотивом финансовой олигархии являлась прибыль, а чтобы ее обеспечить, необходимо было поддерживать хорошие отношения с правительствами, целью которых были власть и территориальные завоевания. И здесь мы можем без всякого для себя ущерба отвлечься от различий между могуществом политическим и экономическим, между экономическими и политическими целями правительств; в самом деле, для национальных государств данной эпохи характерным было именно то, что подобное различие не имело особого значения на практике, ибо, какие бы цели ни ставили перед собой правительства, достичь их они пытались через использование и увеличение мощи собственного государства. С другой стороны, хотя организация и персональный состав финансовой олигархии имели интернациональный характер, они вовсе не являлись по этой причине совершенно независимыми от национальных государств. Ведь финансовая олигархия — как движущий, иницирующий центр участия банкиров в синдикатах, консорциумах, инвестиционных группах, иностранных займах, финансовом контроле и прочих крупных коммерческих предприятиях — была просто вынуждена искать сотрудничества с национальным капиталом, национальными банками, национальными финансовыми системами. Хотя национальный финансовый капитал был подчинен правительствам, как правило, в меньшей степени, чем национальная промышленность, он находился в достаточно сильной от них зависимости, чтобы международный финансовый капитал активно стремился к контакту и взаимодействию с самими правительствами. И все же в той мере, в какой международная финансовая олигархия — в силу своего положения и персонального состава, своих связей — сохраняла фактическую независимость от любого правительства, она была способна служить новому интересу, который не имел собственного органа, реализовать который не мог никакой другой из существовавших тогда институтов, но который являлся жизненно важным для всего общества, а именно интересу сохранения мира. Не «мира любой ценой», ни даже мира ценой отказа от каких-либо элементов независимости, суверенитета, национальной славы или будущих притязаний соответствующих держав, но все же — мира, насколько его можно было обеспечить без подобного рода жертв. Именно так и не иначе: вначале — национальное могущество и только потом — прибыль. Как бы тесно ни соприкасались их сферы, в конечном счете именно война диктовала законы коммерции. Франция и Германия, например, после 1870 г. являлись врагами, но это не исключало таких деловых связей между ними, которые не предполагали далеко идущих взаимных обязательств. Периодически, для конкретных краткосрочных целей, создавались банковские синдикаты, частные немецкие банки вкладывали средства в предприятия по ту сторону границы, причем подобная деятельность никак не отражалась в балансовых отчетах.

Имели место и прямые инвестиции, как в случае с Объединением угля и железа или заводами Тиссена в Нормандии. Но подобные капиталовложения были ограничены во Франции определенными сферами и к тому же находились под непрерывным огнем критики со стороны как националистов, так и социалистов. Гораздо чаще прямые инвестиции производились в колониях, примером чему служат настойчивые попытки немцев заполучить богатые месторождения железной руды в Алжире или сложная история германского экономического присутствия в Марокко. И однако, неопровержимым фактом остается то, что после 1870 г. официальный, хотя и молчаливый арест на германские ценные бумаги на Парижской бирже так и не был снят. Франция попросту «решила не рисковать, предотвратив ситуацию, при которой против нее могла быть использована мощь ссудного капитала».[4]

Австрия также была на подозрении; во время марокканского кризиса 1905–1906 гг. арест был распространен на Венгрию. Парижские финансисты выступали за свободный доступ венгерских ценных бумаг, но промышленные круги поддерживали правительство в его твердой решимости не идти ни на какие уступки вероятному военному противнику. Политико-дипломатическое противостояние не ослабевало, и любые меры, способные увеличить потенциальную силу предполагаемого врага, решительно отвергались правительствами. Не однажды возникало впечатление, будто конфликт удалось, наконец, разрешить, однако люди сведущие понимали, что он лишь переносится на другие вопросы, еще глубже скрытые под оболочкой показного дружелюбия.

Или возьмем другой пример — германские амбиции на Востоке. И здесь политика и финансы теснейшим образом переплетались, и все же первое место принадлежало политике. После двадцати пяти лет, чреватых опасными последствиями пререканий, Англия и Германия подписали, наконец, всеобъемлющее соглашение о Багдадской железной дороге; произошло это в июне 1914 г. — слишком поздно, чтобы предотвратить Великую войну, как нередко говорили потом. Другие же, напротив, утверждали, будто данное соглашение неопровержимо доказывает, что отнюдь не конфликты, порожденные экономической экспансией сторон, были причиной войны между Англией и Германией. Ни тот ни другой взгляд не подтверждается фактами. В сущности, это соглашение оставило неразрешенным главный спорный вопрос: по его условиям, германская железная дорога не могла быть продолжена далее Басры без согласия британского правительства, предусмотренные же договором экономические зоны сторон неизбежно должны были привести их в будущем к лобовому столкновению. Между тем великие державы продолжали подготовку к дню «Д», который был еще ближе, чем это казалось им самим.

Международным финансовым кругам приходилось иметь дело с противоборствующими амбициями и интригами великих и малых держав, замыслы финансистов расстраивались дипломатическими маневрами, их долгосрочные инвестиции оказывались под угрозой, их конструктивным усилиям препятствовали политический саботаж и закулисные махинации. Национальные банковские системы, без которых международный финансовый капитал оказывался беспомощным, часто выступали в роли сообщников своих правительств, а любой план, не предусматривавший известную долю добычи для каждого из участников, был заранее обречен на неудачу. Тем не менее из дипломатии доллара, служившей стальной основой для бархатной перчатки финансов, финансовая олигархия извлекала выгоду ничуть не реже, чем терпела от нее ущерб, поскольку в тогдашних условиях коммерческий успех предполагал безжалостное применение силы против слабых государств, поголовный подкуп заупрямившихся чиновников в отсталых странах, использование всех тех закулисных средств, которые были обычными в колониальных и полуколониальных джунглях. И все же именно финансовой олигархии объективная логика истории отвела эту роль — предотвращать всеобщие войны, ибо первыми, кто проиграл бы от подобных войн, в особенности, если бы их последствия отразились на состоянии валют, стали бы в громадном своем большинстве держатели правительственных ценных бумаг, а также прочие инвесторы и биржевые спекулянты. Влияние финансовой олигархии на великие державы было благоприятным для европейского мира, эффе́ктивным же подобное влияние оказывалось в той мере, в какой сами правительства зависели в разных отношениях от взаимодействия с финансовым капиталом. А потому интересы мира всегда были так или иначе представлены в политике Европейского концерта. Если же мы прибавим к этому растущую заинтересованность в мире в каждой из стран, где инвестирование стало обычной практикой, то мы начнем понимать, почему этот устрашающий, невиданный прежде феномен — вооруженный мир десятка фактически отмобилизованных государств — мог, подобно грозной туче, нависать над Европой с 1871 по 1914 г., так и не разразившись опустошительной военной бурей.

Финансы — один из каналов влияния мирного интереса — играли роль мощного

сдерживающего фактора в планах и действиях целого ряда небольших суверенных государств. Займы и их продление зависели от кредита, сам кредит — от хорошего поведения. А поскольку при конституционной форме правления (на неконституционные смотрели теперь косо) поведение отражается в бюджете, а внешняя стабильность национальной валюты неотделима от оценки качества бюджета данной страны, то правительствам-должникам настойчиво рекомендовали тщательно следить за курсом, избегая любых шагов, способных повредить бюджетному здоровью. Этот полезный принцип превращался в обязательное правило, как только страна принимала золотой стандарт, до минимума ограничивавший допустимые колебания. Золотой стандарт и конституционализм являлись теми инструментами, посредством которых голос Лондонского Сити оказывался слышен во многих малых странах, принявших эти символы верности новому миропорядку. Порой Pax Britannica[5] поддерживал свое господство грозной демонстрацией крупнокалиберных корабельных орудий, однако чаще он добивался своего, вовремя потянув за нужную нитку в хитросплетении международных финансов.

Влияние финансовой олигархии обеспечивалось также тем, что она неофициально руководила финансами обширных полуколониальных регионов, в том числе — дряхлеющих исламских империй, расположенных в чрезвычайно взрывоопасной зоне Ближнего Востока и Северной Африки. Именно здесь в каждодневной своей деятельности финансисты непосредственно соприкасались с весьма чувствительными факторами, лежавшими в основе внутреннего порядка; они взяли на себя фактическое управление этими беспокойными регионами, где мир был наиболее хрупким. Вот почему, несмотря на, казалось бы, непреодолимые препятствия, им нередко удавалось создать необходимые условия для долгосрочных капиталовложений. Эпопея железнодорожного строительства на Балканах, в Анатолии, Сирии, Персии, Египте, Марокко и Китае — это история железной выдержки, полная захватывающих поворотов, история, напоминающая нам подобные же грандиозные свершения на Северо-Американском континенте. Однако главной опасностью, угрожавшей европейским капиталистам, был отнюдь не технический или финансовый крах, но война — причем не война между малыми странами (которую можно было без труда локализовать), не война между небольшим государством и великой державой (дело обычное и часто весьма выгодное), а всеобщая война между великими державами. Европа представляла собой не пустой, незаселенный континент, а дом для многих миллионов людей, принадлежавших к древним и молодым народам, и каждой новой железной дороге приходилось прокладывать себе путь через границы разной степени прочности, из которых одни вследствие этого контакта могли быть фатальным образом ослаблены, другие же — решающим образом укрепиться. Только железные финансовые тиски, в которые попали бессильные правительства отсталых стран, могли предотвратить катастрофу. Стоило Турции в 1875 г. прекратить выполнять свои денежные обязательства, как тотчас же вспыхнули военные конфликты, которые продолжались с 1876 по 1878 г., пока не был подписан Берлинский трактат. После этого мир сохранялся в течение тридцати шести лет. Реальные инструменты, обеспечившие этот поразительный результат, создал мухарремский закон 1881 г., учредивший в Константинополе *Dette Ottomane*[6]. Представителям европейской финансовой олигархии было поручено управлять основной частью турецких финансов. Нередко они добивались соглашений между великими державами, в других случаях не позволяли самой Турции создавать для себя новые затруднения, а иногда действовали попросту в качестве политических агентов великих держав, но всякий раз они служили денежным интересам кредиторов и, если это было возможно, интересам всех капиталистов, стремившихся получить прибыль в этой стране. Данную задачу чрезвычайно осложняло то обстоятельство, что Комиссия по долгам представляла не частных кредиторов, а европейское публичное право, финансовая же олигархия была представлена в этом органе лишь неофициальным образом. Но именно в этом своем двойственном качестве он и оказывался способен ликвидировать разрыв между политическими и экономическими институтами эпохи.

Интересы торговли оказались тесно связаны с миром. Прежде сама торговля была

организована на военный (или полувоенный) манер, являясь придатком к деятельности пирата и разбойника, вооруженного каравана, охотника и траппера, купца-воина, вооруженных горожан, авантюристов и путешественников, поселенцев и конкистадоров, охотников за людьми и работоторговцев, наконец, колониальных армий на службе привилегированных компаний. Теперь все это было прочно забыто: торговля зависела от международной денежной системы, которая не могла нормально функционировать в условиях всеобщей войны. Она нуждалась в мире, и великие державы стремились сохранить мир. Но, как мы уже видели, система равновесия сил сама по себе не могла его надежно гарантировать. Задачу эту выполнял международный финансовый капитал, самое существование которого олицетворяло собой новый принцип зависимости торговли от мира.

Мы слишком привыкли думать, что процесс распространения капитализма не имел в себе решительно ничего мирного и что финансовый капитал был главным виновником бесчисленных колониальных преступлений и актов агрессивной экспансии. Его тесная связь с тяжелой промышленностью привела Ленина к утверждению, что финансовый капитал несет ответственность за империализм и в особенности — за борьбу за сферы влияния, концессии, экстерриториальные права; за те бесчисленные методы, с помощью которых западные державы добивались контроля над отсталыми регионами, чтобы проводить там инвестиции в железные дороги, предприятия общественного пользования, порты и прочие предприятия, обеспечивавшие постоянную прибыль капитанам их тяжелой индустрии. В самом деле, коммерсанты и финансисты несли ответственность за многие колониальные войны, но также и за то, что всеобщего военного пожара удавалось избежать. Их связь с тяжелой промышленностью (по-настоящему тесная, впрочем, в одной только Германии) объясняет нам и то и другое. Финансовый капитал, как надстройка над зданием тяжелой промышленности, был связан с различными отраслями индустрии слишком многими и сложными путями, чтобы какая-то одна группа могла всецело определять его политику. На любой данный интерес, выигрывавший благодаря войне, нашелся бы десяток других, которым война явным образом противоречила. Международный капитал, несомненно, должен был пострадать в случае войны, но ведь и капитал национальный мог извлекать из нее выгоду лишь в особых случаях, хотя последние и имели место достаточно часто, чтобы объяснить нам возникновение десятков колониальных войн, пока они оставались локальными и изолированными. Почти каждую войну устроили финансисты, однако мир также был делом их рук.

Внутреннюю природу этой строго прагматической системы, тщательнейшим образом устранявшей возможность всеобщей войны и при этом обеспечивавшей условия для спокойной коммерческой деятельности посреди нескончаемых малых войн, лучше всего демонстрируют нам те перемены, которые внесла она в сферу международного права. В то самое время, когда рост национализма и развитие промышленности явно способствовали тому, чтобы сделать войны более жестокими и тотальными, создавались эффективные гарантии продолжения мирной коммерческой деятельности в военное время. Хорошо известно, что Фридрих Великий «в порядке меры возмездия» отказался в 1752 г. признать силезский долг по займу у британских подданных.[7] «С тех пор, — пишет Херши, — подобные попытки не предпринимались ни разу». «Войны Французской революции дают нам последний крупный пример конфискации частной собственности подданных вражеского государства, оказавшихся на неприятельской территории к моменту начала военных действий». Когда вспыхнула Крымская война, торговым судам вражеских государств разрешили покинуть порты, — обычай, которого Пруссия, Франция, Россия, Турция, Испания, Япония и Соединенные Штаты строго держались в течение последующих пятидесяти лет. Начиная с этой войны воюющие страны проявляли по отношению друг к другу величайшую снисходительность в сфере коммерции. Так, во время испано-американской войны нейтральные суда с принадлежавшими американцам грузами (кроме военной контрабанды) беспрепятственно ушли из испанских портов. Мнение, будто войны XIX в. были во всех отношениях более жестокими и разрушительными, чем войны XVIII в., является

предрассудком. В том, что касается статуса неприятельских подданных, обслуживания займов, предоставленных гражданами враждебного государства, судьбы их имущества, а также права торговых судов покинуть порт, в XIX в. наметился решительный поворот в пользу мер, призванных защитить экономическую систему в военное время, и только XX столетие изменило эту тенденцию на прямо противоположную.

Таким образом, предпосылкой Столетнего мира явилась новая организация экономической жизни. В первый период поднимающаяся буржуазия была по преимуществу революционной силой, ставившей мир под угрозу, доказательством чему служат потрясения наполеоновской эпохи; именно для противодействия этому новому фактору международной нестабильности Священный Союз и организовал свой реакционный мир. Во второй период новая экономика восторжествовала, и теперь уже буржуазия сама стала носителем мирного интереса, причем гораздо более могущественного, чем у ее реакционных предшественников; интереса, обусловленного национально-интернациональным характером новой экономики. Однако в обоих случаях мирный интерес эффективно реализовывался лишь потому, что мог поставить себе на службу систему равновесия сил, обеспечив ее такими социальными институтами, которые были способны к прямому взаимодействию с внутренними силами, определявшими судьбы войны и мира. В эпоху Священного Союза этими институтами были феодализм и монархия, опиравшиеся на духовную и материальную мощь церкви; в эпоху Европейского концерта ими стали международный финансовый капитал и связанные с ним национальные банковские системы. Различия между этими периодами не стоит преувеличивать: уже в эпоху Тридцатилетнего мира 1618–1648 гг. Великобритания настойчиво требовала мира во имя коммерции, а Священный Союз отнюдь не гнушался помощью Ротшильдов. С другой стороны, в период Европейского концерта международной финансовой олигархии нередко приходилось искать опоры в своих династических и аристократических связях. Но подобные факты лишь подтверждают наш тезис о том, что в обоих случаях мир сохранялся не просто благодаря дипломатическим усилиям великих держав, но при помощи конкретных организованных институтов, чьи действия служили всеобщим интересам. Иными словами, только имея своим фундаментом экономику нового типа, система равновесия сил могла предотвратить пожар всеобщей войны. Однако Европейский концерт добился несравненно большего успеха, чем Священный Союз: последний сохранил мир в ограниченном регионе, в условиях стабильного континента, Европы; первый же выполнил эту задачу в мировом масштабе, в эпоху, когда карта нашей планеты радикальным образом менялась под действием сил социального и экономического прогресса. Этот громадный политический результат объяснялся появлением специфического института, финансовой олигархии, который стал готовым связующим звеном между политической и экономической сферами тогдашнего миропорядка.

Теперь нам должно быть ясно, что система обеспечения мира опиралась на экономическую систему. Однако оба эти явления были весьма несходными по своей природе. Только в самом широком смысле можно было говорить о политической системе сохранения мира, ибо Европейский концерт являлся по существу не системой мира как такового, но лишь системой независимых государств, суверенитет которых гарантировался через механизм войны. Об организации же мировой экономики можно утверждать прямо противоположное. Если мы не станем некритически следовать обычному словоупотреблению, ограничивая смысл термина «организация» совокупностью органов, руководимых из общего центра и действующих через собственных функционеров, то нам придется признать, что не существует ничего более ясного, чем те повсеместно принятые принципы, на которых основывалась эта организация, и ничего более конкретного, чем ее реальные элементы. Бюджеты и вооружения, внешняя торговля и поставки сырья, национальная независимость и суверенитет стали теперь функцией валюты и кредита. К последней четверти XIX в. мировые товарные цены превратились в важнейшую жизненную реальность крестьян континентальной Европы, деловые люди всего мира внимательно следили за малейшими колебаниями на лондонском финансовом рынке, правительства строили свои планы с учетом положения на мировых

рынках капитала. Только безумец мог бы теперь усомниться в том, что основой материального существования человечества является международная экономическая система. Чтобы функционировать, система эта нуждалась в мире, и потому система равновесия сил была поставлена ей на службу. Уберите экономическую систему — и мирный интерес исчезнет из сферы политики. Помимо нее не было достаточной причины для возникновения подобного интереса, как не было другой возможности реализовать его, поскольку он существовал. Успехи Европейского концерта объяснялись нуждами новой международной организации экономики, и с крахом этой организации сам Европейский концерт должен был потерпеть фиаско.

Золотая пора Европейского концерта пришлась на эпоху Бисмарка (1861–1890). В первое двадцатилетие после превращения Германии в великую державу именно эта страна извлекала наибольшую выгоду из мира. В число ведущих государств Европы она пробилась за счет Австрии и Франции, и потому в ее интересах было сохранять статус-кво, предотвращая войну, — войну, которая могла быть только войной реванша против Германии. Бисмарк целенаправленно культивировал представление о мире как общем интересе великих держав, уклоняясь от таких действий и обязательств, которые могли бы лишить Германию положения державы — гаранта мира. Он всячески противился экспансионистским амбициям на Балканах и за пределами Европы; он последовательно применял против Австрии и даже против Франции оружие свободной торговли; используя систему равновесия сил, он расстраивал балканские притязания России и Австрии и таким образом поддерживал согласие с потенциальными союзниками и избегал ситуаций, способных вовлечь Германию в войну. Коварный агрессор в 1866–1870 гг., в 1878 г. он превратился в «честного брокера» и сурового обличителя колониальных авантюр. Чтобы служить национальным интересам Германии, он сознательно принял на себя ведущую роль в том процессе, который представлялся ему мирной тенденцией эпохи.

Но к концу семидесятых период свободной торговли, оказавшийся на поверку лишь кратким эпизодом (1846–1879), уже завершился; фактическое принятие Германией золотого стандарта ознаменовало собой начало эры протекционизма и колониальной экспансии.[8] Теперь Германия пыталась укрепить свои позиции прочным союзом с Австро-Венгрией и Италией, и уже вскоре Бисмарк утратил контроль над политикой рейха. Отныне Англия стала главным носителем мирного интереса в Европе, которая по-прежнему оставалась конгломератом независимых суверенных государств, подчиненных, следовательно, механизму системы равновесия сил. В 90-е гг. финансовая олигархия достигла вершины своего могущества и мир казался гарантированным как никогда надежно. Британские и французские интересы сталкивались в Африке, русские и британцы соперничали в Азии, Европейский концерт, хотя и не без сбоев, все еще функционировал, и, несмотря на существование Тройственного Союза, в Европе имелось более двух великих держав, ревниво следивших друг за другом. Но продолжалось это недолго. В 1904 г. Великобритания заключила всеобъемлющее соглашение с Францией по поводу Марокко и Египта, два года спустя она пошла на компромисс с Россией в Персии — и контрсоюз был создан. Европейский концерт, эту рыхлую федерацию независимых государств, сменили две враждебные группировки, и системе равновесия сил пришел конец: теперь, когда в Европе не было ничего, кроме двух конкурирующих враждебных блоков, механизм этой системы перестал действовать. Третьей группы, способной объединиться с одним из них, чтобы сорвать попытку другого увеличить свое могущество, уже не существовало. Примерно в это же время обнаружились острые симптомы кризиса прежней организации мировой экономики — колониальное соперничество и борьба за заморские рынки. Финансовая олигархия стремительно утрачивала способность предотвращать распространение войн. Еще семь лет мир удавалось кое-как сохранять, но теперь это был лишь вопрос времени — когда именно крах экономической системы XIX в. повлечет за собой завершение эпохи Столетнего мира.

В свете данного факта огромное значение для историка приобретает истинная природа той, в

высшей степени сложной и искусственной экономической системы, которая и обеспечивала мир.

Глава 2

Консервативные двадцатые, революционные тридцатые

Крах международного золотого стандарта стал незримым передаточным звеном между распадом мировой экономики, начавшимся на рубеже веков, и радикальным преобразованием всей нашей цивилизации в 1930-х гг. Не осознав величайшую важность данного обстоятельства, мы не сможем правильно понять ни механизм того процесса, который с бешеной скоростью толкал Европу к ее судьбе, ни причины того поразительного факта, что формы и содержание нашей цивилизации имели столь шаткий фундамент.

Истинная природа того миропорядка, при котором мы жили, была осознана лишь тогда, когда сам он потерпел крах. Едва ли кто-либо вообще представлял себе политическую функцию международной денежной системы, и потому ужасающая скорость трансформации стала для всех полной неожиданностью. Но именно золотой стандарт оставался тогда единственной опорой традиционной мировой экономики, и когда он рухнул, следствия должны были наступить мгновенно. Для либеральных экономистов золотой стандарт был чисто экономическим инструментом, они отказывались даже видеть в нем элемент социального механизма. А потому именно демократические страны последними осознали истинную суть катастрофы и медленнее всех реагировали на ее результаты. Даже после того как они сами стали жертвой катаклизма, их лидеры не могли уразуметь, что крах международной системы обусловлен долгим процессом внутреннего развития наиболее передовых стран, который и сделал эту систему анахронизмом, иначе говоря, они по-прежнему не замечали банкротства самой рыночной экономики.

Трансформация была еще более резкой и внезапной, чем это принято думать. В сущности, Первая мировая война и послевоенные революции составляли часть XIX в. Конфликт 1914–1918 гг. лишь ускорил и невероятно усугубил кризис, но не он был его причиной. Однако в то время истинные корни кризиса распознать было невозможно, а ужасы и разрушения Великой войны казались уцелевшим после нее людям вполне очевидным источником препятствий для того международного порядка, который так неожиданно возник. В самом деле, совершенно внезапно перестали функционировать как политическая, так и экономическая системы, и страшный ущерб, который причинила человечеству Первая мировая война, представлялся убедительным объяснением случившегося. В действительности, однако, послевоенные препятствия миру и стабильности имели те же истоки, что и сама Великая война. Распад системы мировой экономики, происходивший начиная с 1900 г., был причиной роста политической напряженности, которая привела к взрыву в 1914 г.; исход войны и послевоенные договоры лишь на первый взгляд смягчили эту напряженность: устранив конкурента, Германию, они в то же время усугубили причины напряженности и таким образом чрезвычайно усилили политические и экономические препятствия миру.

В политическом отношении послевоенные мирные договоры таили в себе роковое противоречие. Предусмотренное ими одностороннее разоружение побежденных держав делало совершенно немыслимым восстановление системы равновесия сил, ибо наличие силы является непрямым условием подобной системы. Тщетно стремилась Женева к реставрации этой системы в виде расширенного и усовершенствованного Европейского концерта, именовавшегося Лигой Наций, бесполезными оказывались возможности для

консультаций и совместных действий, предусмотренные Уставом Лиги: важнейшая предпосылка системы — существование независимых силовых единиц — теперь отсутствовала. Создать настоящую Лигу Наций не удалось, а статьи 16 (о механизме выполнения договоров) и 19 (об их мирном пересмотре) так и не были проведены в жизнь. Таким образом, единственное практически осуществимое решение жгучей проблемы мира — реставрация системы равновесия сил — оказывалось совершенно недостижимым, и настолько, что истинная цель наиболее разумных политиков 20-х гг. была абсолютно непонятна широкой публике, по-прежнему существовавшей в условиях невообразимого хаоса. В общественном сознании, шокированном устрашающим фактом разоружения одной группы государств, тогда как другая оставалась вооруженной, — ситуация, делавшая бессмысленными любые конструктивные шаги к созданию системы мира, — возобладали эмоции: считалось, что Лига Наций в некоем высшем, таинственном смысле есть предвестник эпохи мира, а чтобы мир воцарился навсегда, не требуется ничего, кроме бесконечных словесных заклинаний. В Америке широко распространилось мнение, будто стоит лишь ей вступить в Лигу Наций и дела пойдут совершенно по-другому. Невозможно найти лучшее доказательство того, что люди не признавали органические пороки так называемой «послевоенной системы» — именно «так называемой», ибо если слова имеют смысл, то никакой политической системы в Европе теперь не существовало вовсе. Подобного рода простой статус-кво может сохраняться лишь до тех пор, пока стороны не оправились от физического истощения; не удивительно, что единственным выходом казался возврат к системе XIX в. До этого момента Совет Лиги Наций мог бы, по крайней мере, действовать в качестве своего рода Европейской директории (примерно так же, как Европейский концерт в пору его расцвета), если бы не роковой принцип единогласного голосования, превращавший какую-нибудь небольшую «страну-хулигана» в вершителя судеб мира и войны на всей планете. Абсурдный план вечного разоружения побежденных государств заранее исключал какое-либо разумное решение проблемы. Единственной альтернативой для этого опасного положения было создание международного порядка, который мог бы опереться на организованную силу, стоящую выше принципа национальных суверенитетов. Но такой шаг, разумеется, был в ту эпоху совершенно немыслим: ни одна европейская страна, не говоря уже о Соединенных Штатах, не пожелала бы подчиниться подобному порядку.

В экономической же области политика Женевы — в ее упорном стремлении восстановить мировую экономику как тыловой оборонительный рубеж для мира — была гораздо более последовательной. Ведь даже успешно воссозданная система равновесия сил смогла бы работать на мир лишь при условии восстановления международной денежной системы. При отсутствии же стабильного торгового обмена и свободы торговли правительства различных стран, как и в прежние времена, видели бы в мире нечто второстепенное и стремились бы к нему лишь до тех пор, пока интересы мира не вступали бы в противоречие с другими, более для них существенными интересами. Кажется, Вудро Вильсон первым из государственных деятелей эпохи осознал взаимозависимость мира и торговли как гарантию не только торговли, но и самого мира. Не удивительно, что Лига Наций упорно стремилась восстановить международную валютную и кредитную систему как единственно возможную гарантию мира среди суверенных государств и что человечество как никогда прежде полагалось на финансовую олигархию. Дж. П. Морган — в роли демиурга обновленного XIX в. — сменил Н. М. Ротшильда.

В соответствии с понятиями этого века первое послевоенное десятилетие воспринималось как революционная эра, в свете же нашего недавнего опыта оно получает совершенно иной смысл. Основная тенденция десятилетия была глубоко консервативной, отражая почти всеобщее убеждение в том, что лишь восстановление довоенной системы, «на сей раз — на прочном фундаменте», способно вернуть людям мир и благоденствие. Крах этой попытки вернуться в прошлое и вызвал трансформацию 30-х гг. Но какими бы бурными и эффектными (по своему сюжету) ни были революции и контрреволюции послевоенного десятилетия, они представляли собой либо чисто механическую реакцию на военное поражение, либо

очередную постановку на сцене Центральной и Восточной Европы старой либерально-конституционной драмы западной цивилизации, и только в 30-е гг. в общую схему западной истории вошли по-настоящему новые элементы.

Перевороты и контрперевороты 1917–1920 гг. в Центральной и Западной Европе, вопреки своему сценарию, были, в сущности, лишь непрямыми способами ремонта и обновления режимов, рухнувших на полях сражений. Когда дым контрреволюции рассеялся, обнаружилось, что политические системы в Будапеште, Вене и Берлине не слишком отличаются от того, что представляли они собой до войны. В целом это было верно в отношении Финляндии, прибалтийских государств, Польши, Австрии, Венгрии, Болгарии и даже, вплоть до середины 20-х гг., — Италии и Германии. Некоторые страны добились больших успехов в деле национального освобождения и аграрной реформы — достижения, характерные для Западной Европы в целом начиная с 1789 г. Не была здесь исключением и Россия. Важнейшая тенденция времени заключалась попросту в установлении (или восстановлении) системы, ассоциировавшейся обычно с идеалами английской, американской и Французской революций. Не только Вильсон и Гинденбург, но также Ленин и Троцкий в этом, широком смысле принадлежали к западной традиции.

В начале 30-х гг. наступил резкий перелом. Вехами его стали отказ Великобритании от золотого стандарта, пятилетки в России, начало Нового курса, национал-социалистская революция в Германии, банкротство экономической политики Лиги Наций и торжество автаркических империй. Если к моменту окончания Великой войны идеалы XIX в. были господствующими и их влияние преобладало и в следующее десятилетие, то к 1940 г. остатки прежнего миропорядка полностью исчезли, и теперь, за исключением немногих анклавов, нации жили в совершенно новой международной обстановке.

Первопричиной кризиса, на наш взгляд, был устрашающий крах международной экономической системы. Начиная с рубежа веков система эта работала с большими перебоями, Великая война и Версаль разрушили ее окончательно. Вполне очевидным это стало в 20-е гг., когда чуть ли не каждый внутренний кризис в европейских государствах достигал своей кульминации по причинам внешнеэкономического характера. Теперь ученые классифицировали различные государства не по географическим признакам, а по степени их приверженности принципу твердой валюты. Россия изумила мир уничтожением рубля, который превратился в ничто с помощью простого средства — инфляции. Доведенная до отчаяния Германия повторила этот безумный подвиг, чтобы доказать порочность Версальской системы; последовавшая за ним экспроприация класса рантье заложила основы нацистской революции. Авторитет Женевы основывался на том, что она с успехом помогла Австрии и Венгрии восстановить свои валюты, а Вена превратилась в Мекку для либеральных экономистов благодаря блестяще проведенной операции на австрийской кроне, которую пациентка, к несчастью, так и не пережила. В Болгарии, Греции, Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Румынии восстановление национальных валют предоставило контрреволюции возможность претендовать на власть. В Бельгии, Франции и Англии левые были изгнаны из кабинетов во имя принципов разумной финансовой политики. Почти непрерывная цепь валютных кризисов связала нищие Балканы с процветающей Америкой; соединительным звеном послужили здесь эластичные нити международной кредитной системы, которая передавала напряжение кое-как восстановленных валют сначала из Восточной Европы в Западную, а затем из Западной Европы в США. В конце концов сами Соединенные Штаты стали жертвой поспешной стабилизации европейских валют — наступил финальный этап всеобщего краха.

Вначале удар поразил отдельные страны. Некоторые валюты, например, русская, германская, австрийская и венгерская, исчезли буквально за год. Помимо беспрецедентной скорости изменения стоимости валют, отметим еще одно обстоятельство: изменение это произошло в условиях полностью монетаризированной экономики. В человеческом обществе начался межклеточный процесс, последствия которого стали совершенной новостью. Как в

национальном, так и в международном плане падение валют означало распад системы. Государства оказались отделенными от своих соседей глубокой пропастью, и в то же время на различные слои населения кризис действовал по-разному, нередко — прямо противоположным образом. Интеллигенция в буквальном смысле обнищала, финансовые акулы нажили омерзительно громадные состояния. Возник новый фактор, обладавший огромной интегрирующей и одновременно дезинтегрирующей силой.

Еще одной новостью стало «бегство капитала». Ни в 1848, ни в 1866, ни даже в 1871 г. подобный феномен не наблюдался, но его важная роль в падении либеральных правительств во Франции в 1925 г., а затем и в 1938 г., как и в росте фашистского движения в Германии в 1930-е гг., была очевидной.

Валюта превратилась в центральную ось государственной политики. В условиях современной денежной экономики каждый человек неизбежно и каждодневно испытывал на себе перемены в стоимости финансовой меры вещей; массы стали болезненно-чувствительными к колебаниям курса; люди заранее учитывали пагубное влияние инфляции на свои реальные доходы; казалось, все и всюду видят в твердой валюте высшую потребность человеческого общества. Но подобное убеждение было неотделимо от признания того обстоятельства, что устойчивость валютного фундамента может зависеть от политических факторов, действующих за пределами границ данного государства. Так социальные потрясения, подорвавшие веру во внутреннюю сущностную стабильность денежных средств обмена, разрушили также и наивное представление о возможности финансового суверенитета в мире взаимозависимых национальных экономик. Отныне связанные с валютой внутренние кризисы порождали, как правило, и серьезные внешние проблемы.

Вера в золотой стандарт была верой эпохи. У одних она была наивной, у других — критической, у третьих — неким дьявольским исповеданием, предполагавшим принятие соответствующего символа «по плоти» и отвержение его «в духе». Но сама вера была одинаковой у всех: банкноты имеют стоимость, поскольку они представляют золото. Обладает ли само золото ценностью потому, что воплощает в себе труд, как утверждали социалисты, или потому, что является полезным и редким металлом, как гласила ортодоксальная доктрина, в данном случае значения не имело. Битва между небом и адом велась не из-за денег, и, таким образом, капиталисты и социалисты как бы вследствие чуда оказывались союзниками. Там же, где Рикардо и Маркс были заодно, XIX в. уже не ведал сомнений. Бисмарк и Лассаль, Джон Стюарт Милль и Генри Джордж, Филип Сноуден и Кальвин Кулидж, Мизес и Троцкий в равной степени разделяли эту веру. Карл Маркс приложил немало усилий, чтобы доказать, что утопические трудовые квитанции Прудона (которыми предполагалось заменить деньги) есть плод самообмана, а весь его «Капитал» исходит из товарной теории денег в ее рикардианском варианте. Русский большевик Сокольников стал первым государственным деятелем послевоенной Европы, которому удалось восстановить стоимость валюты своей страны в золотом эквиваленте; немецкий социал-демократ Гильфердинг компрометировал собственную партию упорной защитой принципа твердой валюты; австрийский социал-демократ Отто Бауэр поддерживал монетарные принципы, которые лежали в основе возрождения кроны, предпринятого его главным оппонентом Зайпелем; английский социалист Филип Сноуден выступал против лейбористов, полагая, что в их руках фунт не может быть в безопасности; а дуче приказал вырезать на камне стоимость лиры в золотом выражении и поклялся умереть ради ее защиты. Отыскать какие-либо расхождения в высказываниях по этому вопросу Гювера и Ленина, Черчилля и Муссолини было бы нелегко. В самом деле, непреложная необходимость золотого стандарта для функционирования тогдашней международной экономической системы была единственным принципом, который разделяли представители всех наций и классов, всех вероисповеданий и социальных философий. Золотой стандарт стал той незримой реальностью, в которой могла искать опору воля к жизни, когда человечество взялось за трудную задачу восстановления распадающихся основ своего бытия.

Этот замысел — замысел, потерпевший крах, — был самым грандиозным предприятием в истории нашего мира. Стабилизация практически переставших существовать валют в Австрии, Венгрии, Болгарии, Финляндии, Румынии и Греции явилась не просто актом фанатической веры со стороны этих небольших слабых стран, которые буквально морили себя голодом, чтобы достигнуть вождельных золотых берегов, — она подвергла суровому испытанию их богатых и могущественных покровителей, западноевропейские державы-победительницы. Пока их собственные валютные курсы не обрели устойчивости, напряжение не выходило наружу; как и до войны, эти страны по-прежнему предоставляли кредиты, поддерживая таким образом экономику побежденных наций. Но после того как Великобритания и Франция вернулись к золотому стандарту, тяжелая нагрузка, которую несли их стабилизированные валюты, начала сказываться. В конце концов негласная забота о судьбе фунта стала частью принципиальной позиции ведущей страны золотого стандарта, Соединенных Штатов. Из-за этого беспокойства, соединившего оба берега Атлантики, Америка сама неожиданно оказалась в зоне риска, — вопрос, казалось бы, интересный лишь для специалистов, однако разобраться в нем следует со всей ясностью. Поддержка Америкой фунта стерлингов в 1927 г. предполагала сохранение низкой процентной ставки в Нью-Йорке с тем, чтобы предотвратить крупные перемещения капитала из Лондона в Нью-Йорк. Соответственно Совет управляющих Федеральной резервной палаты пообещал Английскому банку удерживать у себя низкие ставки, однако в этот момент Америка сама крайне нуждалась в высоких процентных ставках, поскольку ее собственная система цен начала испытывать опасное давление инфляции (факт, заслонявшийся существованием стабильного уровня цен, который искусственно поддерживался, несмотря на колоссальное падение издержек производства). Когда же после семи лет процветания очередное движение рыночного маятника повлекло за собой в 1929 г. давно ожидаемый спад, положение оказалось неизмеримо более серьезным из-за скрытой инфляции. Измученные дефляцией должники дожили до того, чтобы собственными глазами увидеть банкротство пораженных инфляцией кредиторов. Это был грозный знак. В инстинктивном порыве к освобождению Америка в 1933 г. отказалась от золотого стандарта, и последний остаток традиционной мировой экономики исчез. И хотя едва ли кто-нибудь понимал тогда истинный смысл этого события, история почти мгновенно изменила свой ход.

Более десяти лет восстановление золотого стандарта было символом всемирной солидарности. Чтобы создать политические предпосылки для устойчивости валют, устраивались бесчисленные конференции от Брюсселя до Спа и Женевы, от Лондона до Локарно и Лозанны. При самой Лиге Наций было образовано Международное бюро труда — отчасти для того, чтобы обеспечить равные условия конкуренции для всех государств и таким образом сделать свободной торговлю, не ставя под угрозу уровень жизни. Валютный вопрос находился в центре всех кампаний, организованных Уолл-стритом с целью разрешить проблему трансферта и вначале коммерциализировать, а затем и мобилизовать репарации; Женева выступала в роли спонсора процесса реконструкции, в котором совместное давление Лондонского Сити и неоклассических монетаристских пуристов Венской школы было поставлено на службу золотому стандарту; к этой цели направлялись в конечном счете все усилия, предпринимавшиеся на международном уровне, в то же время правительства отдельных стран подчиняли, как правило, требованиям защиты валюты свою политику и прежде всего действия, связанные с внешней торговлей, займами, банками и валютным курсом. Каждый готов был согласиться, что устойчивость валюты зависит в конечном счете от свободы торговли, однако все, кроме доктринеров-фритредеров, ясно сознавали безотлагательную необходимость таких мер, неизбежным следствием которых стали бы ограничения в сфере внешней торговли и внешних платежей. Импортные квоты, моратории и соглашения о замораживании обслуживания долга, клиринговые системы и двусторонние торговые договоры, бартерные договоренности, запреты на вывоз капитала, контроль над внешней торговлей — все это появилось в большинстве стран, пытавшихся решить сходные проблемы. Однако над всеми мерами, предпринимавшимися ради защиты валюты, витал страшный дух автаркии. Целью их было освобождение торговли, следствием — ее удушение.

Вместо того чтобы обеспечить для своих стран доступ к мировым рынкам, правительства собственными своими шагами закрывали для них путь к любым международным связям, а сохранение пересыхающего ручейка торговли требовало все более тяжелых жертв. Судорожные попытки поддержать внешнюю стоимость валюты как средства международной торговли толкали народы, против их собственной воли, в царство автаркической экономики. Весь арсенал ограничительных мер, означавших радикальный отказ от традиционных принципов политической экономии, в сущности, стал результатом вполне консервативных фритредерских мероприятий.

С окончательным падением золотого стандарта курс этот резко изменился на прямо противоположный. Жертвы, приносившиеся во имя восстановления золотого стандарта, нужно было приносить снова — чтобы жить без него. Институты, придуманные с тем, чтобы стеснить жизнь и торговлю ради поддержания системы стабильных валют, использовались теперь с целью адаптации экономической деятельности к постоянному отсутствию подобной системы. Вероятно, именно поэтому механическая и технологическая структура современной промышленности сумела выдержать удар, вызванный крахом золотого стандарта, ибо в борьбе за его сохранение мир, сам того не сознавая, готовился к таким действиям и к такому типу социального и экономического устройства, которые требовались для адаптации к его гибели. Однако теперь цель была противоположной; в странах, более всего пострадавших в долгой и изнурительной битве за недостижимое, реакция разочарования высвободила титанические силы. Ни Лига Наций, ни международная финансовая олигархия не смогли пережить золотой стандарт; с его смертью как мирный интерес Лиги Наций, так и главные орудия его реализации — Ротшильды и Морганы — совершенно исчезли из политической жизни. Треск разорвавшейся золотой нити стал сигналом к началу революции планетарного масштаба.

И все же крах золотого стандарта определил, самое большое, дату этого события, но никак не мог — ввиду громадности последнего — быть его действительной причиной. В значительной части мира кризис сопровождался полным уничтожением институтов, унаследованных от XIX в., буквально всюду эти учреждения подверглись реформам и преобразованиям, изменившим их почти до неузнаваемости. На смену либеральному государству во многих странах пришли тоталитарные диктатуры, а ключевой институт века — свободный рынок как основа производства — был вытеснен новыми формами экономической организации. Одни крупные нации, в корне изменив самую суть своего мировоззрения, развязали захватнические войны, желая поработить планету во имя неслыханных прежде теорий о природе человека и Вселенной, — другие нации, еще более крупные, решительно встали на защиту свободы, которая приобрела теперь для них столь же небывалую ценность. Крах прежнего миропорядка, хотя именно он и привел в действие спусковой механизм трансформации, не мог, разумеется, объяснить ни масштаб, ни содержание этого процесса. Ведь даже если нам известно, почему то, что произошло, произошло внезапно, мы по-прежнему можем не понимать, почему это вообще произошло.

То, что трансформация сопровождалась беспрецедентными по масштабу войнами, не было случайностью. К механизму социальных перемен была подключена история, судьба народов оказалась связанной с их ролью в институциональной трансформации. Подобного рода симбиоз не является в истории чем-то исключительным: хотя национальные группы и социальные институты имеют различное происхождение, в борьбе за существование им свойственно тяготеть друг к другу. Общеизвестный пример такого симбиоза — взаимозависимость между капитализмом и судьбой морских наций Атлантики. Торговая революция, столь тесно связанная с подъемом капитализма, открыла путь к могуществу для Португалии, Испании, Голландии, Франции, Англии и Соединенных Штатов, и пока каждое из перечисленных государств пользовалось возможностями, которые предоставлял ему этот широкий и мощный процесс, сам капитализм распространялся по нашей планете при содействии этих держав.

Закон этот действовал и в обратном смысле. Нации в ее борьбе за существование может служить препятствием тот факт, что ее институты или некоторые из них находятся в данный момент в состоянии упадка; пример такого отжившего свой век инструмента — золотой стандарт в годы Второй мировой войны. С другой стороны, государства, которые по своим внутренним причинам не желают сохранения статус-кво, могут быстро осознать слабости существующей институциональной системы и активно содействовать ускорению создания новых институтов, более выгодных с точки зрения их интересов. Подобные страны подталкивают вниз то, что уже рушится, крепко держатся за то, что — движимое собственным импульсом — развивается в удобном для них направлении. В таком случае может показаться, будто эти страны и положили начало процессу социальных перемен, тогда как в действительности они лишь извлекают из него пользу, а порой даже искажают общее направление процесса, чтобы поставить его на службу своим целям.

Так Германия, потерпев поражение в войне, сумела осознать скрытые пороки миропорядка XIX в. и использовать это знание для того, чтобы ускорить его крах. Ее политики, сосредоточившие в 30-х гг. все свои помыслы на этой задаче разрушения — задаче, которая нередко требовала создания новых методов и форм торговой и финансовой деятельности, войны и социальной организации, — в своих попытках подчинить ход событий собственным целям приобрели некое пагубное интеллектуальное превосходство над государственными деятелями других стран. И однако — подчеркнем еще раз — сами эти проблемы не были созданы правительствами, которые лишь использовали их в своих интересах; они были реальными, объективными, исторически заданными, и всем нам, как бы ни сложилась судьба отдельных государств, придется решать их в будущем. С другой стороны, здесь выступает с полной очевидностью принципиальное различие между двумя мировыми войнами: первая соответствовала типу войн XIX в. — простое столкновение сил, вызванное сбоем в системе равновесия, вторая уже стала частью вселенского переворота.

Те роли, которые играют во Второй мировой войне Германия или Россия — а в сущности и Япония, Италия, Великобритания и Соединенные Штаты, — хотя и являются частью всемирной истории, не имеют прямого отношения к настоящей книге, тогда как фашизм и социализм были реальными движущими силами в той институциональной трансформации.

Это возвращает нас к тезису, все еще нуждающемуся в доказательстве: первопричины катастрофы лежат в утопической попытке экономического либерализма создать саморегулирующуюся рыночную систему. Подобное утверждение, как можно подумать, сообщает этой системе прямо-таки сказочную мощь: из него следует, что механизм равновесия сил, золотой стандарт и либеральное государство, иначе говоря, все основы цивилизации XIX в., были сформированы в конечном счете одной порождающей моделью, саморегулирующимся рынком. Данное воззрение в его откровенном материализме кому-то покажется крайним и даже шокирующим. Но ведь характерная особенность цивилизации, рухнувшей на наших глазах, в том и заключалась, что опиралась она на экономический фундамент. Другие общества и другие цивилизации также зависели от материальных условий своего существования — это общая черта всякой человеческой жизни и, шире, любого бытия, религиозного или нерелигиозного, материального или спиритуалистического. Все типы обществ так или иначе определяются экономическими факторами. Но лишь цивилизация XIX в. была экономической в ином, совершенно особом смысле, ибо основой своей она избрала мотив, который в истории человеческих обществ крайне редко признавался законным и, уж конечно же, никогда не возвышался настолько, чтобы превратиться в оправдание и смысл всех действий и поступков повседневной жизни, а именно — стремление к прибыли. Именно этот и никакой другой принцип и породил саморегулирующуюся рыночную систему.

Механизм, который мотив привел в движение, может быть сопоставлен по своей силе лишь с самым мощным взрывом религиозного чувства в истории. В течение жизни одного поколения весь человеческий мир оказался в его безраздельной власти. Как известно, он достиг своей

зрелости в Англии второй половины XIX в. в результате промышленной революции. Примерно пятьдесят лет спустя он подчинил себе Америку и континентальную Европу. В конце концов и в Англии, и в континентальной Европе, и в Америке сходные условия сформировали такую модель повседневной жизни, основные черты которой совпадали во всех странах, принадлежавших к западной цивилизации. А значит, чтобы найти первопричины нынешнего катаклизма, нам следует обратиться к проблеме подъема и краха рыночной экономики.

Рыночное общество появилось на свет в Англии, но именно на континенте его слабости породили самые трагические последствия. Чтобы понять германский фашизм, мы должны вернуться в рикарданскую Англию. XIX в. — и об этом всегда следует помнить — был веком Англии, промышленная революция — ее делом, рыночная экономика, свобода торговли и золотой стандарт — ее изобретением. В 1920-х гг. эти институты потерпели крах всюду, просто в Германии, Италии и Австрии данный процесс в большей степени коснулся политики и приобрел более драматический характер. Но в каких бы декорациях ни разворачивались финальные его эпизоды и какого бы ни достигали они накала, глубинные факторы, обусловившие гибель нашей цивилизации, следует изучать в колыбели промышленной революции — Англии.

Часть II

Подъем и крах рыночной экономики

«Сатанинская мельница»

Глава 3

«Условия жизни versus прогресс»

В основе промышленной революции лежало колоссальное усовершенствование орудий производства, сопровождавшееся катастрофическими сдвигами в условиях жизни простого народа.

Мы попытаемся выявить факторы, обусловившие конкретные формы этих перемен в ту эпоху, когда они приняли наиболее трагический характер, т. е. около ста лет тому назад. Что представляла собой «сатанинская мельница», перемалывавшая людей в «массы»? Какую роль в этом процессе сыграли новые физические условия? Какую — экономические факторы, действовавшие в новых условиях? Посредством какого механизма была разрушена прежняя ткань общества и предпринята — столь неудачно! — попытка осуществить новую интеграцию человека и природы?

Нигде философия либерализма не терпела столь оглушительного фиаско, как в осмыслении проблемы перемен. Воодушевляемая эмоциональной верой в стихийное развитие, она в своем отношении к переменам отвергла позицию здравого смысла, заменив ее фанатичной готовностью принимать любые социальные последствия экономического прогресса. Азбучные истины политики и искусства управления государством были сначала дискредитированы, а затем прочно забыты. Не нужно долго доказывать, что процесс неуправляемых изменений, темп которых считается чрезмерным, следует, если возможно, притормозить ради блага

общества. Но подобные простые истины традиционной политики, нередко лишь отражавшие социально-философские учения, унаследованные еще от древних, были в XIX в. буквально стерты из сознания образованной публики разьедающим воздействием примитивного утилитаризма вместе с некритической верой в «самоисцеляющие свойства» стихийного развития.

Экономический либерализм так ничего и не понял в истории промышленной революции именно потому, что упорно стремился оценивать социальные процессы с экономической точки зрения. Для иллюстрации этого тезиса мы обратимся к предмету, на первый взгляд, довольно далекому от нашей темы, а именно к огораживанию открытых полей и обращению пашни в пастбища в эпоху первых Тюдоров, когда лендлорды обносили изгородями поля, а целые графства подвергались угрозе обезлюдения. Возвращаясь к проблеме бедствий, которые принесли народу огораживания и конверсии, мы преследуем двойную цель: во-первых, продемонстрировать аналогию между опустошениями, вызванными процессом огораживаний, в конечном счете благотворным, и теми несчастьями, которые породила промышленная революция, и во-вторых — в более широком плане прояснить альтернативы, перед которыми оказывается общество, переживающее мучительный процесс неконтролируемых экономических усовершенствований.

Если обращения пашни в пастбище не происходило, огораживания представляли собой очевидный прогресс. Стоимость огороженной земли возрастала вдвое и даже втрое. Там, где землю продолжали обрабатывать, занятость не уменьшалась, а количество продуктов питания заметно увеличивалось. Доходность земли росла, в особенности там, где ее сдавали в аренду.

Но даже конверсия пахотных земель в пастбища для овец, несмотря на связанные с ней разрушение жилищ и сокращение занятости, не всегда приносила данной местности один лишь вред. Домашние промыслы, распространявшиеся со второй половины XV в., через сто лет начали превращаться в характерную черту английской деревни. Производство шерсти в овцеводческих хозяйствах давало работу мелким арендаторам и лишенным собственного надела коттерам, выброшенным из сферы земледелия, а появление новых центров шерстяной промышленности обеспечивало заработком многих ремесленников.

Однако — и в этом вся суть — только в условиях рыночной экономики подобного рода компенсирующий эффект можно считать чем-то само собой разумеющимся. При отсутствии такой экономики эти сверхприбыльные занятия — овцеводство и продажа шерсти — были способны погубить страну. Овцы, «превращавшие песок в золото», могли с таким же успехом превратить золото в песок — как это и произошло в конце концов с ресурсами Испании XVII в., чья истощенная эрозией почва так и не оправилась от последствий чрезмерно распространившегося овцеводства.

В официальном документе, подготовленном в 1607 г. для палаты лордов, проблема изменений была резюмирована в одной энергичной фразе: «Бедняк должен получить то, в чем он нуждается, — жилище, а джентльмена не должно стеснять в том, к чему он стремится, — в усовершенствованиях». Кажется, эта формула принимает как данное сущность чисто экономического прогресса — усовершенствования ценой социальных бедствий. Но в то же время она косвенно указывает на трагическую неизбежность, с которой бедняк цепляется за свою жалкую лачугу, обреченный на это стремлением богача к усовершенствованиям, полезным для общества и выгодным для него лично.

Огораживания весьма удачно называли революцией богатых против бедных. Порой с помощью насилия, а часто посредством давления и устрашения, лорды и знать ломали прежний социальный порядок, попирая старинные законы и обычаи. Они в буквальном смысле грабили бедняков, отнимая их долю в общинной земле, снося дома, которые те, в силу нерушимого дотоле обычая, привыкли считать своей собственностью и наследием своих

детей. Прежняя социальная структура безжалостно разрушалась, обезлюдившие деревни и руины человеческих жилищ свидетельствовали о неистовой ярости, с которой бушевала эта революция, подрывая обороноспособность страны, опустошая ее города, истребляя ее население, обращая в пыль ее истощенную почву, принося неисчислимые муки ее народу, который из добропорядочных землепашцев превращался в толпу воров и попрошаек. Правда, происходило это лишь в отдельных районах, но черные пятна бедствия, расползаясь во все стороны, грозили слиться воедино, охватив всю территорию Англии.[9] Король и его Тайный совет, канцлеры и епископы пытались спасти от этого бича благосостояние общества, а в конечном счете — его человеческие и природные основы. Практически непрерывно, более полутора столетий — начиная, самое позднее, с 1490-х и вплоть до 1640-х гг. — они упорно боролись против обезлюдения. Лорд-протектор Сомерсет погиб от рук контрреволюции, которая после разгрома восстания Роберта Кета, сопровождавшегося истреблением нескольких тысяч крестьян, вырвала из свода парламентских статутов законы об огораживании и установила диктатуру лордов-овцеводов. Сомерсет был обвинен, и не без оснований, в том, что своими решительными обличениями огораживаний он всячески поощрял взбунтовавшихся крестьян.

Почти сто лет спустя те же противники сошлись вновь, однако на сей раз в роли огораживателей гораздо чаще выступали не лорды и знать, а купцы и богатые сельские джентльмены. Высокая политика, светская и церковная, оказалась теперь тесно связанной с целенаправленным использованием короной своих прерогатив для противодействия огораживанию, как и с не менее сознательным использованием ею вопроса об огораживании для укрепления собственных позиций в конституционной борьбе против джентри, — той самой борьбе, которая привела на плаху по приговору парламента Стаффорда и Лода. Но правительственный курс был реакционным не только экономически, но и политически, к тому же теперь земли гораздо чаще огораживались под пашню, а не под пастбище. Вскоре социальная политика Тюдоров и ранних Стюартов навсегда исчезла в водовороте гражданской войны.

Историки XIX в. единодушно осудили эту политику как демагогическую, если не прямо реакционную. Они, разумеется, сочувствовали парламенту, а этот орган был на стороне огораживателей. Г. де Гиббинс, пылкий защитник простого народа, писал, однако, следующее: «Подобные охранительные законы, как это чаще всего и происходит с охранительными законами, совершенно не достигли своей цели».[10] Еще решительнее выразился Иннес: «Обычные средства: карательные меры против бродяг, попытки силой загнать промышленную деятельность в непригодные для нее сферы, а капитал направить в менее прибыльные предприятия с целью обеспечить занятость, потерпели — как обычно — крах».[11] Герднер, не колеблясь, ссылаясь на фритредерские представления как на «экономический закон»: «Совершенно ясно, — писал он, — что экономические законы не были тогда постигнуты, и потому законодательство пыталось воспрепятствовать сносу крестьянских жилищ лендлордами, которые находили для себя выгодным обращать пахотную землю в пастбище, чтобы увеличить производство шерсти. Неоднократное повторное принятие этих актов лишь демонстрирует, сколь неэффективными были они на практике».[12] А совсем недавно такой экономист, как Хекшер, с убежденностью доказывал, что меркантилизм в целом следует объяснить недостаточно глубоким пониманием сложных феноменов экономической жизни — предмета, на постижение коего уму человеческому требовалось, очевидно, еще несколько столетий.[13] В самом деле, законодательство против огораживаний, кажется, не смогло остановить этот процесс, ни даже создать на его пути серьезные препятствия. Джон Гэльс, сравниться с которым в пылкой преданности принципам Английской республики не мог никто, признавал, что собрать улики против огораживателей оказывалось невозможным: огораживатели нередко добивались того, что в состав присяжных попадали их собственные слуги, а «прихлебателей и клиентов у них имелось столько, что составить жюри без их участия было немыслимо». А порой достаточно было провести через поле одну-единственную борозду, и нарушивший закон лорд уходил от наказания.

В столь легком торжестве частных интересов над правосудием нередко усматривают верный признак неэффективности законов, после чего победу этого процесса, сметающего на своем пути все преграды, объявляют неопровержимым доказательством тщетности «реакционного интервенционизма». Но рассуждать подобным образом значит совершенно не улавливать сути вопроса. Почему конечное торжество известной тенденции следует принимать за доказательство безуспешности попыток затормозить ее ход? И почему целью и смыслом этих мер нельзя считать то самое, чего удалось добиться с их помощью, а именно замедлить темп изменений? То, что оказывается неэффективным как попытка совершенно остановить некий процесс, вовсе не является по этой причине совершенно неэффективным. Темп перемен нередко бывает столь же важным, как и само их направление, но если последнее часто не зависит от нашей воли, то скорость, с которой развивается данный процесс, вполне может зависеть от нас самих.

Слепая вера в стихийный прогресс не позволяет нам понять роль правительств в экономической жизни. Роль же эта заключается в воздействии на темп изменений, в ускорении или замедлении его в зависимости от обстоятельств; если же мы считаем этот темп в принципе неизменным или, что еще хуже, видим кощунство в самой попытке на него повлиять, тогда, разумеется, ни о каком вмешательстве не может быть и речи. Пример тому — огораживания. В ретроспективе нет ничего более ясного, чем основная тенденция экономического развития тогдашней Европы: борьба с искусственно сохранившимся единообразием в агротехнике, ликвидация чересполосицы и архаичного института общинного землевладения. Что касается Англии, то не может быть сомнений в том, что развитие шерстяного производства оказалось благом для страны, поскольку именно оно привело к созданию хлопчатобумажной промышленности — главного двигателя промышленной революции. Кроме того, очевидно, что рост домашнего ткачества зависел от роста производства шерсти в Англии. Упомянутых фактов вполне достаточно, чтобы обращение пахотной земли в пастбища и сопутствовавшие ему огораживания признать генеральной тенденцией экономического прогресса. Но если бы не последовательная правительственная политика в эпоху Тюдоров и ранних Стюартов, темп этого прогресса мог бы оказаться губительным, превратив сам процесс из созидательного в разрушительный. Ведь именно от этого темпа и зависело главным образом, сумеют ли обезземеленные крестьяне приспособиться к новым условиям так, чтобы самые основы их бытия, социального и экономического, физического и нравственного, не оказались фатально подорваны; найдут ли они работу в отраслях, косвенно связанных с процессом перемен, и наконец, позволят ли следствия возросшего импорта, стимулированного увеличением экспорта, найти новые источники средств к существованию тем, кто лишился работы из-за этого процесса.

Все это определялось соотношением скорости перемен и темпа приспособления к ним. Обычная для экономистов-теоретиков манера оперировать в своих рассуждениях широкими временными периодами здесь недопустима: она заранее решает спорный вопрос, поскольку исходит из того, что данный процесс имел место в условиях рыночной экономики. Но подобное предположение, каким бы естественным оно для нас ни казалось, совершенно неправомочно, ведь рыночная экономика — это институциональная структура, которая — о чем все мы слишком склонны забывать — возникла только в наше время и даже тогда не стала единственной. Однако без этого предположения подобного рода аргументы оказываются бессмысленными. Если ближайшие следствия процесса изменений пагубны, то, пока не доказано обратное, такими же являются и конечные результаты. Если конверсия пахотных земель в пастбища влечет за собой снос известного числа жилищ, потерю источников средств к существованию известным количеством крестьян, уменьшение в данной местности запасов продовольствия, то все эти следствия, пока не представлены доказательства противоположного, нужно признать окончательными. Это нисколько не мешает нам принимать в расчет возможное влияние увеличившегося вывоза на доходы землевладельцев, вероятность появления новых рабочих мест, созданных ростом шерстяного производства в данном районе, или те цели, на которые могут употребить

землевладельцы свои возросшие доходы, будь то дальнейшие инвестиции или траты на предметы роскоши. Сопоставление темпа перемен с темпом адаптации к ним и покажет нам, что именно нужно считать их конечным результатом. Но допускать функционирование рыночных законов, пока не доказано существование саморегулирующегося рынка, мы совершенно не вправе. Рыночные законы действуют лишь в институциональных рамках рыночной же экономики, а значит, заблуждались, игнорируя реальные факты, отнюдь не государственные мужи тюдоровской Англии, но современные экономисты, чья суровая критика в адрес первых подразумевала наличие рыночной системы, системы, которой тогда еще не было и в помине.

Выдержать катастрофу огораживаний без серьезного для себя ущерба Англия сумела только потому, что Тюдоры и ранние Стюарты активно употребляли прерогативы короны, чтобы замедлить процесс экономических усовершенствований, пока он не стал социально приемлемым. Они использовали власть центрального правительства, чтобы помочь жертвам трансформации, пытаясь направить ход процесса перемен таким образом, чтобы последствия его были менее разрушительными. Их должностные лица и прерогативные судьи отнюдь не отличались консервативностью взглядов: поощряя иммиграцию иностранных ремесленников, энергично внедряя новые технические изобретения, используя в отчетах точные статистические методы, отрицая права, основанные на давности, ограничивая привилегии церкви, пренебрегая обычаем и традицией, не желая считаться с общим правом, они выражали новый, научный подход к управлению государством. И если стремление к новшествам означает революцию, то они и были истинными революционерами своей эпохи. Благо народа, к вящей славе, могуществу и величию государя, — вот идея, которой они были преданы, однако будущее принадлежало конституционализму и парламенту. Монархическое правление сменилось правлением класса — класса, возглавившего прогрессивные тенденции в промышленности и торговле. Великий принцип конституционализма оказался неразрывно связан с политической революцией, отнявшей прежние прерогативы у короны, которая к этому времени утратила почти все свои творческие потенции, тогда как ее охранительные функции уже не являлись жизненно необходимыми для страны, сумевшей выдержать шторм переходного периода. Теперь финансовая политика короны чрезмерно ослабляла мощь Англии и начала стеснять ее торговлю; в стремлении сохранить свои привилегии корона все более ими злоупотребляла, нанося таким образом ущерб ресурсам нации. Блестящие успехи в законодательной регламентации трудовых отношений и в руководстве промышленностью, разумный надзор над процессом огораживаний стали ее последним достижением. Но оно было забыто с тем большей легкостью, что капиталисты и работодатели из поднимавшейся буржуазии и были главными жертвами охранительных мер короны. Лишь по прошествии двух веков Англия получила столь же эффективную и продуманную социальную политику, как та, с которой покончила Республика. Правда, теперь в подобного рода патерналистской политике уже не было прежней необходимости. Но в одном отношении этот разрыв причинил нации громадный вред: он совершенно уничтожил память об ужасах эпохи огораживаний и об успехах правительства в борьбе с обезлюдением. И это, вероятно, способно нам объяснить, почему примерно 150 лет спустя, когда благополучию и самому существованию страны угрожала сходная катастрофа в виде промышленной революции, истинная природа кризиса так и не была осознана.

На сей раз это было специфически английское явление, и на сей раз первоисточником процесса, охватившего всю страну, стала морская торговля, а ужасные перемены в условиях жизни простого народа были вызваны грандиозными по своему масштабу усовершенствованиями. Процесс еще не успел зайти слишком далеко, а массы трудящихся оказались согнаны в новую юдоль скорби — так называемые промышленные города Англии; сельские жители, теряя человеческий облик, превращались в обитателей трущоб, институт семьи стоял на грани краха, а обширные территории стремительно превращались в пустыню под грудой отходов, извергаемых «сатанинской мельницей». Писатели всех взглядов и партий, консерваторы и либералы, капиталисты и социалисты, неизменно характеризовали

социальные последствия промышленной революции как бездну человеческого вырождения.

Вполне убедительного объяснения этого процесса мы не имеем до сих пор. Современники воображали, будто им удалось открыть источник проклятия в железных закономерностях, которым подчинены богатство и бедность и которые они называли законом заработной платы и законом народонаселения; их выводы были опровергнуты. Затем появилось новое объяснение — эксплуатация, но оно противоречило тому факту, что в промышленных городах-трущобах заработная плата была выше, чем в других районах страны, и в целом продолжала расти в течение следующих ста лет. Чаще предлагалась некая совокупность причин, которая опять же оказывалась неудовлетворительной.

Наше объяснение вовсе не является простым; ему, в сущности, и посвящена большая часть книги. Мы полагаем, что на Англию обрушилась лавина бедствий, гораздо более страшных, чем бедствия эпохи огораживаний; что эта катастрофа сопровождалась мощным и стремительным прогрессом экономики; что в западном обществе начал действовать совершенно новый институциональный механизм; что его опасные последствия, с самого начала крайне болезненные для общества, так никогда и не были по-настоящему преодолены; и что история цивилизации XIX в. сводится в значительной мере к попыткам защитить общество от разрушительного действия этого механизма. Промышленная революция была лишь началом столь же глубокой и радикальной революции, как и те, которые вдохновляли умы самых пылких религиозных фанатиков, однако новая вера являлась насквозь материалистической; в основе ее лежало убеждение в том, что все человеческие проблемы могут быть решены, если удастся обеспечить неограниченный рост материальных благ.

Бессчетное число раз пересказывалась эта история — история о том, как расширение рынков, наличие угля и железа, влажный климат, благоприятный для хлопчатобумажной промышленности, появление огромной массы людей, обезземеленных в XVIII в. новой волной огораживаний, существование свободных государственных институтов, изобретение машин и многие другие причины взаимодействовали таким образом, чтобы вызвать в итоге промышленную революцию. Было убедительно доказано, что мы не вправе выделять из общей цепи какой-либо из перечисленных факторов и рассматривать его отдельно, в качестве единственной причины этого неожиданного и стремительного процесса.

Но что же собой представляла сама эта революция? Какова ее фундаментальная характеристика? Возникновение фабричных городов, появление трущоб, продолжительный рабочий день детей, низкая заработная плата некоторых категорий рабочих, увеличение темпов роста населения или, может быть, концентрация промышленности? Мы полагаем, что все это лишь следствия губительного процесса — процесса становления рыночной экономики и что природу этого института невозможно понять вполне, не осознав влияние машинной техники на коммерциализированное общество. Мы не намерены заявлять, будто все случившееся было порождено машиной, однако мы решительно утверждаем, что после того как в коммерциализированном обществе начали использоваться в производстве сложные машины и агрегаты, практическое формирование идеи саморегулирующегося рынка стало неизбежным.

Применение специализированных машин в аграрном и коммерциализированном обществе влечет за собой важные последствия. Подобное общество состоит из землевладельцев и купцов, которые продают и покупают сельскохозяйственные продукты. Производство с помощью специализированных, сложных и дорогостоящих орудий и механизмов может найти себе место в этом обществе лишь при условии, что его сделают элементом купли-продажи. Единственная наличная фигура, способная взять на себя решение этой задачи, — купец, но он может осуществлять эту деятельность лишь до тех пор, пока она не становится для него убыточной. Продавать свои товары он будет точно так же, как продавал бы другие товары тем, у кого они пользуются спросом, однако получать их он будет другим способом — не

покупая готовыми, но приобретая вначале необходимые рабочую силу и сырье. Эти два элемента, соединенные согласно указаниям купца, плюс некоторое время, необходимое для работы, и дадут ему в итоге новый продукт. Перед нами не просто описание домашнего производства или «изготовление изделий», но универсальная модель промышленного капитализма, в том числе и современного. Отсюда вытекают важные последствия для социальной системы в целом.

Поскольку сложные машины стоят дорого, то окупаются они лишь при крупных объемах производства.[14] Они могут приносить прибыль только тогда, когда есть твердая гарантия последующего сбыта товаров, а процесс их производства не приходится останавливать из-за отсутствия необходимого для машин сырья. Для купца это означает, что все элементы процесса должны быть в открытой продаже, иначе говоря, всякий, кто готов за них заплатить, должен иметь реальную возможность приобрести их в необходимом количестве. Если же это условие не выполняется, то производство с помощью специализированных машин будет слишком рискованным — как для самого купца, который вкладывает в него деньги, так и для общества в целом, которое начинает зависеть от непрерывного производства в отношении заработка, занятости и снабжения продуктами питания.

В аграрном обществе подобные условия не могут возникнуть сами собой: их нужно создать. То, что создаются они постепенно, никоим образом не затрагивает радикальный характер связанных с ними перемен. Данная трансформация предполагает изменение побудительных мотивов поведения известной части общества: на смену мотиву пропитания должен прийти мотив прибыли. Все сделки превращаются в сделки денежные; последние в свою очередь требуют, чтобы средства обмена проникли во все элементы хозяйственного организма. Любые доходы должны извлекаться из продажи того или иного товара, и каким бы ни был действительный источник доходов данного лица, в нем следует видеть результат продажи. Именно это, и ничуть не меньшее, и выражает простой термин «рыночная система», которым мы привыкли обозначать вышеописанную институциональную модель. Но самая поразительная ее особенность заключается в том, что коль скоро эта система уже создана, ее функционирование не должно стесняться каким-либо вмешательством извне. Прибыль более не является гарантированной — теперь купец должен получить доход на рынке; цены следует предоставить процессу саморегулирования. Подобного рода саморегулирующаяся система рынков и есть то, что мы понимаем под рыночной экономикой.

Превращение прежней экономики в эту систему является столь полным и абсолютным, что напоминает скорее метаморфозу гусеницы, нежели любые изменения, которые можно было бы описать в терминах постепенного роста и развития. Сравним, к примеру, деятельность купца — организатора производства, как купец — организатор производства действует в сферах купли и продажи. Продает он только готовые изделия; удастся ли ему найти для них покупателей или нет, — на структуру самого общества это никак не повлияет. Но покупает он сырье и труд — природу и человека. Машинное производство в коммерциализированном обществе требует фактически ни более ни менее как превращения в товар природной и человеческой основы общества. Вывод страшный, но неизбежный, и нам следует принимать его во всей полноте: совершенно ясно, что катастрофические сдвиги, вызванные подобными процессами, разрушают человеческие связи и грозят уничтожением естественной среде существования человека.

Подобная опасность была вполне реальной. Мы поймем ее истинный характер, если проанализируем те законы, которые управляют механизмом саморегулирующегося рынка.

Глава 4

Общества и экономические системы

Прежде чем перейти к анализу законов, управляющих такой рыночной экономикой, какую пытались построить XIX столетие, мы должны хорошо себе уяснить те чрезвычайно странные допущения, которые лежат в основе подобной системы.

Рыночная экономика означает саморегулирующуюся систему рынков, или, выражаясь в несколько более специальных терминах, это экономика, управляемая рыночными ценами и ничем другим, кроме рыночных цен. Подобная система, коль скоро она способна организовать всю экономическую жизнь общества без какой-либо помощи или вмешательства извне, несомненно заслуживает название саморегулирующейся. Эти предварительные замечания достаточно ясно показывают, что подобное предприятие было по своему характеру совершенно беспримерным в истории рода человеческого.

Объяснимся несколько подробнее. Разумеется, никакое общество не могло бы жить, не располагая экономикой того или иного типа, однако вплоть до нашей эпохи не существовало экономики, которая, хотя бы в принципе, управлялась законами рынка. Вопреки хору академических заклинаний, столь упорных в XIX в., прибыль и доход, получаемые посредством обмена, в прежние времена никогда не играли важной роли в человеческой экономике. Хотя сам институт рынка был довольно широко распространен начиная с позднего каменного века, его функция в экономической жизни оставалась вполне второстепенной.

У нас есть веские причины подчеркивать данное обстоятельство с особой настойчивостью. Мыслитель такого уровня, как Адам Смит, утверждал, что разделение труда в обществе зависит от существования рынков или, как он выразился, от «склонности человека к торгу и обмену».

Впоследствии из этой фразы развилась концепция Экономического Человека. Теперь, в ретроспективе, можно сказать, что никогда еще ложное истолкование прошлого не оказывалось столь же блестящим предсказанием будущего. Ибо если до Адама Смита эта склонность едва ли обнаруживалась в сколько-нибудь значительных масштабах в каком-либо из известных нам обществ, оставаясь, самое большее, второстепенным фактором экономической жизни, то уже сто лет спустя на большей части земного шара развилась такая система хозяйственной организации, которая и практически и теоретически исходила из того, что всей экономической деятельностью человечества и чуть ли не всеми его политическими, интеллектуальными и духовными устремлениями управляет именно эта склонность. Во второй половине XIX в., после весьма поверхностного знакомства с экономическими проблемами, Герберт Спенсер отождествил принцип разделения труда с обменом, а еще через 50 лет то же заблуждение повторяли Людвиг фон Мизес и Уолтер Липпман. Впрочем, к этому времени никто уже и не требовал доказательств: целый сонм авторов, писавших по вопросам политической экономики, социальной истории, политической философии и общей социологии, двинулся по стопам Смита, превратив его пример «обменивающегося дикаря» в аксиому соответствующих наук. На самом же деле гипотеза Адама Смита об экономической психологии первобытного человека была столь же ложной, как и представления Руссо о политической психологии дикаря. Разделение труда, феномен столь же древний, как и само общество, обусловлен различиями, заданными полом, географией и индивидуальными способностями, а пресловутая «склонность человека к торгу и обмену» почти на сто процентов апокрифична. Истории и этнографии известны разные типы экономик, большинство из которых включает в себя институт рынка, но им неведома какая-либо экономика, предшествующая нашей, которая бы, пусть даже в минимальной степени, регулировалась и управлялась рынком. Беглый обзор истории экономических систем и истории рынков, рассмотренных в отдельности, сделает это совершенно очевидным. Он продемонстрирует нам, что роль рынков во внутриэкономической жизни различных стран оставалась вплоть до недавнего времени весьма незначительной, и с тем большей наглядностью покажет, сколь резким был переход к экономике, всецело подчиненной

рыночному механизму.

Вначале мы должны отбросить некоторые предрассудки XIX столетия, лежавшие в основе гипотезы Адама Смита о мнимом пристрастии первобытного человека к прибыльным занятиям. Поскольку аксиома эта имела гораздо больше смысла в применении к ближайшему будущему, нежели к туманному прошлому, то она внушила его последователям чрезвычайно странный подход к ранней истории человечества. Фактические данные свидетельствовали, на первый взгляд, о том, что первобытному человеку была свойственна не капиталистическая, а как раз коммунистическая психология (позднее было доказано, что и это неверно). А потому экономические историки ограничивали свой научный интерес тем сравнительно коротким периодом истории, когда феномен обмена приобрел заметный размах, первобытная же экономика была низведена до уровня «предыстории». В итоге они невольно склонили чашу весов в пользу рыночной психологии, ибо в пределах относительно краткого периода — нескольких последних столетий — буквально все можно было истолковать как тенденцию к утверждению того, что в конце концов и утвердилось, т. е. рыночной системы, совершенно игнорируя при этом прочие тенденции, на время исчезнувшие из виду. Коррективом к подобного рода «близорукой перспективе» могло бы стать установление связей между экономической историей и социальной антропологией — прием, которого с упорством избегали.

Сегодня мы уже не можем идти по тому же пути. Привычка видеть в десяти последних тысячелетиях, как и во множестве первобытных обществ, простую прелюдию к подлинной истории нашей цивилизации, которая началась-де примерно в одно время с публикацией «Богатства народов» (1776), является, мягко говоря, старомодной. Именно этот эпизод и завершился в наши дни, и теперь, пытаясь осмыслить альтернативы будущего, мы должны подавлять свою естественную склонность следовать пристрастиям наших отцов. Но то самое предубеждение, которое заставило современников Адама Смита видеть в первобытном человеке активного участника операций обмена, сделало их преемников совершенно к нему равнодушными, ибо теперь выяснилось, что первобытный человек не предавался всей душой этой похвальной страсти. Традицию классических экономистов, пытавшихся обосновать закон рынка мнимыми склонностями «естественного человека», сменила полная утрата интереса к культурам «нецивилизованного человека», как якобы неспособным помочь нам в анализе проблем современной эпохи.

Столь субъективный подход к первобытным цивилизациям должен быть чужд настоящему ученому. Различия между цивилизованными и «нецивилизованными» народами, особенно в экономической области, сильно преувеличены. Как утверждают историки, формы хозяйственной жизни в европейской деревне вплоть до недавних времен не слишком отличались от того, что они собой представляли несколько тысяч лет назад. С момента появления плуга (по существу — мотыги, которую тащили животные) и до начала новейшей эпохи на большей части Западной и Центральной Европы не происходило никаких серьезных перемен в агротехнике. Прогресс цивилизации в этом регионе был по преимуществу политическим, интеллектуальным и духовным, что же касается материальных условий, то к 1100 г. н. э. Западная Европа едва достигла уровня римского мира 100 г. н. э. И даже впоследствии перемены происходили с большей легкостью в сфере управления государством, в литературе, искусстве и особенно в религии и в науке, нежели в экономике. В хозяйственном отношении средневековая Европа стояла в целом на одном уровне с древними Персией, Индией и Китаем и, безусловно, не могла сравниться по богатству и культуре с Египтом эпохи Нового Царства. Первым из современных экономических историков, кто выступил против игнорирования первобытных экономик как якобы не имеющих отношения к вопросу о мотивах и механизмах, действующих в цивилизованных обществах, был Макс Вебер. Последующие успехи социальной антропологии убедительно доказали его правоту, ибо если из недавних исследований ранних обществ какой-либо вывод следует с большей очевидностью, чем прочие, то это положение о неизменности человека как существа

социального. Его природные способности проявляются в обществах всех времен с поразительным постоянством, а предпосылки, необходимые для выживания человеческого общества, всюду оказываются совершенно тождественными.

Недавние изыскания историков и антропологов привели к замечательному открытию: экономическая деятельность человека, как правило, полностью подчинена общей системе его социальных связей. Человек действует не для того, чтобы обеспечить свои личные интересы в сфере владения материальными благами, он стремится гарантировать свой социальный статус, свои социальные права, свои социальные преимущества. Материальные же предметы он ценит лишь постольку, поскольку они служат этой цели. Ни процесс производства, ни процесс распределения не связаны с какими-либо особыми экономическими интересами в плане владения вещами/ но каждый отдельный этап, каждый шаг в этих процессах строго обусловлен целым рядом социальных интересов, которые в конечном счете и гарантируют то, что необходимый шаг будет сделан. В небольшой общине охотников или рыбаков и в гигантской деспотии интересы эти могут быть весьма несходными, однако всюду экономическая система приводится в действие неэкономическими мотивами.

Все это нетрудно объяснить с точки зрения борьбы за выживание. Возьмем, к примеру, племенное общество. Экономические интересы отдельного человека редко выходят в нем на первый план, ибо племя спасает всех членов от голода, пока оно само не становится жертвой какого-то бедствия, — но и в этом случае интересы племени подвергаются опасности не в индивидуальном, а в коллективном плане. Кроме того, важнейшую роль играет здесь необходимость сохранения социальных связей: во-первых, потому, что нарушая традиционные нормы чести или щедрости, индивид ставит себя вне общества и превращается в изгоя; во-вторых, потому, что все социальные обязательства являются в конечном счете взаимными и их выполнение лучше всего служит также и материальным интересам индивида. Подобный порядок вещей неизбежно оказывает на психику индивида мощное и постоянное воздействие, доходящее до того, что в очень многих (хотя далеко не во всех) случаях человек совершенно теряет способность сознавать последствия своих поступков с точки зрения личного, «материального» интереса. Данную психологическую установку укрепляют действия, часто совершаемые всей общиной, — например, употребление совместно добытой пищи или участие в разделе добычи после предпринятого всем племенем похода. Награда за щедрость в плане социального престижа столь высока, что любой иной принцип поведения, кроме полного бескорыстия, становится просто невыгодным. Особенности личного характера не играют здесь большой роли: человеческие доброта и злоба, альтруизм и эгоизм, великодушие и зависть в рамках одной системы ценностей могут проявляться с таким же успехом, как и в рамках другой. Не давать никому повода для зависти — это один из общепринятых принципов церемонии распределения, точно так же как и публичная похвала, подобающая трудолюбивому, искусному или в иных отношениях удачливому садовнику. Человеческие страсти, добрые и злые, никуда не исчезают, но просто направляются к неэкономическим целям. Ритуальная демонстрация изобилия до предела подстегивает соревнование, а обычай совместного общинного труда доводит до высшего уровня его количественные и качественные стандарты. Совершение всех операций обмена в качестве актов добровольного дарения, за которыми должен последовать ответный дар, хотя и не всегда со стороны тех самых лиц, — процедура, в мельчайших деталях упорядоченная и идеально обеспеченная сложными формами публичности, магическими ритуалами, а также институтом «дуальности», соединяющим определенные группы людей взаимными обязательствами, — само по себе должно объяснить нам отсутствие в подобном обществе всякого понятия о корысти и даже о богатстве (кроме того богатства, которое заключается в обладании предметами, традиционно повышающими социальный престиж индивида).

В этом беглом обзоре главных особенностей западно-меланезийского общества мы оставили в стороне его половую и территориальную организацию, на которую обычай, закон, магия и

религия также оказывают свое воздействие; мы лишь попытались продемонстрировать, каким образом так называемые «экономические мотивы» порождаются общим контекстом социальной жизни. Ведь современные этнографы согласны между собой только в одном, отрицательном пункте: отсутствие в подобных обществах личной выгоды, принципа работы за вознаграждение, принципа наименьших усилий, а главное — отсутствие принципа какого-либо особого, самостоятельного института, основанного на экономических мотивах. Но тогда каким же образом обеспечивается здесь порядок в производстве и распределении?

В самых общих чертах ответ на этот вопрос дают нам два принципа поведения, не связанные непосредственно с хозяйственной жизнью: взаимность и перераспределение.[15] У жителей островов Тробриан в Западной Меланезии, которые могут для нас послужить примером экономики подобного типа, принцип взаимности действует главным образом в сфере половой организации общества, т. е. семьи и родственных связей, а принцип перераспределения касается преимущественно тех, кто находится под властью вождя и, следовательно, имеет территориальный характер. Рассмотрим эти принципы в отдельности.

Содержание семьи — женщин и детей — есть обязанность их родственников по материнской линии. Мужчина, который обеспечивает средствами к существованию свою сестру и ее семейство, отдавая им лучшую долю своего урожая, удостоится главным образом похвал за свое хорошее поведение, но не получит взамен какой-то непосредственной материальной выгоды; если же он нерадив, то пострадает от этого в первую очередь опять же его репутация. Его жена и ее дети — вот ради кого работает принцип взаимности, вознаграждая таким образом экономически и его самого за гражданскую добродетель. Благодаря ритуальной демонстрации плодов — как в собственном его саду, так и перед кладовой приемщика — все могут узнать о том, какой он искусный садовник. Ясно, что в данном случае сад и домашнее хозяйство составляют элемент социальных отношений, связанных с умелым ведением хозяйства и гражданской добропорядочностью.

Столь же эффективен и принцип перераспределения. Значительную часть всех производимых на острове продуктов старейшины деревень передают вождю, который хранит их в особых кладовых. Если же принять в расчет, что совместная деятельность общины концентрируется вокруг празднеств, пиров, танцев и прочих действий, во время которых туземцы веселятся сами и принимают гостей с соседних островов (и где распределяются плоды дальних торговых экспедиций, происходит этикетный обмен дарами, а вождь делает всем соплеменникам предписанные обычаем подарки), то громадная роль системы хранения станет вполне очевидной. В чисто экономическом смысле она представляет собой важнейший элемент существующей системы разделения труда, торговли с другими островами, налогообложения на общественные нужды, обеспечения на случай войны и т. д. Но все эти собственно экономические функции полностью поглощаются исключительно яркими и сильными переживаниями, которые и дают туземцам великое множество неэкономических мотивов для любого акта, совершаемого в рамках социальной системы в целом.

И однако, принципы поведения, подобные вышеописанным, не могут стать эффективными, если наличные институциональные структуры делают невозможным их практическое применение. Взаимность и перераспределение способны обеспечить функционирование экономической системы без помощи письменных документов и сложного административного механизма только потому, что организации подобных обществ присущи симметрия и центричность.

Действию принципа взаимности чрезвычайно способствует институциональная модель симметрии, весьма характерная для социального строя бесписьменных народов. Замечательный феномен «дуальности», который находим мы во внутриплеменной структуре, позволяет придать индивидуальным связям парный характер, облегчая таким образом процесс обмена вещами и услугами при отсутствии письменного учета. Те элементы

первобытного общества, которые стремятся создавать пару для каждого наличного подкласса, порождаются актами взаимного обмена, фундамента всей общественной системы, и, в свою очередь, способствуют совершению этих актов. О происхождении «дуальности» известно немного, между тем каждая из прибрежных деревень островов Тробиан имеет своего «контрагента» в одной из удаленных от моря деревень, и таким образом жизненно важный процесс обмена плодов хлебного дерева на рыбу, хотя и скрытый под видом взаимных даров и фактически разделенный во времени, может протекать без каких-либо сбоев. У участника торгового «кольца Кула» имеется особый партнер на другом острове — еще один замечательный пример отношений взаимности. Но если бы модель симметрии не повторялась с удивительным постоянством в членении племени на группы, в расположении деревень и в межплеменных связях, то широкий по своему масштабу процесс обмена, который опирается на охватывающие длительное время взаимосвязанные акты получения и передачи подарков, был бы попросту невозможен.

Институциональная схема центричности, в той или иной степени действующая во всех человеческих группах, также представляет собой удобный способ сбора, хранения и перераспределения предметов и услуг. Члены племени охотников, как правило, отдают добычу старейшинам для последующего перераспределения. Сама добыча, что вполне естественно для охоты, не бывает постоянной и к тому же является результатом коллективных усилий. При подобных условиях какой-то другой способ ее раздела просто немыслим — в противном случае группа должна будет распадаться после каждой охоты. Но потребность в перераспределении существует в любом натуральном хозяйстве, какой бы многочисленной ни была занимающаяся им группа. И чем обширнее данная территория и разнообразнее производимые на ней продукты, тем в большей мере процесс перераспределения приводит к эффективному разделению труда, поскольку именно оно должно связывать между собой географически дифференцированные группы производителей.

Симметрия и центричность «идут навстречу» взаимности и перераспределению; институциональные модели и поведенческие нормы адаптируются друг к другу. И пока социальная организация движется по проторенной колее, не возникает необходимости в индивидуальных экономических мотивах, можно не опасаться того, что кто-нибудь станет уклоняться от работы, разделение труда происходит само собой, а главное — обеспечиваются более чем достаточные материальные средства для демонстрации всеобщего изобилия на всех публичных празднествах. В подобном обществе нет места идее прибыли, попытки спорить и торговаться сурово осуждаются, добровольный дар возносится как высшая из добродетелей, а пресловутая «склонность к торгу и обмену» никак себя не обнаруживает. Экономическая система является, в сущности, лишь простой функцией социальной организации.

Отсюда вовсе не следует, что социально-экономические принципы такого типа характерны лишь для простейших хозяйственных процедур или небольших общин и что экономика, не знающая рынка и прибыли, непременно должна быть примитивной. «Кольцо Кула» в Западной Меланезии, основанное на принципе взаимности, является одной из самых сложных торговых систем, известных в человеческой истории, а гигантских масштабов перераспределение было одним из элементов цивилизации пирамид.

Острова Тробиан принадлежат к архипелагу, образующему подобие круга, и многие их жители посвящают значительную часть своего времени торговле в «кольце Кула». Мы называем это торговлей, хотя она совершенно не связана с какой-либо прибылью ни в деньгах, ни в натуре; никто не запасает товары и даже не владеет ими постоянно; полученными вещами пользуются очень просто — их дарят; спорить и торговаться не принято; «торга и обмена» в нашем понимании здесь нет, а весь процесс полностью регулируется магией и традиционным этикетом. И все же перед нами торговля: жители этого архипелага, напоминающего по своей форме круг, периодически организуют крупные

экспедиции, чтобы доставить определенный вид ценных предметов обитателям далеких островов, расположенных от них по часовой стрелке, — а в это время навстречу им движутся другие экспедиции с другим видом ценных предметов. В конце концов оба вида предметов — традиционной формы браслеты из белых раковин и ожерелья из красных раковин — описывают полный круг, на что уходит порой до десяти лет. Кроме того, в «кольце Кула» существуют и индивидуальные партнеры; они дарят друг другу браслеты и ожерелья одинаковой ценности, предпочтительно такие, которые принадлежали ранее известным особам. Систематический и правильно организованный обмен ценными предметами, доставляемыми на большие расстояния, справедливо называют торговлей, однако все это чрезвычайно сложное целое функционирует исключительно на основе принципа взаимности. Замысловатая система временных, пространственных и личных связей, охватывающая сотни миль и несколько десятилетий, соединяющая многие сотни людей по отношению к тысячам строго индивидуальных предметов, действует в данном случае без всякого письменного учета и особого административного аппарата, но также и без мотива прибыли или вознаграждения. Здесь преобладает не склонность к меновой торговле, но социальный принцип взаимности, и, однако, результатом его является колоссальное достижение в организации экономической сферы. Было бы любопытно узнать, сумеет ли самая передовая современная рыночная структура, опирающаяся на строгий бухгалтерский учет, справиться с подобной задачей, если, конечно, пожелает за нее взяться. Весьма вероятно, что несчастные торговцы, столкнувшись с бесчисленными монополистами, покупающими и продающими отдельные предметы, а также с чрезвычайно причудливыми условиями, касающимися каждой сделки, не сумели бы получить норму прибыли и предпочли бы оставить этот бизнес.

Перераспределение также имеет свою долгую и богатую историю, которая доходит почти до наших времен. Туземец из племени бергдама, возвращающийся с охоты, женщина, собирающая в лесу корни, листья или плоды, должны отдать большую часть добычи в распоряжение общины. На практике это означает, что они делятся результатами своего труда с другими людьми, которые живут вместе с ними в данный момент. До этого пункта преобладает идея взаимности — то, что ты отдал сегодня, будет компенсировано тем, что ты получишь завтра. Однако у некоторых племен существует промежуточное звено в лице старейшины, вождя или другого видного члена группы; именно он получает и распределяет соответствующие предметы, особенно если они нуждаются в хранении. Это и есть перераспределение в собственном смысле. Ясно, что такой метод распределения может иметь далеко идущие социальные последствия, ведь не все общества устроены столь же демократично, как общины первобытных охотников. Совершается ли перераспределение влиятельным семейством или какой-то выдающейся личностью, правящей аристократией или группой бюрократов, эти лица или группы предпринимают попытки увеличить собственный политический вес с помощью того особого способа, каким перераспределяют они товары. В чести для вождя — выставить на всеобщее обозрение множество принадлежащих ему шкур и раздать их соплеменникам, но делает он это еще и с той целью, чтобы связать получателей определенными обязательствами, превратив их в своих должников, а в конечном счете — в зависимых от него людей.

Все крупные экономики натурального типа строились на принципе перераспределения. Вавилонское царство Хаммурапи и особенно Египет эпохи Нового Царства представляли собой централизованные бюрократические деспотии, основанные на подобного рода экономической системе. Патриархальное домашнее хозяйство воспроизводилось здесь в безмерно увеличенном масштабе, тогда как «коммунистическое» распределение в этих деспотиях предполагало различные ранги с четкой дифференциацией подпадающих каждому норм. Продукты труда крестьян — скотоводов, охотников, пекарей, пивоваров, гончаров, ткачей и т. д. — поступали в особые кладовые, количество которых было огромным. Там их тщательно регистрировали, а затем, если они не потреблялись на месте, перевозили в более крупные хранилища, пока они не достигали центральной администрации, находившейся при дворе фараона. В Египте имелись особые склады для тканей, произведений искусства,

украшений, косметических средств, изделий из серебра, царской одежды; существовали громадные зернохранилища, арсеналы и винные погреба.

Однако перераспределение в столь же крупных масштабах, как и у строителей пирамид, было характерно не только для экономик, не знавших, что такое деньги. Все древние государства использовали металлические денежные знаки для уплаты налогов и жалованья, но в остальном они обходились платежами натурой из всевозможных складов и амбаров: хранившиеся там разнообразные продукты распределялись преимущественно среди непроизводительной части населения — государственных чиновников, военных и лиц, не занятых какой-либо деятельностью. Подобный порядок существовал и в древнем Китае, в государстве инков, в индийских царствах, а также в Вавилонии. В этих и многих других цивилизациях, достигших огромных успехов в экономике, сложнейшая система разделения труда обеспечивалась с помощью механизма перераспределения.

Этот принцип действовал и при феодализме. В некоторых этнически стратифицированных африканских обществах правящий слой состоит из пастухов, которые живут среди земледельцев, по-прежнему использующих палку-копалку и мотыгу. Пастухи получают в дар преимущественно продукты земледелия — например зерно и пиво, сами же раздают животных, главным образом коз и овец. В таких случаях между разными слоями общества существует разделение труда, хотя обычно неравное, ибо за распределением нередко скрывается известная степень эксплуатации, но в то же время подобный симбиоз, благодаря преимуществам усовершенствованного разделения труда, повышает жизненный уровень обоих слоев. В политическом смысле для таких обществ характерен феодальный строй, независимо от того, что именно — земля или скот — является у них главной ценностью. «В Восточной Африке существуют самые настоящие

скотоводческие феоды». Турнвальд (которому мы строго следуем в анализе данного вопроса) мог поэтому утверждать, что феодализм всюду предполагал систему перераспределения. Только при весьма высоком уровне развития и в исключительных обстоятельствах эта система становится политической по преимуществу, как это произошло, например, в Западной Европе, где причиной подобной эволюции была потребность вассала в защите, а подарки превратились в феодальную дань.

Эти примеры показывают, что перераспределение также имеет тенденцию «погружать» собственно экономическую систему в сложную сеть социальных связей. Мы видим, что процесс перераспределения составляет, как правило, элемент господствующего политического строя, будь то племя, город-государство, деспотия, феодализм

земельный или

скотоводческий. Производство и распределение продуктов организовано в основном через сбор, хранение и перераспределение, а связующим центром системы является вождь, храм, деспот или феодальный сеньор. Поскольку отношения руководящей группы и подчиненных ей слоев бывают различными, в зависимости от того, на чем конкретно основывается политическое господство, то принцип перераспределения предполагает весьма несходные мотивы — от добровольного раздела добычи охотниками до страха перед наказанием, который заставляет феллаха платить налоги в натуре.

В данном изложении мы намеренно оставили в стороне важное различие между гомогенными и стратифицированными обществами, т. е. обществами, в социальном плане едиными, и теми, которые расколоты на правителей и подвластных. Хотя относительный статус рабов и господ может быть бесконечно далеким от отношений между свободными и равноправными членами какого-нибудь племени охотников, а следовательно, и мотивы поведения в этих обществах могут быть совершенно разными, организация экономической системы может по-прежнему основываться на тех же самых принципах, пусть даже сопутствуют ей весьма

несходные культурные характеристики — в зависимости от чрезвычайно многообразных человеческих связей, с которыми тесно переплетается собственно экономическая система.

Третий принцип, которому суждено было сыграть огромную роль в истории и который мы будем называть принципом домашнего хозяйства, состоит в производстве для удовлетворения собственных потребностей. Греки называли это

οεσνοπομία, откуда и происходит наше слово «экономика». Судя по данным этнографии, мы не вправе предполагать, что производство для нужд определенного лица или группы лиц — явление более древнее, чем взаимный обмен и перераспределение. Напротив, ортодоксальное учение, как и некоторые более поздние теории на сей счет, были убедительно опровергнуты. Дикаря-индивидуалиста, который бы охотился или собирал пищу исключительно для себя самого или для своего семейства, никогда не существовало. В самом деле, обеспечение пропитанием собственных домочадцев превращается в важную черту экономической жизни лишь на более высоком этапе развития сельского хозяйства, но даже там оно не имеет ничего общего с мотивом прибыли или с институтом рынка: его модель — замкнутая группа. Независимо от того, что именно составляло самодостаточную хозяйственную единицу — семья, поселение или феодальное поместье (организмы весьма несходные по своей природе) — в основе ее неизменно лежал один и тот же принцип: производство и хранение для удовлетворения потребностей членов данной группы. Принцип этот столь же многообразен в своей конкретной реализации, как и принцип взаимного обмена и перераспределения. Характер институционального ядра особого значения здесь не имеет: это может быть пол, как в патриархальной семье, местоположение, как в сельском поселении, или политическая власть, как в феодальном поместье. Внутренняя организация группы также не играет большой роли: она может быть столь же деспотической, как римская

famī-lia [16], или столь же демократической, как южнославянская «задруга»; столь же обширной, как громадные владения каролингских магнатов, или столь же крохотной, как обычный надел западноевропейского крестьянина. Потребность в торговле здесь возникает не в большей степени, чем в случае взаимного обмена или перераспределения.

Подобное положение вещей и пытался более 2000 лет тому назад обосновать в качестве нормы Аристотель. Теперь, оглядываясь в прошлое с высот стремительно разрушающейся мировой рыночной экономики, мы должны признать, что сделанное им во вступительной главе «Политики» знаменитое различие между домашним хозяйством в собственном смысле и производством ради прибыли было, вероятно, самым блестящим пророчеством в области общественных наук, которое, несомненно, до сих пор остается самым глубоким анализом данного предмета. Аристотель подчеркивает, что сущностью домашнего хозяйства в собственном смысле слова является производство для потребления — в отличие от производства ради прибыли, — однако, продолжает он, дополнительное производство для рынка отнюдь не должно разрушить самодостаточность хозяйства, пока

урожай в нем выращивается и для пропитания семьи,

как скот или зерно] продажа излишков не должна разрушить основу домашнего хозяйства. Воистину, только гений здравого смысла мог утверждать, как сделал это Аристотель, что прибыль является мотивом, свойственным производству для рынка, и что денежный фактор привносит в общую ситуацию совершенно новый элемент, — и однако, пока рынок и деньги остаются простым придатком к домашнему хозяйству, в прочих отношениях самодостаточному, принцип производства для потребления может действовать с прежним успехом. И в этом Аристотель был, несомненно, прав, хотя он и не понял, сколь нереальной была бы попытка игнорировать существование рынков в эпоху, когда греческая экономика уже оказалась в зависимости от оптовой торговли и ссудного капитала. Ведь именно в эпоху, когда писал Аристотель, Делос и Родос превращались в центры страхования морских перевозок, выдачи морских займов, по сравнению с которыми Западная Европа являла собой

тысячу лет спустя воплощение крайней примитивности. И однако, издатель «Политики» Джоуэтт, глава колледжа Баллиоль, глубоко заблуждался, считая само собой разумеющимся, будто викторианская Англия лучше, чем Аристотель, постигла суть различия между домашним хозяйством и производством ради прибыли. Впрочем, он нашел для Аристотеля оправдание, согласившись, что «относящиеся к человеку области познания отчасти совпадают и что в эпоху Аристотеля разграничить их было нелегко». Действительно, Аристотель не сумел ясно увидеть последствия разделения труда и его связь с рынками и деньгами, как не смог он понять, что такое использование денег в качестве капитала и кредита. В этих пределах строгая критика Джоуэтта вполне оправданна. Но отнюдь не Аристотель, а Джоуэтт оказался абсолютно невосприимчивым к социальным последствиям производства ради прибыли. Он так и не уразумел, что различие между принципом потребления и принципом прибыли является ключом к пониманию совершенно иной цивилизации, основные черты которой Аристотель безошибочно предсказал за 2000 лет до ее пришествия, имея перед собой лишь первые зачатки рыночной экономики, тогда как Джоуэтт, глядя на вполне развившийся образец, не заметил ее существования. Осуждая принцип производства ради прибыли как «несогласный с человеческой природой», как «безграницный и беспредельный», Аристотель указывал на самую суть проблемы, а именно на глубокое противоречие между изолированно действующим экономическим мотивом и социальными связями, неотъемлемым элементом которых и являются эти границы и пределы.

В целом мы вправе утверждать, что все известные нам экономические системы, вплоть до эпохи заката феодализма в Западной Европе, строились либо на одном из перечисленных выше принципов — взаимности, перераспределения или домашнего хозяйства, — либо на определенном их сочетании. Эти принципы институционализировались с помощью социальной организации, использовавшей, среди прочего, модели симметрии, центричности и автаркии. В рамках этой структуры регулярный процесс производства и распределения обеспечивался через множество самых разнообразных индивидуальных мотивов, которые, в свою очередь, регламентировались общими нормами поведения. Мотив же прибыли не играл здесь заметной роли. Совместное действие обычая и закона, магии и религии побуждало индивида следовать тем правилам поведения, которые в конечном счете позволяли ему занять свое место в экономической системе.

Греко-римский период, несмотря на высокое развитие торговли, не представлял в этом смысле какого-то перерыва: характерной его чертой было громадных масштабов перераспределение зерна, которое производило римское правительство в рамках экономики, в прочих отношениях функционировавшей на принципах домашнего хозяйства; и он вовсе не служит исключением из того правила, что вплоть до конца Средневековья рынок не играл важной роли в экономической системе — в ней преобладали иные институциональные модели.

Начиная с XVI в. рынки становятся более многочисленными и крупными. В эпоху меркантилизма они превратились фактически в главный предмет заботы правительств, однако никаких признаков того, что рынки будут всецело управлять жизнью человеческого общества, по-прежнему не замечалось. Напротив, регламентация и регулирование никогда еще не были такими строгими, а идеи саморегулирующегося рынка не существовало в принципе. Чтобы понять резкий переход к совершенно новому типу экономики в XIX в., нам следует теперь обратиться к истории рынка — института, который мы были вправе почти полностью игнорировать в нашем обзоре экономических систем прошлого.

Глава 5

Эволюция рыночной модели

Ключевая роль рынков в капиталистической экономике вместе с первостепенным значением, которое имеет для этой экономики принцип обмена, требует, коль скоро мы должны отбросить экономические предрассудки XIX в., тщательного исследования природы и происхождения рынков.[17]

Эффективность обмена как принципа экономического поведения зависит от наличия рыночной модели. Рынок — это место, где люди встречаются с целью обмена или купли-продажи. Если же подобная модель не возникла хотя бы фрагментарно, то склонность к обмену не получает достаточного простора, иначе говоря, оказывается не способной формировать цены.[18] Ибо точно так же, как принципу взаимности содействует симметричная модель общественного устройства, процесс перераспределения обеспечивает известная степень централизации, а домашнее хозяйство должно основываться на автаркии, так и эффективность принципа обмена зависит от рыночной модели. Но подобно тому, как взаимность, перераспределение или домашнее хозяйство могут присутствовать в данном обществе, не будучи в нем господствующими, принцип обмена может занимать подчиненное место в обществе, где ведущая роль принадлежит иным экономическим принципам.

Однако в некоторых других отношениях принцип обмена не представляет полной аналогии с тремя вышеперечисленными. Рыночная модель, с которой он тесно связан, обладает более специфическим характером, нежели симметрия, центричность или автаркия, которые в отличие от рыночной модели являются простыми «свойствами» и не порождают институты, имеющие одну, строго определенную функцию. Так, симметрия есть не более чем социальный механизм, который не создает новые самостоятельные институты, но лишь упорядочивает по данной модели существующие (организуется ли по симметричной схеме племя или деревня, это не приводит к появлению какого-то особого института). Центричность хотя и порождает зачастую особые институты, не связана с таким мотивом, который предназначал бы их к выполнению одной специфической функции (к примеру, деревенский старейшина или другой представитель центральной власти может принимать на себя какие угодно политические, военные, религиозные или экономические обязанности без различия). И наконец, экономическая автаркия — это лишь второстепенная характеристика уже сформировавшейся замкнутой группы.

Рыночная же модель, будучи связана с особым, характерным для нее мотивом, мотивом обмена, способна формировать специфический институт — рынок. В конечном счете именно поэтому подчинение экономической системы рынку влечет за собой колоссальные последствия для социальной организации: ни более ни менее как превращение общества в придаток рынка. Теперь уже не экономика «встраивается» в систему социальных связей, а социальные связи — в экономическую систему. Первостепенная важность экономического фактора для самого существования общества исключает любой иной результат. Ибо коль скоро экономическая система организована в виде самостоятельных институтов, основанных на специфических мотивах и предоставляющих особый статус участникам экономической деятельности, общество должно быть устроено таким образом, чтобы обеспечивать функционирование этой системы согласно ее собственным законам. Таков смысл общеизвестного положения о том, что рыночная экономика может функционировать только в рыночном обществе.

Этап, на котором изолированные рынки превращаются в рыночную экономику, рынки регулируемые — в рынок саморегулирующийся, является поистине решающим. Приветствуя его как вершину развития цивилизации или оплакивая как раковую опухоль, XIX столетие наивно воображало, будто подобный результат стал естественным следствием распространения рынков. Никто тогда не понимал, что соединение отдельных рынков в саморегулирующуюся систему громадной силы явилось не итогом какой-либо внутренне присущей рынкам тенденции к разрастанию, но, скорее, результатом действия весьма

возбуждающих средств, которые были назначены социальному организму, чтобы помочь ему в ситуации, созданной не менее искусственным феноменом машины. Ограниченность рыночной модели как таковой и ее неспособность к спонтанному расширению не были осознаны, но именно об этом и свидетельствуют с полной ясностью новейшие исследования.

«Рынки существуют не везде, их отсутствие хотя и говорит об известной изолированности и тенденции к обособлению, связано с каким-то определенным типом развития не более, чем их наличие». В этой сухой фразе из «Экономики первобытных обществ» Турнвальда резюмированы важнейшие результаты недавних исследований по данной проблеме. Сказанное Турнвальдом о рынках другой автор повторяет в отношении денег: «Тот факт, что некое племя использовало деньги, сам по себе не слишком отличал его в экономическом смысле от прочих племен того же культурного уровня, которые денег не знали». Нам остается лишь указать на некоторые замечательные следствия из этих утверждений.

Нет никакой необходимости в том, чтобы наличие или отсутствие рынков или денег воздействовало на хозяйственный уклад первобытного общества — это опровергает миф XIX в., согласно которому появление денег создает рынки, форсирует процесс разделения труда, дает выход врожденной склонности человека к торгу и обмену и таким образом неизбежно приводит к глубокой трансформации общества. Ортодоксальная экономическая история основывалась, в сущности, на безмерно преувеличенном представлении о роли рынков как таковых. «Известная изолированность» или, скорее, «тенденция к обособлению» — вот единственная экономическая характеристика, которую мы можем логически вывести из их отсутствия, что же касается внутренней организации экономики, то на нее их наличие или отсутствие никак не влияет.

И это совсем несложно объяснить. Рынки представляют собой институты, функционирующие главным образом не внутри данной экономики, а вне ее пределов: это центры дальней торговли. Роль местных рынков в собственном смысле слова невелика. Более того, ни местные рынки, ни рынки, обслуживающие дальнюю торговлю, не являются по своей природе конкурентными, а следовательно, в обоих случаях не существует сколько-нибудь мощных стимулов к возникновению территориальной торговли, так называемого внутреннего, или национального, рынка. Каждое из этих утверждений бьет по какому-то из допущений, превратившихся для классических экономистов в аксиомы, однако все они строго следуют из фактов, как предстают перед нами последние в свете современных исследований.

Логика этих утверждений, можно сказать, почти противоположна той, на которой строится классическая доктрина. Ортодоксальное учение начинало с постулирования склонности индивида к обмену, дедуцировало из нее логическую необходимость появления местных рынков и разделения труда и, наконец, выводило отсюда необходимость торговли, в конечном счете — торговли внешней, в том числе даже торговли дальней. В свете наших современных знаний мы должны почти полностью изменить порядок аргументации: действительным отправным пунктом является дальняя торговля, результат географического размещения товаров и обусловленного географией же «разделение труда». Дальняя торговля часто создает рынки — институт, который предполагает акты обмена, а также (если используются деньги) акты купли-продажи, — и таким образом, в известных случаях, хотя и не обязательно всякий раз, позволяет некоторым индивидам удовлетворять свою пресловутую «склонность» торговаться и барышничать.

Важнейшая особенность этой доктрины — тезис о возникновении торговли в некоей внешней сфере, не связанной с внутренним хозяйственным укладом данного общества. «Перенос приемов, использовавшихся в процессе охоты, на приобретение вещей за пределами данной местности породил определенные формы обмена, которые мы — теперь — квалифицируем как торговлю».[19]

Исследуя истоки происхождения торговли, мы должны принимать за исходную точку данного

процесса приобретения вещей, находящихся на значительном отдалении, — как это происходит на охоте. «Каждый год, в июле или августе, туземцы из центрально-австралийского племени диери отправляются на юг за красной охрой, которая нужна им для раскрашивания своих тел... Их соседи янтрвунта предпринимают аналогичные экспедиции в район Флиндерс-хиллз, находящийся на расстоянии 800 км; цель этих походов — красная охра и куски песчаника, необходимые для толчения зерен. В обоих случаях, если местное население не желает отдавать пришельцам то, за чем они явились, с ним приходится вступать в борьбу». Этот вид реквизиции или поиска сокровищ на грабеж или на пиратство похож ничуть не меньше, чем на то, что мы привыкли называть торговлей; по существу перед нами односторонний акт. Двусторонним актом, т. е. «определенной формой обмена», он становится нередко лишь через вымогательство со стороны местных вождей или через соглашения на основе взаимности, как например, в «кольце Кула» или в случае с визитами особых групп «гостей» у племени пенгве (Западная Африка) или же у киелле, где вождь монополизирует внешнюю торговлю, присваивая себе исключительное право принимать гостей. Конечно, подобные посещения не бывают случайными, представляя собой — в нашем понимании, а не в понятиях туземцев — настоящие торговые экспедиции, однако обмен товарами всякий раз происходит под видом обоюдных даров и обычно осуществляется через ответные визиты.

Отсюда мы можем сделать следующий вывод: по-видимому, человеческие сообщества всегда в той или иной мере занимались внешней торговлей, однако подобная торговля не обязательно подразумевала рынки. Изначально внешняя торговля была ближе по своей природе не к обмену, а, скорее, к рискованному предпринятию, путешествию, охоте, пиратству или войне. Она могла не иметь мирного или двустороннего характера, но даже там, где обе эти черты были ей свойственны, она обычно строилась не на принципе обмена, а на основе взаимных даров.

Переход к мирной меновой торговле прослеживается по двум направлениям — к обмену и к миру соответственно. Участники племенной экспедиции, как указывалось выше, могут оказаться перед необходимостью подчиниться требованиям, поставленным теми, кто распоряжается в данной местности: последние могут потребовать от чужаков известного рода компенсацию, и подобные отношения, хотя их и нельзя назвать вполне мирными, способны послужить началом меновой торговли. Другая линия развития — «молчаливая торговля», как, например, в африканском буше, где возможных столкновений избегают посредством особого перемирия, и в торговлю, с соблюдением надлежащей предосторожности, привносится элемент мира и взаимного доверия.

На более позднем этапе, как всякому известно, рынки приобрели главенствующую роль в организации внешней торговли. Однако в экономическом отношении внешние рынки полностью отличаются как от рынков местных, так и от рынков внутренних. Причем несходны они не только по объемам — у этих институтов совершенно разные функции и происхождение. Внешняя торговля подразумевает перевозку, главный ее мотив — отсутствие определенных товаров в данном регионе; историческим примером здесь может служить обмен английских шерстяных тканей на португальские вина. Местная торговля ограничивается товарами данного региона, которые, будучи слишком тяжелыми, громоздкими или скоропортящимися, транспортировке не поддаются. Таким образом, как внешняя, так и местная торговля связаны с расстоянием; первая ограничена товарами, способными его преодолеть, вторая — исключительно лишь теми, которые сделать этого не могут. Данный вид торговли справедливо называют дополняющим. Местный товарообмен между городом и деревней, внешняя торговля между странами разных климатических зон основываются именно на этом принципе. Подобная торговля не обязательно подразумевает конкуренцию; если же конкуренция вносит расстройство в торговлю, то ее устранение будет вполне логичной мерой. Внутренняя же торговля, в отличие как от внешней, так и от местной, по самой своей сути конкурентна: помимо взаимодополняющих актов обмена она включает в

себя гораздо более значительную долю таких операций, в которых покупателю предлагаются на конкурентной основе сходные товары, поступившие из разных источников. А потому лишь с появлением внутренней, или национальной, торговли конкуренция начинает восприниматься как всеобщий принцип торговой деятельности.

Эти три вида торговли, столь несходные по своим экономическим функциям, имеют также различное происхождение. Мы уже вели речь о зарождении внешней торговли. Там, где перевозчикам товаров приходилось делать остановки у бродов, приморских городов, речных пристаней или же в пунктах, где пересекались сухопутные торговые пути, из этой торговли естественным путем развились рынки. «Порты» возникали на месте перегрузки товаров с одного судна на другое.[20] Недолгий расцвет знаменитых континентальных ярмарок — еще один пример того, как дальняя торговля порождала определенную разновидность рынка; здесь же можно упомянуть и английские рынки оптовой и экспортной торговли (staples), где заключались сделки на оптовую продажу и на экспорт. Но если ярмарки и «staples» исчезли с быстротой, приводящей в смущение доктринеров-эволюционистов, то портам суждено было сыграть огромную роль в развитии западноевропейских городов. Однако даже там, где города основывались на месте внешних рынков, местные рынки нередко сохраняли особый характер, и не только по своей функции, но и в отношении своей организации. А значит, ни порт, ни ярмарка, ни «staple» не были прародителями внутренних, или национальных, рынков. В таком случае, где же тогда следует нам искать их истоки?

На первый взгляд, кажется логичным предположить, что коль скоро где-либо совершаются индивидуальные акты обмена, последние с течением времени должны привести к зарождению местных рынков, а подобные рынки, раз они уже возникли, столь же естественным образом приведут к созданию рынков внутренних, или национальных. Однако ни то ни другое не соответствует действительности. Отдельные акты меновой торговли или обмена — и это неопровержимый факт, — как правило, не приводят к созданию рынков в тех обществах, где преобладают другие принципы экономического поведения. Подобные акты — обычная практика почти во всех типах первобытных обществ, но там они считаются чем-то несущественным, поскольку не служат приобретению предметов первой необходимости. В крупных системах перераспределения древности акты обмена, как и местные рынки, были довольно распространенной, но вполне второстепенной чертой. То же верно и для обществ, где господствует принцип взаимных даров: акты обмена входят здесь обычно в основанную на взаимном доверии сложную систему человеческих связей, охватывающую обширные пространства и значительные промежутки времени, — ситуация, стирающая в сознании двусторонний характер сделки уже не может восприниматься с ясностью. Сдерживающие факторы порождаются буквально всеми социальными институтами: обычай и закон, религия и магия в равной мере способствуют конечному результату, а именно ограничению актов обмена в отношении лиц и предметов, времени и поводов. Тот, кто совершает акт обмена, как правило, лишь действует в строгом соответствии с ритуалом, в котором и сами предметы, и их эквиваленты определены заранее. «Уту» на языке тикопиа[21] означает подобного рода традиционный эквивалент как часть взаимного обмена. То, в чем XVIII в. видел важнейшую черту актов обмена — элемент произвола в структуре сделки, желание поторговаться как яркое выражение предполагаемой склонности человека к обмену, — в действительности не находит здесь большого простора; поскольку же этот мотив вообще лежит в основе сделки, ему редко позволяют проявляться открыто.

Обычный принцип поведения состоит как раз в том, чтобы всячески демонстрировать противоположную мотивацию. Дающий может попросту уронить предмет на землю, а получающий сделает вид, будто поднял его случайно или даже предоставит это сделать одному из своих слуг. Рассматривать с интересом полученный предмет значит грубейшим образом нарушать общепринятые нормы поведения. А поскольку у нас есть все основания полагать, что подобная реакция, весьма далекая от простоты и естественности, не является результатом искреннего безразличия к материальной стороне сделки, то мы вправе видеть в

церемониальном оформлении обмена особый нейтрализующий механизм, призванный ограничить сферу действия обменных операций.

Имеющиеся у нас фактические данные не позволяют говорить о том, что местные рынки когда-либо возникали из индивидуальных актов обмена. Как бы смутно ни представляли мы себе происхождение местных рынков, можно утверждать с определенностью, что этот институт с самого начала был тесно связан с особыми мерами предосторожности, призванными защищать господствующий в данном обществе экономический строй от разрушительного влияния психологии рыночных механизмов. Мирный характер рынка обеспечивался с помощью ритуалов и церемоний, которые ограничивали сферу его действия и в то же время позволяли нормально функционировать в отведенных ему узких рамках. Важнейший результат существования рынков — зарождение городов и городской цивилизации — явился, в сущности, итогом весьма парадоксального процесса, ибо города, детище рынков, служили не только их защитой, но и тем средством, которое препятствовало экспансии рынков в сельскую местность, ограждая таким образом от их воздействия господствующий в данном обществе хозяйственный уклад. Пожалуй, лучше всего эту двойственную функцию городов в отношении рынков передают два родственных глагола — «содержать» и «сдерживать»: города заключали в себе, «обвивали» рынки и в то же время не позволяли им развиваться.

Если акты обмена жестоко ограничивались системой особых запретов, имевших своей целью помешать данному типу человеческих связей причинить ущерб экономической организации в собственном смысле слова, то дисциплина рынков была еще более строгой. Приведем пример из жизни туземцев чага: «Рынок следует регулярно посещать в установленные дни. Если же какое-либо происшествие не позволит открыть рынок в течение одного и более дней, торговля может быть возобновлена лишь после того, как рыночная площадь подвергнется обряду очищения... Каждое связанное с пролитием крови преступление, совершенное на рыночной площади, требует немедленного искупления. С этого момента ни одна женщина не вправе покинуть рыночную площадь, а к товарам запрещено прикасаться: они должны быть очищены, и только после этого их можно будет унести с рынка и употребить в пищу. Тотчас же следует принести в жертву, самое меньшее, козла. Если же какая-либо женщина родит прямо на рыночной площади или у нее случится выкидыш, потребуются более ценные жертвы и более серьезное искупление. В таком случае в жертву приносят молочное животное. Кроме того, жертвенной кровью дойной коровы очищают двор вождя. Подобным же образом, деревня за деревней, окропляют всех женщин в стране».[22] Едва ли подобные правила способны были облегчить распространение рынков.

Типичный местный рынок, на котором хозяйки покупают продукты для своих повседневных нужд, а производители хлеба и овощей и местные ремесленники выставляют свои товары на продажу, отличается поразительным безразличием к факторам места и времени. Подобные собрания людей широко распространены в первобытных обществах, мало того, даже в самых развитых странах Западной Европы их характер практически не менялся вплоть до середины XVIII в. Они представляют собой дополнение к господствующему в данной местности жизненному укладу и почти не отличаются по своей природе, идет ли речь о каком-то центрально-африканском племени, о «cite»[23] меровингской Франции или о шотландской деревне эпохи Адама Смита. Но то, что можно сказать о деревне, справедливо и в отношении города. По существу, местные рынки — это рынки «соседские», обслуживающие население определенного района, и они хотя и играли заметную роль в жизни общества, нигде не обнаруживали стремления преобразовывать по собственной модели господствующий экономический уклад. Отнюдь не местные рынки стали отправным пунктом в развитии внутренней, или национальной, торговли.

Фактически внутренняя торговля в Западной Европе возникла благодаря вмешательству государства. Вплоть до эпохи торговой революции то, в чем мы можем усмотреть национальную торговлю, представляло собой торговлю городскую. Ганзейцы не были

немецкими купцами, они составляли корпорацию торговой олигархии, члены которой происходили из самых разных городов на побережье Балтийского и Северного морей. Ганза вовсе не «национализировала» германскую хозяйственную жизнь, напротив, она сознательно стремилась отрезать от торговли внутренние районы Германии. Торговля Антверпена или Гамбурга, Венеции или Лиона никоим образом не являлась голландской или немецкой, итальянской или французской. Не было исключением и Лондон, так же мало в этом смысле «английский», как Любек — «немецкий». На торговой карте тогдашней Европы следовало бы обозначить одни лишь города, сельские же местности представляли бы собой белые пятна: в том, что касается организованной торговли, они как бы не существовали. Так называемые «нации» были чисто политическими образованиями, к тому же весьма рыхлыми, состоявшими в экономическом отношении из бесчисленного множества крупных и мелких самодостаточных домашних хозяйств и незначительных местных рынков в деревнях. Торговля была сосредоточена исключительно в самоуправляемых городах, которые вели ее либо как торговлю местную, с близлежащей округой, либо как дальнюю, причем эти виды торговли были строго отделены друг от друга, и ни тому ни другому не позволяли стихийно проникать в сельские районы.

Подобного рода перманентное отделение местной торговли от торговли дальней внутри самой городской организации должно стать еще одним неприятным сюрпризом для эволюциониста, по мнению которого одни вещи и явления всегда легко и без помех превращаются в другие. И однако, именно этот своеобразный феномен является ключом к социальной истории западноевропейского города. Он служит убедительным подтверждением нашего вывода о происхождении рынков, сделанного на основе анализа первобытных экономик. Резкое различие, которое провели мы между местной и дальней торговлей, показалось, вероятно, слишком жестким, в особенности потому, что оно привело нас к несколько неожиданному заключению о том, что ни дальняя, ни местная торговля не стояли у истоков внутренней торговли Нового времени, и таким образом, как можно подумать, не оставило нам иного выбора, кроме объяснения посредством *deus ex machina*[24] государственного вмешательства. Вскоре читатель сможет убедиться, что и в этом пункте наши выводы подтверждаются недавними исследованиями. Однако вначале мы набросаем общую схему развития городской цивилизации в том ее аспекте, в каком она была обусловлена специфическим отделением внутренней от дальней торговли в рамках средневекового города.

Можно утверждать, что это отделение лежало в самой основе устройства городских центров Средневековья.[25] Город представлял собой организацию его граждан. Только они имели права гражданства, и на различии между гражданами и негражданами строилась вся система. Ни окрестные сельские жители, ни купцы из других городов гражданами, естественно, не являлись. Но если военное или политическое могущество города позволяло ему диктовать свои условия крестьянам соседних деревень, то к иностранным купцам применить подобную власть было невозможно. А следовательно, по отношению к местной торговле и торговле дальней горожане оказывались в совершенно различном положении.

Что касается снабжения продовольствием, то здесь регламентировавшие торговлю правила предусматривали такие методы, которые обеспечивали публичный характер сделок и устраняли посредников с тем, чтобы держать торговлю под контролем и сохранять низкие цены. Но подобное регулирование оказывалось эффективным лишь в отношении торговли между городом и его ближайшими окрестностями. С дальней торговлей дело обстояло совершенно иначе. Пряности, соленую рыбу или вино нужно было везти издалека, и потому они входили в сферу деятельности иностранного купца с его капиталистическими методами оптовой торговли. Такой тип торговли не поддавался регламентации местными правилами, единственным выходом здесь было отстранить его, насколько возможно, с местного рынка. Полный запрет розничной торговли для купцов-иностранцев служил именно этой цели. И чем значительнее становился объем капиталистической оптовой торговли, тем более строгими

мерами пытались устранить ее с местных рынков в том, что касалось предметов ввоза.

В отношении промышленных товаров отделение местной торговли от дальней было еще более резким, ибо в данном случае речь шла о всей системе производства на экспорт. Причина этого факта лежала в самой природе ремесленных цехов, посредством которых было организовано тогда промышленное производство. На местном рынке производство регулировалось в соответствии с потребностями производителей и таким образом ограничивалось уровнем, обеспечивающим минимальную прибыль. Естественно, подобный принцип оказывался неприемлемым в сфере экспорта, где интересы производителей не ставили никаких пределов производству. А следовательно, в то время как местная торговля строго регулировалась, контроль над производством на экспорт со стороны ремесленных корпораций был чисто формальным. Важнейшая экспортная отрасль той эпохи — суконное производство — строилось фактически на капиталистической основе наемного труда.

Все более резко отделение местной торговли от торговли экспортной было реакцией города на действия мобильного капитала, грозившие разрушением его ключевым институтам. Типичный средневековый город не пытался избежать угрозы, ликвидировав разрыв между регулируемым местным рынком и не поддающейся контролю дальней торговлей со всеми ее капризами; напротив, он смело шел навстречу опасности, с величайшей строгостью осуществляя политику защиты или полного закрытия внутреннего рынка, на которой основывалось само его существование.

На практике это означало, что города всячески противодействовали формированию национального, или внутреннего, рынка, которого так упорно требовали капиталисты-оптовики. Отстаивая принцип неконкурентной местной торговли и столь же неконкурентной дальней торговли между соседними городами, горожане всеми доступными им средствами препятствовали включению в торговые связи сельских местностей, а также развитию свободной нерегулируемой торговли между различными городами страны. Именно это обстоятельство и заставило выйти на первый план территориальное государство в качестве орудия «национализации» рынка и создания внутренней торговли.

Городам и провинциям, яростно защищавшим традиции протекционизма, система меркантилизма была навязана в XV–XVI вв. сознательными действиями государства. Меркантилизм покончил с отжившим свой век партикуляризмом местной и межгородской торговли: он сломал барьеры, разделявшие эти два вида неконкурентной торговой деятельности, расчистив таким образом путь к национальному рынку, который все в большей степени игнорировал различие между городом и деревней, а также между отдельными городами и провинциями.

Система меркантилизма явилась ответом на многообразные вызовы эпохи. В политическом отношении централизованное государство представляло собой структуру нового типа, призванную к жизни торговой революцией, которая переместила центр тяжести западной цивилизации от Средиземноморского бассейна к берегам Атлантики, вынудив таким образом отстававшие в своем развитии народы крупных аграрных стран объединиться в организованное целое в интересах торговли и промышленности. В сфере внешней политики создание суверенной центральной власти было требованием дня; соответственно меркантилистские принципы управления государством подразумевали использование ресурсов всей территории для нужд власти в международных делах. Во внутренней политике необходимым побочным результатом подобных действий стало национальное объединение стран, раздробленных феодальным и муниципальным партикуляризмом. С экономической же точки зрения инструментом такого объединения был капитал, т. е. наличные средства частных лиц, существовавшие в виде крупных денежных накоплений и потому особенно удобные для использования в коммерции. Наконец, административный механизм, на который опиралось в своей экономической политике центральное правительство, был обеспечен распространением традиционного муниципального устройства на более обширную

территорию государства. Во Франции, где торгово-ремесленные корпорации имели тенденцию превращаться в государственные органы, цеховая система была попросту перенесена на всю территорию страны; в Англии, где упадок привилегированных городов ослабил эту систему фатальным образом, индустриализация деревни осуществлялась без специального надзора со стороны цехов; между тем в обеих странах торговля распространилась на всю территорию государства, превратившись в основную форму экономической деятельности. В подобном положении вещей и лежат истоки внутренней торговой политики меркантилизма.

Государственное вмешательство, освободившее торговлю от пут городских привилегий, потребовалось теперь для того, чтобы устранить две тесно между собой связанные опасности, с которыми ранее успешно боролись города, — монополию и конкуренцию. То, что конкуренция в конечном счете неизбежно приводит к монополии, в ту эпоху ясно понимали, страшились же монополии еще сильнее, чем в позднейшие времена, поскольку она часто распространялась на предметы первой необходимости, легко превращаясь таким образом в угрозу для всего общества. Лекарством избавления была полная регламентация экономической жизни, на сей раз, правда, уже не на городском, а на общенациональном уровне. То, что современному человеку легко может показаться недалёковидным устранением конкуренции, в действительности представляло собой способ обеспечить нормальное функционирование рынков в данных конкретных условиях. Ведь любое временное вторжение на рынок покупателей и продавцов со стороны должно было нарушить сложившееся равновесие в ущерб для постоянных покупателей и продавцов, в результате чего рынок прекратил бы функционировать. Прежние поставщики, не уверенные в том, что смогут продать свой товар за обычную цену, не стали бы его предлагать, и таким образом отсутствие достаточного предложения сделало бы рынок добычей монополиста. Аналогичная опасность, хотя и в меньшей степени, существовала и в сфере спроса, где за резким его падением также могла последовать соответствующая монополия. Каждый шаг, предпринимавшийся государством для того, чтобы освободить рынок от партикуляристских стеснений, от пошлин и запретов, подвергал новым опасностям сложившуюся систему производства и распределения: теперь ей угрожало бесконтрольное вторжение торговца «со стороны», который быстро получал на рынке бешеную прибыль, но самому рынку не давал никаких гарантий стабильности. Поэтому хотя вновь возникшие национальные рынки были, что неизбежно, до известной степени конкурентными, преобладал здесь все же не новый элемент конкуренции, но традиционный принцип регламентации.[26] Самодостаточное хозяйство крестьянина, трудившегося ради собственного пропитания, по-прежнему оставалось общим широким фундаментом экономической системы, которая благодаря формированию внутреннего рынка постепенно интегрировалась. Этот национальный рынок существовал теперь бок о бок с местным и иностранным рынками, а отчасти их сферы совпадали. Сельское хозяйство дополнялось теперь внутренней торговлей — т. е. системой относительно изолированных рынков, вполне совместимой с принципом натурального хозяйства, который по-прежнему господствовал в деревне.

Здесь наш краткий обзор истории рынка в эпоху, предшествующую промышленной революции, подходит к концу. Как известно, на следующем этапе человеческой истории была предпринята попытка создать один огромный саморегулирующийся рынок. Однако в самом меркантилизме — экономической политике, характерной для западноевропейских национальных государств, — ничто не предвещало столь уникального процесса. «Освобождение» торговли, осуществленное меркантилизмом, попросту избавило ее от партикуляристских оков, но в то же время расширило масштаб регулирования. Экономическая система была по-прежнему «погружена» в глобальную систему социальных связей, рынки представляли собой вполне второстепенный элемент общей институциональной структуры, которая более чем когда-либо регулировалась и управлялась социальными факторами.

Саморегулирующийся рынок и фиктивные товары: труд, земля и деньги

Этот краткий очерк экономических систем и рынков, рассмотренных в отдельности, показывает, что вплоть до нашей эпохи рынки никогда не представляли собой чего-то большего, чем простое дополнение к экономической жизни. Как правило, экономическая система «поглощалась» в системе социальной, и какой бы принцип поведения не доминировал в экономике, рыночная модель оказывалась с ним вполне совместимой. Принцип обмена, основа этой модели, не обнаруживал тенденции к расширению в ущерб остальным принципам. Там, где рынки достигли наивысшего развития, например при системе меркантилизма, они процветали под строгим надзором централизованной администрации, которая поощряла автаркию как на уровне крестьянского хозяйства, так и в общенациональных масштабах. Фактически регулирование и рынки росли параллельно. Рынок саморегулирующийся оставался неизвестным, более того, само возникновение идеи саморегулирования означало полное изменение прежнего направления. Только в свете этих фактов можно по-настоящему понять чрезвычайно странные постулаты, которые лежат в основе рыночной экономики.

Рыночная система — это экономическая система, контролируемая, регулируемая и управляемая единственно лишь рынками; порядок в производстве и распределении товаров должен всецело обеспечиваться этим саморегулирующимся механизмом. Подобная экономика исходит из допущения, что люди всегда ведут себя таким образом, чтобы получить максимальную денежную выгоду. Она подразумевает существование рынков, на которых предложение товаров и услуг, доступных по определенной цене, должно точно соответствовать спросу на них по той же цене. Она исходит из наличия денег, которые обладают покупательной способностью в руках их владельцев. Производство в таком случае регулируется ценами, ибо от цен зависят доходы тех, кто им руководит; распределение товаров также зависит от цен, ибо цены формируют доходы, а именно с помощью доходов произведенные товары распределяются среди членов общества. При указанных предпосылках производство и распределение товаров обеспечивается единственно лишь механизмом цен.

Саморегулирование означает, что все производится для продажи на рынке и что источником любых доходов являются подобные акты продажи. Следовательно, существуют рынки для всех факторов промышленного производства, т. е. не только для товаров (сюда мы неизменно включаем и услуги), но также для труда, земли и денег; их цены именуются соответственно товарными ценами, заработной платой, рентой и процентом. Сами термины указывают на то, что доходы формируются ценами: процент есть цена за использование денег, образующая доход тех, кто может их ссудить; рента — цена за использование земли, образующая доход тех, кто сдает ее в аренду; заработная плата — цена за использование рабочей силы, образующая доход тех, кто ее продает; наконец, товарные цены формируют доходы тех, кто продает свои предпринимательские услуги; доход в данном случае называется прибылью, представляя собой фактически разницу между двумя группами цен — ценой произведенных товаров и их себестоимостью, т. е. ценой товаров, необходимых для их производства. Если эти условия выполняются, то все доходы проистекают из продаж на рынке, и их оказывается как раз достаточно для того, чтобы купить все произведенные товары.

Следующий ряд постулатов относится к государству и его политике. Ничто не должно препятствовать формированию рынков, а доходы должны извлекаться исключительно через

продажи. Недопустимо также вмешательство в процесс приспособления цен к изменяющимся условиям рынка, идет ли речь о цене товаров, труда, земли, или денег. Следовательно, должны существовать рынки для всех факторов промышленного производства;[27] более того: любые меры и шаги, способные воздействовать на функционирование этих рынков, совершенно нетерпимы. Ни цены, ни спрос, ни предложение не должны каким-либо образом фиксироваться или регулироваться; нормальными считаются только такие меры и действия, которые помогают обеспечить саморегуляцию рынка через создание условий, превращающих сам рынок в единственную организующую силу в сфере экономики.

Чтобы в полной мере понять, что все это означает, вернемся ненадолго к системе меркантилизма и к национальным рынкам, для развития которых она так много сделала. При феодализме и цеховой системе земля и труд составляли неотъемлемую часть самой социальной организации (деньги едва ли успели превратиться в важный фактор хозяйственной деятельности). Земля, базисный элемент феодального строя, служила основой военной, судебной, административной и политической системы; ее статус и функции определялись законом и обычаем. Могла ли земля передаваться другим владельцам и если да, то кому и с какими ограничениями, что конкретно подразумевалось под правом собственности на землю, для каких целей могли быть использованы определенные виды земельных владений — все эти вопросы были изъяты из системы отношений купли-продажи и решались в соответствии с совершенно иными институциональными принципами.

То же самое можно сказать и о тогдашней организации труда. При цеховой системе, как, впрочем, и при любой иной экономической системе в предшествующие периоды истории, мотивы и условия производственной деятельности всецело вписывались в общую социальную структуру. Отношения мастера, подмастерья и ученика, сроки ученичества, число учеников, заработная плата рабочих — все это регулировалось городскими и цеховыми уставами и обычаями. Система меркантилизма лишь унифицировала эти порядки — либо посредством статуты, как в Англии, либо через «национализацию» цехов, как во Франции. Что касается земли, то ее феодальный статус был упразднен лишь постольку, поскольку он был связан с привилегиями провинций, в остальном же и во Франции, и в Англии земля по-прежнему находилась *extra commercium*[28]. Вплоть до революции 1789 г. земельная собственность оставалась во Франции источником социальных привилегий, а в Англии даже в более позднюю эпоху земельное общее право сохраняло в основном средневековый характер. Несмотря на свойственную ему тенденцию к коммерциализации, меркантилизм никогда не посягал на гарантии, предохранявшие эти два важнейших фактора производства — труд и землю — от превращения в объект торговли. В Англии «национализация» трудового законодательства посредством Статута о ремесленниках (1563) и Закона о бедных (1601) позволила вывести труд из опасной зоны, а все меры против огораживаний, предпринимавшиеся Тюдорами и ранними Стюартами, представляли собой последовательный протест против принципа использования земли с целью получения прибыли.

То, что меркантилизм, как бы решительно ни настаивал он на коммерциализации как на общенациональной политике, видел в рынках нечто прямо противоположное рыночной экономике, убедительнее всего доказывается громадным расширением государственного вмешательства в промышленность эпохи меркантилизма. В этом вопросе не существовало никаких различий между меркантилистами и сторонниками феодализма, коронованными регуляторами промышленности и корпорациями, бюрократами-централизаторами и партикуляристски настроенными консерваторами. Расходились они лишь в методах регулирования: цехи, города и провинции апеллировали к силе обычая и традиции, тогда как новая государственная власть предпочитала статуты и ордонансы. Однако все они были равно враждебны идее коммерциализации труда и земли — необходимому условию рыночной экономики. Ремесленные цехи и феодальные привилегии были уничтожены во Франции лишь в 1790 г., в Англии Статут о ремесленниках был отменен только в 1813–1814

гг., а елизаветинский Закон о бедных — в 1834 г. О создании свободного рынка труда ни в одной из этих стран вплоть до последнего десятилетия XVIII в. не заходило даже и речи, а идея саморегулирования экономической жизни была совершенно недоступна умственному горизонту эпохи. Меркантилисты заботились о развитии ресурсов страны (в том числе и о полной занятости), поощряя с этой целью торговлю и промышленность; традиционную систему земельных и трудовых отношений они считали чем-то естественным и само собой разумеющимся. В данном вопросе они были так же далеки от современных представлений, как и в сфере политики, где их твердая вера в безграничные возможности просвещенного деспота оставалась совершенно свободной от каких-либо намеков на демократические симпатии. И подобно тому, как переход к демократической системе и представительному правлению означал полное изменение основной тенденции эпохи, так и превращение в конце XVIII в. регулируемых рынков в рынки саморегулирующиеся повлекло за собой полную трансформацию структуры общества.

Саморегулирующийся рынок требует ни более ни менее как институционального разделения общества на экономическую и политическую сферы. В сущности, такого рода дихотомия есть лишь новая констатация, на сей раз на уровне общества в целом, самого факта существования саморегулирующегося рынка. Нам могут возразить, что обособленность этих сфер наблюдается во все времена в обществах любого типа. И однако, подобный вывод был бы ошибочным. Действительно, ни одно общество не может существовать без определенной системы, обеспечивающей порядок в производстве и распределении товаров. Но это вовсе не предполагает наличия самостоятельных экономических институтов; обычно экономический строй есть лишь функция строя социального, который включает, содержит его в себе. Как мы уже показали выше, ни при родоплеменных, ни при феодальных порядках, ни в эпоху меркантилизма в обществе не существовало какой-либо отдельной экономической системы. Общество же XIX в., в котором хозяйственная деятельность была выделена в особую сферу и приписана характерному только для нее, собственно экономическому мотиву, стало, в сущности, поразительным исключением из правила.

Такая институциональная модель может функционировать лишь в том случае, если само общество удастся так или иначе подчинить ее требованиям. Рыночная экономика способна существовать только в рыночном обществе — к этому выводу мы пришли на основе общего, предварительного анализа рыночной модели. Теперь мы можем представить более конкретные аргументы в пользу нашего тезиса. Рыночная экономика должна охватывать все факторы производства, в том числе труд, землю и деньги (деньги в рыночной экономике также являются неотъемлемым элементом хозяйственной жизни, и их включение в рыночный механизм влечет за собой, как мы еще увидим, далеко идущие институциональные последствия). Но ведь труд и земля — это не что иное, как сами человеческие существа, из которых состоит всякое общество, и естественная среда, в которой они живут. Включить их в рыночный механизм значит подчинить законам рынка саму субстанцию общества.

Теперь мы можем обратиться к более конкретному анализу институционального характера рыночной экономики и тех опасностей для общества, которые несет она с собой. Вначале мы опишем методы, позволяющие рыночному механизму управлять реальными факторами экономической жизни, а затем попытаемся определить характер того влияния, которое оказывает подобный механизм на подвергающееся его воздействию общество.

Понятие товара — вот что позволяет подключить рыночный механизм к разнообразным факторам экономической жизни. Товары определяются здесь эмпирически как предметы, производимые для продажи на рынке; сами рынки, опять же эмпирически, определяются как фактические контакты между продавцами и покупателями. Соответственно каждый фактор промышленности считается произведенным для продажи, ибо в этом и только в этом случае его можно будет подчинить механизму спроса и предложения, взаимодействующему с ценой. На практике это означает, что рынки должны существовать для всех факторов промышленности, что каждый из этих факторов структурируется в особую группу спроса и

предложения и имеет цену, взаимодействующую с механизмом спроса и предложения. Эти бесчисленные рынки взаимосвязаны и составляют Единый Огромный Рынок.[29]

Ключевым здесь нужно считать следующий момент: труд, земля и деньги являются основными факторами промышленности; они также должны быть организованы по рыночной модели; и действительно, подобные рынки составляют абсолютно неотъемлемую часть экономической системы. Однако совершенно очевидно, что труд, земля и деньги — это отнюдь не товары, и применительно к ним постулат, гласящий, что все продаваемое и покупаемое производится для продажи, явным образом ложен. Иными словами, если исходить из эмпирического определения товара, то они товарами не являются. Труд — это лишь другое название для определенной человеческой деятельности, теснейшим образом связанной с самим процессом жизни, которая, в свою очередь, «производится» не для продажи, а имеет совершенно иной смысл; деятельность эту невозможно отделить от остальных проявлений жизни, сдать на хранение или пустить в оборот; земля — это другое название для природы, которая создается вовсе не человеком, и, наконец, реальные деньги — это просто символ покупательной стоимости, которая, как правило, вообще не производится для продажи. Характеристика труда, земли и денег как товаров есть полнейшая фикция.

И однако, именно на этой фикции построены реальные рынки труда, земли и денег;[30] они действительно покупаются и продаются на рынке, спрос на них и их предложение представляют собой вполне реальные величины, а любые меры и шаги, противодействующие формированию этих рынков, *ipso facto*[31] ставят под угрозу саморегулирование всей системы. Таким образом, фикция товара служит основой организующего принципа первостепенной важности, имеющего силу по отношению ко всему обществу и самыми разными путями воздействующего на все его институты, а именно принципа, согласно которому любые меры и действия, способные воспрепятствовать функционированию рыночного механизма в соответствии с товарной фикцией, совершенно недопустимы.

Но в отношении труда, земли и денег подобный постулат не может быть принят. Позволить рыночному механизму быть единственным вершителем судеб людей и их природного окружения или хотя бы даже единственным судьей надлежащего объема и методов использования покупательной способности значило бы в конечном счете уничтожить человеческое общество. Ибо мнимый товар под названием «рабочая сила» невозможно передвигать с места на место, использовать, как кому заблагорассудится, или даже просто оставить без употребления, не затронув тем самым конкретную человеческую личность, которая является носителем этого весьма своеобразного товара. Распоряжаясь «рабочей силой» человека, рыночная система в то же самое время распоряжается неотделимым от этого ярлыка существом, именуемым «человек», существом, которое обладает телом, душой и нравственным сознанием. Лишенные предохраняющего заслона в виде системы культурных институтов, люди будут погибать вследствие своей социальной незащищенности; они станут жертвами порока, разврата, преступности и голода, порожденных резкими и мучительными социальными сдвигами. Природа распадется на составляющие ее стихии; реки, поля и леса подвергнутся страшному загрязнению; военная безопасность государства окажется под угрозой; страна уже не сможет обеспечивать себя продовольствием и сырьем. Наконец, рыночный механизм управления покупательной способностью приведет к тому, что предприятия будут периодически закрываться, поскольку излишек и недостаток денежных средств окажутся таким же бедствием для бизнеса, как засуха и наводнения — для первобытного общества. То, что рынки труда, земли и денег представляют собой неотъемлемые элементы рыночной экономики, сомнению не подлежит. Однако никакое общество, даже в течение самого краткого времени, не смогло бы выдержать последствия подобной системы откровенных фикций, если бы его человеческая и природная основа, а также его экономический строй не были ограждены от разрушительного действия этой

«сатанинской мельницы». Крайняя искусственность характера рыночной экономики объясняется тем, что сам процесс производства организован здесь в форме купли-продажи. [32] Никакой другой способ организации производства для рынка в коммерциализированном обществе попросту невозможен. В период позднего Средневековья промышленное производство на экспорт организовывали состоятельные горожане; оно осуществлялось под их непосредственным надзором в тех самых городах, где они жили. Позднее, в меркантилистском обществе, организаторами производства, которое уже не ограничивалось пределами городов, стали купцы; это была эпоха «мануфактур», когда купец-капиталист снабжал рабочих-надомников сырьем, руководя процессом производства как чисто коммерческим предприятием. Именно тогда организация и управление промышленным производством вполне определенно и в широких масштабах перешли в руки купца. Он знал рынок, объем и структуру спроса, а кроме того мог обеспечить поставки необходимых материалов, которые, впрочем, ограничивались тогда шерстью, красителями и в известных случаях ткацкими и вязальными станками, использовавшимися в надомном производстве. Если же поставки прекращались, сильнее всего от этого страдал крестьянин-надомник, на время терявший работу, но сам купец, принимая на себя ответственность за производство, ничем всерьез не рисковал, ибо дорогостоящее оборудование здесь не использовалось. В течение столетий возможности и сфера действия этой системы непрерывно расширялись, пока, наконец, в такой стране, как Англия, организуемое купцами-суконщиками производство шерстяных тканей (основная отрасль промышленности) не распространилось на весьма обширные территории. Тот, кто занимался куплей и продажей, попутно организовывал также и сам процесс производства — особого мотива здесь не требовалось. Организация производства товаров не предполагала ни отношений взаимопомощи, ни заботы главы семейства о нуждах тех, кто находится у него на попечении, ни гордости ремесленника своим мастерством, ни чувства удовлетворения от публичной похвалы, — ничего, кроме голого мотива наживы, столь привычного для человека, чья профессия — покупать и продавать. Вплоть до конца XVIII в. промышленное производство в Западной Европе было лишь придатком торговли.

Пока машина представляла собой недорогое и неспециализированное устройство, положение не менялось. Тот простой факт, что за одно и то же время надомник способен был теперь произвести больше изделий, чем прежде, мог побудить его использовать машины, чтобы увеличить свой заработок, однако данное обстоятельство само по себе не обязательно влияло на организацию производства. То, кому именно — рабочему или купцу — принадлежало недорогое оборудование, имело известное значение для социального статуса сторон и почти наверняка отражалось на доходах рабочего, который жил лучше, пока оставался собственником орудий своего труда, но это не вынуждало купца превращаться в капиталиста-промышленника или ссужать деньгами исключительно лишь подобных лиц. Проблемы со сбытом товаров возникали не так уж часто, более серьезные трудности по-прежнему были связаны со снабжением сырьем, которое иногда неизбежным образом приостанавливалось. Но даже в этих случаях убытки купца-собственника машин оказывались незначительными. Отнюдь не появление машин как таковых, но создание сложных по конструкции, а следовательно, специализированных механизмов и оборудования полностью изменило отношение купца к производству. Хотя новая организация производства создавалась купцом — факт, определивший весь ход трансформации, — использование сложных машин привело к развитию фабричной системы и тем самым к радикальному изменению относительной роли торговли и промышленности в пользу последней. Промышленное производство уже не являлось, как прежде, придатком торговли, организуемым купцом на принципах купли-продажи, теперь оно требовало долгосрочных капиталовложений и было связано с соответствующим рынком. И если непрерывность производства нельзя было надежно обеспечить, подобный риск становился неоправданным.

Но чем более усложнялось промышленное производство, тем больше становилось факторов промышленности, постоянное наличие которых нужно было гарантировать. Важнейшим из

них являлись, безусловно, труд, земля и деньги. В коммерциализированном обществе их бесперебойный приток можно было обеспечить только одним способом — сделав их доступными для покупки. А значит, их следовало организовать для продажи на рынке, иными словами, превратить в товары. Подчинение рыночному механизму факторов промышленности — труда, земли и денег — явилось неизбежным следствием введения фабричной системы в коммерциализированном обществе. Факторы производства должны находиться в продаже.

Все это, если выразиться несколько иначе, означало настоятельную потребность в создании рыночной экономики. Прибыль при подобной системе гарантирована, как известно, лишь в том случае, если обеспечивается саморегулирование посредством взаимозависимых конкурентных рынков. Поскольку фабричная система развивалась как часть процесса купли-продажи, то чтобы обеспечить непрерывность производства, труд, землю и деньги требовалось превратить в товары. В настоящие товары превратить их, разумеется, было невозможно, так как в действительности они были созданы вовсе не для продажи на рынке. Однако ложная идея о том, что они существуют именно для этой цели, стало принципом, на котором строилась теперь вся организация общества. Из этих факторов особенно важен один — труд, или «рабочая сила» (специальный термин для обозначения людей, поскольку они работают по найму, а не являются работодателями сами); следовательно, отныне организация труда должна была меняться в соответствии с организацией рыночной системы. Но так как труд — это лишь другое название для образа жизни простого народа, то это означало, что развитие рыночной системы должно было сопровождаться переменами в структуре самого общества. Таким образом, человеческое общество во всех отношениях превратилось в придаток экономической системы.

Вспомним параллель, которую провели мы между разрушительным действием огораживаний в Англии и социальной катастрофой, вызванной промышленной революцией. За экономический прогресс, утверждали мы, как правило, приходится платить мучительными социальными потрясениями. Если темп их слишком высок, обществу грозит неминуемая гибель. Регулируя и направляя процесс перемен таким образом, что в конце концов он стал социально приемлемым, а его следствия менее разрушительными, Тюдоры и ранние Стюарты спасли Англию от печальной участи Испании. Но от страшного удара промышленной революции простой народ Англии уже ничто не могло спасти. Человеческими умами уже овладела слепая вера в стихийный прогресс, и даже самые просвещенные из англичан с сектантским фанатизмом ратовали за безграничные и ничем не регулируемые социальные перемены. Ужасные последствия, которые имело все это для жизни простого народа, не поддаются описанию, и если бы не защитные контрмеры, ослаблявшие воздействие этого самоубийственного механизма, человеческое общество могло бы погибнуть.

Таким образом, социальную историю XIX в. определял двойной процесс: распространение рыночной организации на подлинные товары сопровождалось ограничением ее применительно к товарам фиктивным. С одной стороны, рынки подчинили себе весь мир, а количество обращающихся на рынке товаров выросло до невероятных масштабов; с другой стороны, система соответствующих мер сложилась в мощные институты, призванные контролировать воздействие рынка на труд, землю и деньги. Создание мировых товарных рынков, мировых рынков капитала и мировых валютных рынков под эгидой золотого стандарта придало рыночному механизму небывалую силу, но в то же самое время возникло мощное, имевшее глубокие корни движение, боровшееся с пагубными последствиями полного подчинения экономики механизму рынков. Общество пыталось защитить себя от опасностей, которыми угрожала ему саморегулирующаяся рыночная система, — таков лейтмотив всей истории этой эпохи.

Общество XVIII в. стихийно противилось любым попыткам превратить его в простой довесок к рынку. Рыночная экономика без рынка труда совершенно немыслима, но создание такого рынка, особенно в условиях английской деревни, означало, в сущности, безжалостный слом традиционной структуры общества. В самый бурный период промышленной революции (т. е. в 1795–1834 гг.) формированию рынка труда в Англии препятствовал Закон Спинхемленда.

Фактически рынок труда был последним из рынков, организации которых потребовала новая промышленная система, и этот заключительный шаг был сделан только после того, как рыночная экономика уже набрала ход и когда стало ясно, что отсутствие рынка труда является, даже для простого народа, еще большим несчастьем, чем все те бедствия, которые должно было повлечь за собой его формирование. В конечном счете свободный рынок труда, несмотря на бесчеловечные методы, использовавшиеся при его создании, оказался в материальном отношении выгодным для всех его участников.

Но только после этого и стала очевидной суть проблемы. Экономические преимущества свободного рынка труда не могли компенсировать порожденные им социальные бедствия. Потребовалось создать новый тип регулирования, чтобы, как и прежде, защищать труд, только теперь уже — от действия самого рыночного механизма. Хотя новые защитные институты, такие как профсоюзы и фабричные законы, были в максимальной степени приспособлены к требованиям экономического механизма, они служили помехой его саморегулированию и в конце концов разрушили всю систему.

В общей схеме закономерностей этого процесса важнейшая роль принадлежит Закону Спинхемленда.

В Англии коммерческая мобилизация земли и денег предшествовала мобилизации труда. Формированию национального рынка труда противодействовали специальные законы, строго ограничивавшие его физическую мобильность, поскольку работник был фактически прикреплен к своему приходу. Акт об оседлости 1662 г., заложивший основы т. н. «приходского крепостного права», был смягчен только в 1795 г. Данная мера могла бы сделать возможным создание национального рынка труда, если бы в том же самом году не появился Закон Спинхемленда, или «система денежной помощи». Закон этот имел прямо противоположную цель — укрепление патерналистской системы организации труда, системы, унаследованной от Тюдоров и Стюартов. Мировые судьи графства Беркшир, собравшиеся 6 мая 1795 г., в период жестокой нужды, на постоялом дворе «Пеликан» в Спин-хемленде (неподалеку от Ньюбери), постановили, что в дополнение к заработной плате беднякам следует выдавать денежные пособия в соответствии со специальной шкалой, привязанной к ценам на хлеб, чтобы нуждающимся был таким образом обеспечен минимальный доход независимо от их заработков. В знаменитой рекомендации беркширских мировых сказано: если галлон хлеба определенного качества «стоит 1 шиллинг, каждый нуждающийся труженик должен иметь на свое пропитание 3 шиллинга в неделю, либо заработанные его собственным трудом или трудом членов его семейства, либо полученные в виде пособия за счет местного налога в пользу бедных, а на содержание своей жены и каждого члена своего семейства — еще по 1 шиллингу 6 пенсов; если галлон хлеба стоит 1

Ув — 4 шиллинга в неделю плюс Ио; на каждый пенс превышения цены хлеба над отметкой 1 шиллинг он должен получать 3 пенса на себя и по 1 пенсу — на остальных». В отдельных графствах цифры несколько отличались от приведенных, но в большинстве случаев действовала шкала Спинхемленда. Мера эта была задумана как чрезвычайная, и

осуществляли ее неформальным образом. Сама шкала, хотя и именовавшаяся обыкновенно законом, так и не была установлена в законодательном порядке. Тем не менее она быстро превратилась в закон страны в большинстве сельских местностей, а позднее даже во многих промышленных районах. Фактически эта шкала вводила такое социально-экономическое новшество, как «право на жизнь», и вплоть до своей отмены в 1834 г. успешно противодействовала созданию конкурентного рынка труда. Двумя годами ранее, в 1832 г., буржуазия решительно проложила себе путь к власти отчасти именно для того, чтобы устранить это препятствие для развития капиталистической экономики. И в самом деле, было совершенно очевидно, что система заработной платы настоятельно требует отмены «права на жизнь», провозглашенного в Спинхемленде: при новом режиме, режиме «экономического человека», никто не стал бы работать за плату, если он мог обеспечить себе средства к существованию, ничего не делая.

Другое важное следствие радикального отказа от политики Спинхемленда было менее очевидным для большинства авторов XIX в., а именно, что систему заработной платы нужно сделать универсальной, в том числе и в интересах самих же лиц наемного труда, пусть даже это означало бы лишить их права требовать гарантированных законом средств к существованию. Дело в том, что «право на жизнь» оказалось смертельной ловушкой.

В данном случае парадокс был лишь кажущимся. Творцы системы Спинхемленда исходили из того, что законодательство о бедных будет применяться в широких масштабах — в действительности его первоначальный смысл был полностью искажен. По елизаветинскому закону бедняков обязывали работать за любую плату, которую им удавалось получить, и лишь те, кто вообще не могли найти себе работу, имели право на вспомоществование; пособия же дополнительно к заработной плате никто не платил и платить не собирался. Согласно же закону Спинхемленда, человек получал пособие, даже имея работу, — пока его заработок был ниже дохода, установленного для его семьи по соответствующей шкале. А следовательно, у работника не было серьезного стимула удовлетворять требования нанимателя, ибо его доход оставался прежним, какую бы зарплату он ни получал; иначе обстояло дело только тогда, когда фактическая зарплата превышала доход по шкале, — явление, довольно редкое в деревне, где наниматель мог найти работников практически за любую плату: как бы мало ни платил он сам, субсидия за счет налога в пользу бедных поднимала доход рабочего до предусмотренного по шкале минимума. Уже через несколько лет производительность труда опустилась до уровня, характерного для пауперов, предоставив таким образом работодателям еще одно основание не поднимать зарплату выше шкалы. Ибо если интенсивность труда, его качество и эффективность падали ниже определенного уровня, то он уже ничем не отличался от простого «валяния дурака», от видимости работы, которую сохраняли ради приличия. Формально закон по-прежнему налагал обязанность трудиться, фактически пособия беднякам, живущим самостоятельно, стали обычной практикой, и даже если пособия выдавались в работном доме, принудительные занятия их обитателей едва ли теперь заслуживали названия работы. Это было равносильно отказу от тюдоровского законодательства, но не ради ослабления опеки, а в пользу еще более патернализма. Широкое распространение системы вспомоществования лицам, живущим самостоятельно, введение пособий дополнительно к зарплате, а также специальных сумм на содержание жены и детей — выплат, размер которых колебался в зависимости от цены на хлеб, — означали, применительно к труду, резкий поворот к тому самому принципу регулирования, который стремительно устранялся из экономической жизни в целом.

Ни одна мера никогда не встречала столь же всеобщего одобрения.[33] Родители были избавлены от заботы о детях, а дети больше не зависели от родителей; хозяева могли сколько угодно понижать зарплату, а их работникам, как усердным, так и нерадивым, уже не грозил голод; филантропы приветствовали эту меру как акт милосердия, пусть и не совсем справедливого, а эгоисты легко утешались той мыслью, что милосердие это обходится им не

слишком дорого, и даже налогоплательщики не сразу поняли, что должно произойти с налогами при новой системе, провозгласившей «право человека на жизнь» независимо от того, зарабатывает он на нее или нет.

Конечный результат оказался ужасающим. Хотя прошло известное время, прежде чем простой человек утратил чувство собственного достоинства настолько, чтобы сознательно предпочитать пособие для бедных заработной плате, его заработная плата, субсидируемая обществом, не могла не падать до бесконечности, обрекая его тем самым на судьбу получателя пособия. Английская деревня постепенно пауперизировалась, и поговорка «сел на пособие раз — не слезешь с него никогда» вполне соответствовала действительности. Не учитывая долговременных последствий системы денежной помощи, невозможно объяснить всю нравственную и социальную деградацию эпохи раннего капитализма.

Народу ведущей страны века Спинхемленд открыл глаза на истинный смысл начатого им тогда смелого социального эксперимента. Ни правители, ни те, кем они правили, уже никогда не смогли забыть уроков этого рая для дураков, и если Билль о реформе 1832 г. и Реформу к закону для бедных 1834 г. принято считать началом современного капитализма, то это потому, что они положили конец правлению человеколюбивых лендлордов с их системой пособий. Попытка создать капиталистический строй без рынка труда окончилась катастрофическим провалом. Законы, управляющие этим строем, заставили с собой считаться, ясно показав, что принцип патернализма абсолютно с ними несовместим. Неумолимая строгость этих законов стала очевидной, а те, кто осмелился их нарушить, понесли жестокую кару.

В эпоху Спинхемленда общество находилось под влиянием двух противоположных тенденций: одна, исходившая от патернализма, представляла собой попытку защитить труд от связанных с рыночной системой опасностей; другая означала стремление организовать факторы производства, включая землю, по законам рыночной системы; таким образом она лишала простого человека его прежнего статуса, вынуждала зарабатывать на жизнь продажей своего труда и в то же время сводила на нет рыночную стоимость последнего. Создавался новый класс работодателей — но соответствующий ему класс лиц наемного труда сформироваться в тех условиях не мог. Новая гигантская волна огораживаний влекла за собой мобилизацию земли, порождая деревенский пролетариат, однако «дурное применение законодательства о бедных» не позволяло этим людям зарабатывать себе на жизнь трудом. Не удивительно, что современники приходили в ужас, наблюдая это, в сущности, мнимое противоречие: полуголодное существование широких масс на фоне невероятного роста производства. Все, что угодно, только не продолжение системы Спинхемленда — это убеждение (а некоторые мыслящие люди защищали его с необыкновенной страстью) к 1834 г. стало всеобщим. Нужно было либо уничтожить машины, как это пытались сделать луддиты, либо создать настоящий рынок труда. Так сила вещей заставила человечество вступить на путь утопического эксперимента.

Здесь не место распространяться о политической экономии Спинхемленда: у нас еще будет повод поговорить о ней впоследствии. На первый взгляд, «право на жизнь» должно было привести к полному исчезновению наемного труда. Реальная заработная плата должна была постепенно опуститься до нулевого уровня, и таким образом все затраты на содержание работника легли бы на приход — процесс, который сделал бы совершенно очевидной абсурдность подобной системы. Но эпоха, о которой идет у нас речь, была в своих существенных чертах докапиталистической; сознание простого народа оставалось традиционным, а поведением его руководили далеко не одни лишь денежные мотивы. Значительное большинство сельского населения составляли собственники или пожизненные арендаторы земельных участков, предпочитавшие любой образ жизни статусу паупера, пусть даже последний еще не был, как это произошло позднее, сознательно отягощен унижительными или раздражающими ограничениями в правах. Будь у рабочих право объединяться для защиты своих интересов, система денежных пособий могла бы, конечно,

оказать на средний уровень заработной платы противоположное влияние, ибо действиям профсоюзов в значительной степени способствовала бы система помощи безработным, предусматривавшаяся столь широким применением законодательства о бедных. Это, вероятно, и стало одной из причин принятия несправедливых законов против рабочих союзов 1799–1800 гг., которые иначе просто трудно объяснить, поскольку и беркширские мировые, и члены парламента в целом проявили серьезную заботу об экономическом положении неимущих, а политические беспорядки после 1797 г. пошли на спад. Можно утверждать, что именно патерналистский интервенционизм Спинхемленда породил еще один акт интервенционизма — законы против рабочих союзов, и если бы не последние, то Спинхемленд мог бы стать причиной не падения заработной платы (как это произошло в действительности), а ее роста. В сочетании же с законами против рабочих союзов, отмененными лишь четверть века спустя, Спинхемленд привел к нелепому результату: финансовое осуществление «права на жизни» приносило в конечном счете несчастье тем самым лицам, для которых оно, казалось бы, должно было стать спасением.

Для последующих поколений не было ничего более очевидного, чем абсолютная несовместимость таких институтов, как система заработной платы и «право на жизнь», иначе говоря, чем тот факт, что пока заработная плата субсидируется обществом, капиталистический строй не может функционировать по-настоящему. Но современники еще не постигали, какому строю расчищают они дорогу. И только тогда, когда произошло резкое падение производительной способности широких масс — настоящее национальное бедствие, делавшее невозможным дальнейший прогресс машинной цивилизации, — сила вещей заставила, наконец, общество осознать необходимость отмены безусловного права неимущих на пособие. Сложная политэкономия Спинхемленда была выше понимания самых сведущих наблюдателей эпохи, однако вывод о том, что система пособий дополнительно к зарплате в самой своей основе неверна, казался еще более неопровержимым, поскольку она каким-то сверхъестественным образом оборачивалась бедствиями именно для тех, кто эти пособия получал.

Заметить все ловушки рыночной системы было не так уж и легко. Чтобы ясно это понять, мы должны провести четкое различие между отдельными несчастьями, выпадавшими на долю трудящихся в Англии со времени появления машин. Во-первых, это бедствия эпохи Спинхемленда (1795–1834); во-вторых, лишения, вызванные реформой Закона о бедных в десятилетие после 1834 г.; в-третьих, пагубное воздействие, которое оказывал после 1834 г. конкурентный рынок труда, пока в 1870 г. признание профсоюзов не предоставило достаточные средства защиты. Хронологически Спинхемленд предшествовал рыночной экономике, десятилетие Акта о реформе Закона о бедных явилось переходом к этой экономике; последний период — частично совпадающий со вторым — был периодом рыночной экономики в собственном смысле слова.

Между этими периодами существовали резкие различия. Закон Спинхемленда имел своей целью предотвратить или хотя бы замедлить пролетаризацию простого народа. Результатом его стала самая настоящая пауперизация масс, успевших за это время почти полностью утратить человеческий облик.

Реформа Закона о бедных 1834 г. уничтожила эту преграду на пути к рынку труда: «право на жизнь» было упразднено. Наукообразная жестокость этого Акта настолько шокировала нравственное чувство общества, что бурные протесты современников в конечном счете затемнили общую картину в глазах потомков. Действительно, многие из числа самых нуждающихся с отменой пособий живущим самостоятельно были брошены на произвол судьбы, а среди тех, кто пострадал более всего, оказались «достойные бедняки», люди слишком гордые, чтобы идти в работный дом, уже превратившийся к этому времени в вертеп позора. Пожалуй, никогда во всей новой истории не осуществлялась столь же безжалостная социальная реформа; пытаясь якобы лишь дать критерий «подлинной нуждаемости» в виде «проверки на право помещения в работный дом», она сломала великое множество

человеческих судеб. Чтобы смазать колеса мельницы наемного труда, кроткие филантропы невозмутимо проповедовали и хладнокровно применяли самые изощренные пытки. И все же большая часть возмущенных жалоб объяснялась, в сущности, той стремительностью, с которой был уничтожен старинный порядок и проведена радикальная трансформация. Этот «страшный переворот» в условиях жизни народа сурово осуждал Дизраэли. Однако если бы в расчет следовало принимать одни лишь денежные доходы, то уже вскоре можно было бы сделать вывод, что положение широких масс улучшилось.

Проблемы третьего периода оказались несравненно более сложными. Акты бюрократической жестокости по отношению к неимущим, которые в 1834–1844 гг. допускали новые централизованные органы, проводившие в жизнь законодательство о бедных, имели в сущности спорадический характер и не шли ни в какое сравнение со всеохватывающим действием рынка труда — самого мощного института современности. По своему масштабу он напоминал ту угрозу, которую создал Спинхемленд, правда, с одним важным различием: теперь источником опасности было не отсутствие конкурентного рынка труда, но его существование. Спинхемленд препятствовал возникновению рабочего класса, теперь же трудящиеся бедняки превращались в подобный класс под неумолимым давлением безжалостного механизма. Если во времена Спинхемленда о людях заботились — как заботятся обычно о не слишком ценной домашней скотине, — то теперь они должны были заботиться о себе сами, находясь при этом в крайне неблагоприятных обстоятельствах. Если Спинхемленд означал тихую деградацию в домашних условиях, то теперь трудящийся оказался в обществе покинутым и бесприютным. Если Спинхемленд привел к чрезмерной нагрузке на такие институты, как семья, соседские связи, деревенское окружение в целом, то теперь человек был отделен от дома и родни, оторван от своих корней и от всей той среды, которая придавала смысл его существованию. Одним словом, если Спинхемленд означал медленное загнивание вследствие неподвижности, то теперь главной опасностью была гибель из-за незащищенности.

Конкурентный рынок труда сформировался в Англии лишь после 1834 г., а значит, говорить о существовании промышленного капитализма как социальной системы до этого времени мы не вправе. Однако механизм самозащиты общества включился почти мгновенно: появились фабричные законы и социальное законодательство, возникли политические и профессиональные организации рабочего класса. Именно в этой попытке предотвратить неведомые прежде опасности, таившиеся в рыночном механизме, защитные институты пришли в роковое противоречие с принципом саморегулирования системы. Можно без всякого преувеличения сказать, что социальная история XIX в. была детерминирована внутренней логикой рыночной системы в собственном смысле слова после того, как Акт о Реформе закона о бедных 1834 г. высвободил ее энергию. Исходным же моментом этого процесса был Закон Спинхемленда.

Утверждая, что изучение Спинхемленда означает анализ истоков цивилизации XIX в., мы имеем в виду не только его экономические и социальные последствия и даже не определяющее влияние, которое оказали эти последствия на современную политическую историю, но тот, как правило, неизвестный нашему поколению факт, что все наше социальное сознание формировалось по модели, заданной Спинхемлендом. Фигура паупера, с тех пор почти забытая, всецело определяла ход дискуссии, оставившей после себя столь же глубокий след, как и самые грандиозные события истории. Если Французская революция многим обязана идеям Вольтера и Дидро, Кенэ и Руссо, то в спорах вокруг Закона о бедных формировались взгляды Бента-ма и Берка, Годвина и Мальтуса, Рикардо и Маркса, Роберта Оуэна и Джона Стюарта Милля, Дарвина и Спенсера, которые вместе с Французской революцией являются духовными родителями цивилизации XIX в. Именно в десятилетия после Спинхемленда и Реформы закона о бедных человек, охваченный новой мучительной тревогой, обратил свой ум к обществу себе подобных: революция, которую беркширские мировые тщетно пытались задержать и которой Реформа закона о бедных дала полный

простор, заставила людей внимательно взглянуть на собственное коллективное бытие, как будто прежде они его совершенно не замечали. Их взорам открылся целый мир, о самом существовании которого они даже не догадывались, — мир законов, управляющих сложным обществом. Хотя понятие общества в этом новой специфическом смысле впервые возникло в сфере экономики, по своему объему оно оказалось всеохватывающим.

Той формой, в которой зарождающаяся реальность вошла в наше сознание, стала политическая экономия. Ее удивительные закономерности и потрясающие противоречия требовалось приспособить к понятному мыслительному аппарату философии и теологии, чтобы сделать доступными для человеческого ума. Упрямые факты и неумолимые жестокие законы, казалось бы, уничтожавшие нашу свободу, нужно было как-то с ней примирить. Таков был скрытый стимул, двигавший метафизическую энергию, питавший силы позитивистов и утилитаристов. Беспредельная надежда и полное отчаяние, с которыми вглядывался ум в неизведанную область человеческих возможностей и перспектив, стали его двойственным ответом на этот грозный вызов. Надежда — как мечта о вечном совершенствовании — выступила из кошмара законов народонаселения и заработной платы и воплотилась в концепцию прогресса; концепцию столь вдохновляющую, что она, казалось, оправдывала грандиозные и мучительные потрясения, ожидавшие человека в будущем. Отчаянию суждено было стать еще более мощным фактором трансформации.

Человек должен был смириться с мирским проклятием: он был обречен либо остановить процесс размножения собственного рода, либо сознательно приговорить себя к уничтожению через войну, мор, голод и порок. Бедность — так напомнила о себе обществу природа, а то, что ограниченность запасов пищи и безграничная способность человечества к размножению пришли в противоречие именно тогда, когда перед людьми внезапно открылась перспектива беспредельного роста материальных благ, делало иронию истории еще более жестокой.

Так открытие общества вошло в духовный мир человека, но каким путем эту новую реальность, общество, следовало перевести на язык конкретной жизни? Моральные принципы гармонии и конфликта в качестве ориентиров для практических действий подверглись предельно искусственной интерпретации и были втиснуты в схему, поражающую своей почти полной внутренней противоречивостью. Утверждалось, что экономике присуща гармония, поскольку-де интересы общества и индивида в конечном счете совпадают, — но подобного рода гармоническое саморегулирование требовало от индивида соблюдения экономических законов даже тогда, когда законы эти грозили ему гибелью. Конфликт — как конкуренция между индивидами или как борьба классов — также является неотъемлемой чертой экономики, — но подобные конфликты, опять же, могут оказаться всего лишь средством для достижения еще более глубокой гармонии, потенциально присущей нынешнему обществу или, быть может, обществу грядущему.

Пауперизм, политическая экономия и открытие общества находились между собой в теснейшей связи. Пауперизм привлек внимание к тому непостижимому факту, что бедность, казалось бы, растет вместе с богатством. Но это был лишь первый из обескураживающих парадоксов, перед которыми поставило индустриальное общество современного человека. В новое свое обиталище он вошел через дверь экономики, и это случайное обстоятельство сообщило всей эпохе материалистический дух. Рикардо и Мальтусу ничто не казалось более реальным, чем материальные товары. Законы рынка означали для них предел человеческих возможностей. Годвин верил в безграничные возможности человека и поэтому отвергал законы рынка. То, что человеческие возможности ограничены не законами рынка, а законами самого общества, суждено было постигнуть Оуэну; он один сумел разглядеть за покровом рынка нарождающуюся реальность — общество. Но его прозрение было забыто на целое столетие.

Между тем именно в связи с проблемой бедности люди впервые стали размышлять о том, что означает жизнь в сложном обществе. Введение политической экономики в сферу теории

происходило в двух противоположных перспективах — прогресса и способности к совершенствованию, с одной стороны, детерминизма и вечного проклятия — с другой; ее перевод в область практики также осуществлялся противоположными способами — через принципы гармонии и саморегулирования, с одной стороны, конкуренции и конфликта — с другой. Экономический либерализм и классовая теория уже были заложены в этих противоречиях. Так, с неодолимостью стихийного явления, вошел в наше сознание новый комплекс идей.

Глава 8

Причины и следствия

Система Спинхемленда была задумана, в сущности, как временная мера, однако немногие институты оказали столь же определяющее влияние на судьбу целых цивилизаций, как этот эксперимент, отвергнутый ради того, чтобы могла начаться новая эра. Он был типичным продуктом периода трансформации и заслуживает внимания всякого, кто изучает сегодня человеческую историю.

В эпоху меркантилизма организация труда в Англии основывалась на Законодательстве о бедных и на Статуте о ремесленниках. Конечно, термин «законодательство о бедных» применительно к законам 1536–1601 гг. не является вполне точным: фактически эти законы вместе с позднейшими поправками составляли лишь часть английского кодекса законов о труде; другой его частью был Статут о ремесленниках 1563 г. Последний касался лиц, имеющих работу, законодательство о бедных — тех, кого мы бы назвали безработными и нетрудоспособными (помимо детей и престарелых). К этим законодательным мерам прибавился в дальнейшем, как уже было сказано, Акт об оседлости 1662 г., регламентировавший местожительство простых людей и до предела ограничивавший свободу их передвижения. (Четкое различие между работающими, безработными и нетрудоспособными для той эпохи, безусловно, является анахронизмом, поскольку оно предполагает современную систему заработной платы, возникшую около 250 лет спустя. В нашем чрезвычайно схематичном изложении термины эти употребляются для краткости).

По Статуту о ремесленниках, организация труда покоилась на трех столпах: законодательном принуждении к труду, семилетнем сроке ученичества и ежегодном установлении размеров заработной платы государственным должностным лицам. Данный закон — и это следует подчеркнуть особо — к сельскохозяйственным рабочим относился в такой же степени, как и к ремесленникам, и в сельских районах применялся точно также, как и в городах. В течение примерно восьмидесяти лет статут строго соблюдался; впоследствии пункты об ученичестве (за исключением традиционных ремесел) отчасти вышли из употребления, к новым же производствам, вроде хлопчатобумажного, они были попросту неприменимы; ежегодное определение размеров заработной платы, которое основывалось на прожиточном минимуме, после Реставрации также перестало производиться на значительной территории страны. Формально пункты о ежегодных расценках были отменены лишь в 1813 г., а статьи о заработной плате — в 1814 г. Однако система обязательного ученичества во многих отношениях пережила данный статут; она по-прежнему остается в Англии обычной практикой в ремеслах, требующих квалификации. В сельской местности постепенно исчезло законодательное принуждение к труду. Тем не менее мы вправе утверждать, что в течение двух с половиной столетий, о которых идет здесь речь, Статут о ремесленниках служил правовой основой общенациональной организации труда, опиравшейся на принципы регулирования и патернализма.

Таким образом, Статут о ремесленниках дополнялся Законом о бедных. Термин этот способен совершенно сбить с толку нашего современника, который не видит большой разницы между «бедняком» и «паупером». Между тем английские дворяне считали «бедным» всякого, кто не располагал доходом, достаточным для того, чтобы жить не трудясь. Слово «бедняки», таким образом, было фактически синонимом выражения «простой народ», а понятие «простой народ» включало в себя всю нацию, кроме землевладельцев (редкий из преуспевающих купцов не приобретал тогда земельной собственности). А значит, термин «бедняк» относился ко всем нуждающимся, иначе говоря, к любому человеку, если и пока он испытывал нужду. Разумеется, сюда входили и пауперы, но не только они одни. Общество, провозглашавшее, что в его пределах найдется место всякому христианину, должно было заботиться также и о престарелых, калеках, сиротах. Но, кроме того, существовали здоровые бедняки, которых мы будем называть безработными, исходя из предположения, что они были способны заработать себе на жизнь физическим трудом, если бы только для них нашлась работа. Нищенство сурово каралось, за бродяжничество в случае рецидива полагалась смертная казнь. Закон о бедных 1601 г. определил, что здоровых бедняков следует принуждать к труду, чтобы они могли отрабатывать свое содержание, обеспечивать которое должен был приход; обязанность призрения бедным была недвусмысленно возложена на приход, имевший право собирать необходимые суммы через местные налоги или взносы. Платить их должны были все домохозяева и землевладельцы, как богатые, так и небогатые, в соответствии со своими доходами от земли или домов.

Статут о ремесленниках вместе с Законом о бедных составляли то, что можно было бы назвать «общенациональным» кодексом о труде. Однако законодательство о бедных практически применялось на местном уровне: в каждом приходе — крошечной административной единице — существовал особый порядок обеспечения работой здоровых бедняков, содержания богаделен, обучения ремеслу сирот и детей неимущих, призрения калек и стариков, похорон пауперов; в каждом приходе была своя шкала соответствующих налогов. Все это звучит весьма внушительно, реальная же картина была зачастую гораздо более скромной: многие приходы не имели богаделен, в еще большем их числе не было принято серьезных мер для того, чтобы с пользой занять трудоспособных бедняков; существовало бесчисленное множество способов, с помощью которых инертность местных налогоплательщиков, нерадивость «попечителей по призрению бедных», бездушный эгоизм частных интересов, связанных с пауперизмом, могли препятствовать проведению в жизнь закона. И все же почти шестнадцатитысячному административному аппарату, занятому осуществлением законодательства о бедных, в целом удавалось ограждать социальную структуру английской деревни от вредных и разрушительных влияний.

Однако при общенациональной системе организации труда местная организация борьбы с безработицей и призрения бедных представляла собой вопиющую аномалию. Чем разнообразнее были местные правила на сей счет, тем выше опасность того, что благополучный приход могут наводнить толпы профессиональных пауперов. Чтобы защитить от их наплыва «лучшие» приходы, после Реставрации был принят Акт об оседлости, и более ста лет спустя Адам Смит сурово осуждал этот Акт за то, что он стеснял свободу передвижения простых людей, не позволяя им найти себе полезное занятие, а капиталистам — нанять необходимую рабочую силу. Только по особой милости приходских и местных мировых властей мог человек оставаться за пределами своего прихода, в любом другом месте ему грозило принудительное выдворение, пусть даже он имел работу и был на хорошем счету. Таким образом, юридический статус простого человека означал свободу и равенство, подверженные существенным ограничениям. Он был лично свободен и пользовался равенством перед законом, но не имел права свободно выбирать род занятий для себя и своих детей, не мог селиться, где ему угодно, и обязан был работать. Два великих елизаветинских статута вместе с Актом об оседлости были Хартией вольностей для простого народа и в то же время закрепляли его неполную правоспособность.

Промышленная революция уже успела набрать ход, когда в 1795 г., под давлением потребностей индустрии, Акт 1662 г. был частично отменен, приходское крепостное право уничтожено, а работник вновь получил свободу передвижения. Теперь уже можно было создать национальный рынок труда. Но в том же году, как известно, был введен такой способ применения законодательства о бедных, который означал полный отказ от елизаветинского принципа обязательного труда. Спинхемленд гарантировал «право на жизнь», вспомоществование дополнительно к зарплате стало нормой, к нему добавилась денежная помощь на содержание семьи, причем все эти суммы выдавались в качестве пособий неимущим, живущим самостоятельно, иначе говоря, их получателей не отправляли в работные дома. Размер пособий был весьма скудным, однако для того чтобы не умереть с голоду, их вполне хватало. Это был самый настоящий возврат к регулированию и патернализму — и именно в тот момент, когда, казалось бы, паровой двигатель настойчиво требовал свободы, а машины просили рабочих рук. Закон Спинхемленда совпал по времени с отменой Акта об оседлости. Противоречие было явным: Акт об оседлости аннулировали потому, что промышленная революция остро нуждалась в общенациональном рынке труда, в рабочих, которые продавали бы свой труд за плату, — между тем Спинхемленд провозгласил принцип, что теперь человек может не страшиться голода, так как приход будет содержать его и его семью, как бы мало он ни зарабатывал. Таким образом, в промышленности долгое время проводились параллельно два курса, находившиеся между собой в вопиющем противоречии, — чего же еще, кроме уродливых социальных аномалий, можно было ожидать?

Но поколение Спинхемленда не догадывалось о том, что его ждет впереди. Накануне величайшей промышленной революции в истории не было никаких знамений и предостережений: капитализм явился без доклада. Никто не сумел предсказать развитие машинной индустрии, оно стало для человечества полной неожиданностью. Более того, Англия уже в течение некоторого времени ожидала серьезного спада во внешней торговле, когда плотину прорвало и неодолимый прорыв к планетарной экономике смел со своего пути старый мир.

Однако вплоть до 1850-х гг. никто не мог бы утверждать это с уверенностью. Глубинный смысл событий, происходивших у них на глазах, оставался для спинхемлендских мировых недоступным — именно в этом и лежит ключ к правильному пониманию предложенных ими мер. В ретроспективе может показаться, что они не только попытались совершить невозможное, но и сделали это с помощью средств, внутренняя противоречивость которых уже тогда должна была быть вполне очевидной. В действительности, однако, они добились своей цели, защитив деревню от социальных потрясений, тогда как в иных, непредвиденных, аспектах последствия их политики оказались по этой самой причине еще более катастрофическими. Спинхемленд был обусловлен вполне конкретным этапом развития рынка рабочей силы, и истолковывать его следует в свете понимания данной ситуации теми, кто определял тогда политику. При таком подходе мы увидим в системе пособий средство, придуманное управлявшими страной сквайрами в ситуации, когда, с одной стороны, работнику уже нельзя было отказывать в свободе передвижения, а с другой — сам сквайр стремился предотвратить те резкие изменения в местных условиях (в т. ч. рост заработной платы), которые несло с собой создание свободного национального рынка труда.

Таким образом, внутренняя динамика системы Спинхемленда определялась конкретными обстоятельствами ее рождения. Первым признаком приближающегося переворота стал рост сельского пауперизма. Однако в то время, кажется, никто так не думал: связь между нищетой в деревне и воздействием мировой торговли вовсе не лежала на поверхности. Современники не видели причин увязывать число сельских бедняков с развитием океанской и морской торговли. Необъяснимый рост количества неимущих почти всюду, и не без некоторых оснований, относили на счет методов проведения в жизнь законодательства о бедных. В действительности же, на уровне более глубоком, зловещий рост сельского пауперизма был

прямо связан с главной тенденцией общей экономической истории, но заметить эту связь по-прежнему было чрезвычайно трудно. Десятки авторов пытались разобраться, какими же путями «просачиваются» в деревню бедняки; количество и разнообразие причин, которыми объясняли их появление, воистину поразительны. Но лишь немногие из современных авторов указывали на те симптомы потрясений, которые мы привыкли связывать с промышленной революцией. Вплоть до 1785 г. английское общество не замечало никаких крупных перемен в экономической жизни, кроме судорожного роста торговли и распространения пауперизма.

Откуда берутся неимущие? — Вопрос этот поднимался во множестве памфлетов и брошюр, которые с приближением нового столетия становились все более объемистыми. Едва ли приходилось ожидать, что причины пауперизма и способы борьбы с ними будут здесь четко разграничены, ибо авторы подобных сочинений вдохновлялись верой в то, что стоит лишь в достаточной мере смягчить самые очевидные из бедствий, порождаемых пауперизмом, и сам он исчезнет без следа. В одном пункте все, кажется, соглашались, а именно, что причины роста бедности многочисленны и разнообразны. Среди этих причин указывались: нехватка хлеба; слишком высокая заработная плата в сельском хозяйстве, порождающая высокие цены на продукты питания; слишком низкая заработная плата в сельском хозяйстве; слишком высокая заработная плата в городах; нерегулярный характер занятости в городах, исчезновение сословия йоменов, непригодность городского рабочего к сельскому труду, нежелание фермеров увеличивать заработную плату, опасение помещиков на предмет того, что если заработная плата повысится, им придется уменьшить ренту, неспособность рабочих домов конкурировать с машинами, недостаточная бережливость в домашнем хозяйстве, неудобные жилища, влияние предрассудков на структуру питания, пьянство. Одни авторы возлагали вину на новую породу крупных овец, другие — на лошадей, которых следовало бы заменить быками, были и такие, кто настойчиво рекомендовал держать поменьше собак. Некоторые полагали, что неимущим нужно есть поменьше хлеба или даже вовсе без него обходиться, тогда как другие были убеждены, что «даже если бедняк питается самым лучшим хлебом, этого ни в коем случае нельзя ставить ему в вину». Считалось, что здоровью многих бедняков сильно вредит чай, зато домашнее пиво превосходно его восстанавливает; те же, кто принимал этот предмет особенно близко к сердцу, заявляли, что чай ничем не лучше самого дрянного пойла. Сорок лет спустя Хэрриет Мартино все еще находила полезной проповедь отказа от чаю в видах борьбы с пауперизмом.[34]

Правда, многие авторы сетовали на разрушительные последствия огораживаний; другие рассуждали о том пагубном влиянии, которое оказывают на занятость в деревне резкие перепады промышленной конъюнктуры. В целом, однако, создается впечатление, что в пауперизме видели тогда явление *suí generis*[35], социальную болезнь, порождаемую множеством причин, большинство из которых действует лишь потому, что в законодательстве о бедных не нашлось против них надлежащего средства.

Правильный же ответ почти наверняка был таков: обострение проблемы пауперизма и повышение местных налогов в пользу бедных были вызваны ростом того, что сегодня мы бы назвали скрытой безработицей. Но подобный процесс не мог быть очевидным в те времена, когда даже занятость оставалась обычно до известной степени невидимой, как это было по необходимости в надомном производстве. Мы, однако, все еще не ответили на следующие вопросы: в чем причина этого роста числа безработных и не полностью занятых? И почему признаки надвигающихся перемен в промышленности ускользнули от внимания даже самых наблюдательных из современников?

Объяснение следует искать главным образом в огромных колебаниях торговли, которые на этом раннем этапе способны были заслонять абсолютный ее рост. Последнее обстоятельство приводило к увеличению занятости, тогда как указанные колебания влекли за собой гораздо более значительный рост безработицы. Но если общий уровень занятости повышался медленно, то рост безработицы и неполной занятости происходил довольно быстрыми темпами. Таким образом, формирование того, что Фридрих Энгельс назвал

резервной армией труда, опережало создание промышленной армии в собственном смысле слова.

Отсюда вытекало одно важное следствие: связь между безработицей и общим ростом торговли легко могла остаться незамеченной. В ту пору нередко указывалось, что рост безработицы обусловлен значительными колебаниями торговли; люди, однако, не замечали, что эти колебания были внешней частью глубинного процесса, еще более широкого по своему масштабу, а именно общего роста коммерческой деятельности, которая все в большей степени основывалась на промышленном производстве. Современники не усматривали связи между по преимуществу городскими мануфактурами и огромным увеличением числа неимущих в деревне.

Рост совокупного объема торговли естественным образом увеличивал занятость, тогда как территориальное разделение труда в сочетании с резкими перепадами в торговле вызывало глубокие сдвиги в системе занятий как сельского, так и городского населения, которые влекли за собой стремительный рост безработицы. Приходившие издалека слухи о высоких зарплатах порождали у бедняков чувство неудовлетворенности теми заработками, на которые он мог рассчитывать в сельском хозяйстве, внушая антипатию к подобному труду как слишком низко оплачиваемому. Промышленные районы той эпохи, напоминая новооткрытую страну, вторую Америку, манили к себе тысячи иммигрантов. Но миграция обычно сопровождается весьма значительной ремиграцией. А что подобный отлив в сторону деревни действительно имел место, подтверждается, судя по всему, и тем фактом, что абсолютного уменьшения сельского населения не наблюдалось. Таким образом, общие сдвиги в структуре населения происходили по мере того, как различные его группы втягивались на разные сроки в сферу торговли и промышленности, а затем, оставшись без работы, медленно возвращались в свою исконную сельскую среду.

Значительная доля социального ущерба, причиненного английской деревне, объяснялась на начальном этапе тем пагубным влиянием, которое торговля оказывала непосредственно на сельские районы. Революция в сельском хозяйстве, вне всякого сомнения, предшествовала революции в промышленности. Как огораживания общинных угодий, так и создание крупных, компактных земельных массивов, которыми сопровождался бурный прогресс в агротехнике, произвели сильнейшее разрушительное действие. «Война хижинам», захват приусадебных наделов и огородов, лишение крестьян прав на пользование общинным выгоном подрывали две главные опоры домашнего производства — семейный заработок и сельскохозяйственную по характеру среду. Пока домашнее производство дополнялось теми возможностями и удобствами, которые предоставляли работнику собственный огород, клочок земли или право выпаса, его зависимость от денежных доходов не была абсолютной; участок под картофель, неразработанная пустошь, корова или даже осел на общинном выгоне существенно меняли дело, и потому денежный заработок семьи был чем-то вроде страхования по безработице. Рационализация же сельского хозяйства неизбежным образом вырывала работника из привычной почвы и делала его социально незащищенным.

В городских условиях бедствия, порожденные новым бичом нерегулярной занятости, были, разумеется, вполне очевидными. Обычно работа в промышленности считалась бесперспективным занятием. «Рабочие, которые сегодня трудятся полный рабочий день, завтра могут оказаться на улице и будут жить подаянием...» — писал Дэвид Дэвис и добавлял: «Отсутствие гарантий занятости — вот самый ужасный результат последних нововведений». «Когда небольшой город, который кормится работой на мануфактуре, теряет ее, жители его, как будто разбитые параличом, мгновенно превращаются в обузу для прихода, но и это еще не все несчастья», ибо теперь жестоко мстит за себя разделение труда: напрасно безработный мастеровой возвращается в родную деревню, ведь «ткач уже ни к чему не способен приложить свои руки». Фатальная необратимость урбанизации обусловлена этим простым фактом, фактом, который предвидел Адам Смит, когда характеризовал промышленного рабочего как уступающего в интеллектуальном развитии

самому убогому земледельцу, ибо последний, как правило, способен выполнять любую работу. Однако вплоть до того времени, когда Адам Смит опубликовал свое «Богатство народов», рост пауперизма не был устрашающим.

В последующие два десятилетия картина резко изменилась. В своих «Мыслях и отдельных замечаниях о голоде», которые Берк представил в 1795 г. Питту, автор признавал, что, несмотря на общий прогресс, «последние двадцать лет были ужасным периодом». Действительно, в десятилетие после Семилетней войны (1763) заметно выросла безработица, о чем свидетельствовало увеличение общих расходов на выплату пособий беднякам, живущим самостоятельно. Торговый бум сопровождался признаками того, что положение неимущих ухудшается. Подобное наблюдалось впервые, и этому очевидному противоречию суждено было стать для следующего поколения западноевропейцев самым головоломным из всех повторяющихся социальных феноменов. Призрак перенаселения начал тревожить человеческие умы. В своей «Диссертации о законодательстве о бедных» Уильям Таунсенд предупреждал: «Отложив в сторону отвлеченные умствования, укажем на простой факт: в Англии живет сейчас больше людей, чем она в состоянии прокормить, и гораздо больше, чем их можно с пользой занять при нынешней системе законодательства». Адам Смит в 1776 г. размышлял об особенностях спокойного прогресса; Таунсенд, писавший всего лишь десять лет спустя, уже ясно видел признаки надвигающейся бури.

И однако, еще многое должно было случиться, прежде чем (всего лишь через пять лет) такой далекий от политики, преуспевающий и прозаический человек, как шотландский мостостроитель Телфорд, смог горечью воскликнуть, что при обычном порядке управления государством не следует уповать на особые перемены к лучшему и что теперь вся надежда на революцию. Один-единственный экземпляр «Прав человека» Пейна, отправленный Телфордом по почте в родную деревню, вызвал там настоящий бунт. Катализатором общеевропейского брожения был тогда Париж.

По глубокому убеждению Каннинга, Англию спасло от революции законодательство о бедных. Он имел в виду главный образ 1790-е гг. и эпоху войн с Францией. Новая волна огораживаний привела к дальнейшему падению жизненного уровня неимущих слоев деревни. Дж. Г. Кলেখем, апологет этих огораживаний, соглашался, что «районы, где заработная плата наиболее систематически субсидировалась за счет местных налогов, поразительным образом совпадают с теми районами, где недавние огораживания достигли максимального размаха». Иными словами, если бы не пособия, то в обширных районах деревенской Англии неимущие оказались бы на пороге голода. Всюду горели скирды, многие поверили в Rorgun Plot, нередко вспыхивали беспорядки, еще чаще приходили слухи о них. В Гемпшире — и не только там — суды угрожали смертной казнью за любую попытку «силой принудить к снижению цен на товары, будь то на рынках или на дорогах», но при этом мировые того же графства настойчиво требовали срочно ввести всеобщую схему субсидий к заработной плате. Было совершенно очевидно, что время для предупредительных мер уже пришло.

Но почему же из всех возможных был избран именно тот курс, который впоследствии стал казаться самым неосуществимым? Попробуем проанализировать сложившуюся ситуацию и интересы сторон. Английской деревней правили сквайр и приходской священник. Таунсенд удачно резюмировал суть дела, когда сказал, что джентльмен-землевладелец держит мануфактуры «на почтительном расстоянии», ибо, «по его мнению, мануфактурное производство подвержено колебаниям, а значит, выгода, которую может он извлечь из мануфактур, окажется несоразмерной тому финансовому бременю, которым обернутся они для него как для собственника...» Бремя же это заключалось главным образом в двух по видимости противоречивых следствиях мануфактурного производства — росте пауперизма и увеличении заработной платы. Но они противоречат друг другу лишь в том случае, если предполагается существование конкурентного рынка труда, который, разумеется, способствовал бы сокращению безработицы, снижая заработную плату занятых. При отсутствии же подобного рынка — а ведь Акт об оседлости по-прежнему оставался в силе —

пауперизм и заработная плата могли расти параллельно. В этих условиях «социальные издержки» городской безработицы несли главным образом родная деревня потерявшего работу человека, куда он нередко возвращался. Еще более тяжелым бременем ложились на сельскую экономику высокие заработки в городах. Заработная плата в деревне была слишком высокой для фермера и в то же время слишком низкой для работника, который не мог на нее прожить. Представляется очевидным, что сельское хозяйство оказывалось не в состоянии конкурировать с городскими зарплатами. С другой стороны, все были согласны, что Акт об оседлости нужно отменить или, по крайней мере, смягчить, чтобы помочь работникам находить себе работу, а нанимателям — рабочую силу. Эта мера, как полагали, приведет к общему росту производительности труда и попутно ослабит реальное бремя заработной платы. Но ведь если бы заработной плате предоставили возможность «самой искать свой настоящий уровень», то уже существующая проблема разницы в оплате труда городских и сельских рабочих стала бы для деревни еще более острой. Приливы и отливы занятости в промышленности, чередующиеся с приступами безработицы, нанесли бы неслыханной силы удар по всему укладу деревенской жизни. А значит, нужно было построить плотину, способную защитить деревню от наводнения растущих зарплат; требовалось найти средства, которые могли бы спасти сельскую среду от социальных потрясений, укрепить авторитет традиционных властей, предотвратить отток рабочей силы из деревни и поднять оплату труда в сельском хозяйстве, не слишком обременяя фермера. Таким механизмом и стал Закон Спинхемленда. Брошенный в бурный поток промышленной революции, он вполне удовлетворял требованиям ситуации, как ее оценивало самое влиятельное лицо в деревне — эсквайр.

С точки зрения методов проведения в жизнь законодательства о бедных Спинхемленд означал громадный шаг назад. Опыт 250 лет уже доказал, что церковный приход — это слишком мелкая административная единица для практического осуществления закона о бедных, поскольку любые меры в данной области, не предусматривавшие строгого различия между трудоспособными безработными, с одной стороны, и престарелыми, больными и детьми, с другой, оказывались неадекватными. Это все равно, как если бы современный небольшой город попытался своими силами решать проблему страхования по безработице или если бы вопрос подобного страхования не отделялся от попечения о престарелых. А потому лишь в те краткие периоды, когда закон о бедных осуществлялся дифференцированно и на общенациональном уровне, он мог приносить более или менее удовлетворительные результаты. Таким периодом было время с 1590 по 1640 г., при Берли и Лоде, когда корона проводила в жизнь законодательство о бедных через мировых судей и когда параллельно с системой законодательного принуждения к труду началась реализация широкой программы создания рабочих домов. Но Республика (1642–1660) уничтожила то, что стали теперь клеймить как «единоличное правление», а Реставрация — такова уж ирония истории — довершила дело Республики. Акт об оседлости 1662 г. ограничил применение Закона о бедных узкими рамками прихода, и вплоть до третьего десятилетия XVIII в. английское законодательство уделяло проблеме пауперизма крайне недостаточное внимание. Наконец, в 1722 г. начались попытки дифференциации; рабочие дома, в отличие от местных богаделен, должны были создаваться объединениями приходов; в отдельных случаях разрешалась выдача пособий беднякам, живущим самостоятельно, поскольку рабочие дома проводили теперь «проверку нуждаемости». В 1782 г., с принятием Акта Гилберта, был сделан серьезный шаг в сторону расширения соответствующих административных единиц через поощрение организации приходских объединений; приходским властям в это время настоятельно рекомендовали искать работу для трудоспособных в пределах своей округи. Чтобы сократить расходы на помощь трудоспособным, подобную политику нужно было дополнить выдачей пособий беднякам, живущим самостоятельно, и даже дотацией к заработной плате. Хотя учреждение объединений приходов лишь рекомендовалось, а не предписывалось в обязательном порядке, оно означало заметный успех в деле укрупнения административных единиц и дифференциации различных категорий получавших помощь неимущих. Таким образом,

несмотря на недостатки данной системы, Акт Гилберта явился шагом в правильном направлении, и пока пособия живущим вне рабочих домов и дотации к зарплате служили всего лишь дополнением к положительному социальному законодательству, они не должны были стать роковым препятствием для рационального решения проблемы. Спинхемленд положил конец этой реформе. Превратив пособия живущим самостоятельно и дотации к зарплате в обычную норму, он вовсе не продолжил (как это ошибочно утверждалось) линию Акта Гилберта, но как раз полностью исказил его основную тенденцию и фактически уничтожил всю систему елизаветинского законодательства о бедных. Различие между рабочим домом и богадельней, с таким трудом установленное, утратило теперь всякий смысл; отдельные категории пауперов и трудоспособных безработных сливались в общую массу живущих на пособие бедняков. Начался процесс, противоположный дифференциации: рабочие дома превращались в богадельни, сами богадельни стремительно исчезали, и в итоге приход вновь оказался последней и единственной административной единицей в этом подлинном шедевре институционального вырождения.

Благодаря Спинхемленду господство сквайра и священника еще более укрепилось (если это вообще было возможно). «Неразборчивая благотворительность власти», на которую жаловались попечители по призрению бедных, ярче всего проявила себя в форме «торийского социализма», при котором благотворительная власть находилась в руках мировых судей, а основное бремя местных налогов в пользу бедных несли сельские средние слои. Основная масса йоменов давно исчезла в водовороте аграрной революции, а сохранившиеся пожизненные арендаторы и полные собственники участков в глазах местного potentата сливались в один социальный слой с малоземельными крестьянами и коттерами. Он не слишком ясно различал неимущих и тех, кто в данный момент оказался в нужде; с заоблачных высот, с которых взирал на трудную жизнь деревенского люда сквайр, не видно было четкой грани, отделявшей бедность от нищеты, и потому он мог не без причин изумляться, услышав в неурожайный год о том, что какой-то мелкий фермер разорен непомерно высокими налогами в пользу бедных и теперь сам содержится за их счет. Конечно, подобные случаи происходили нечасто, но одна их возможность ясно указывает на то, что многие плательщики этих налогов сами являлись бедными людьми. В целом отношения налогоплательщиков и пауперов были до известной степени аналогичны отношениям имеющих работу и безработных при различных современных системах страхования, которые перекладывают на занятых бремя содержания временно безработных. Однако типичный налогоплательщик эпохи Спинхемленда не имел права на пособие по бедности, а типичный сельскохозяйственный рабочий не платил налога в пользу бедных. В политическом плане Спинхемленд укрепил влияние сквайра в деревне и соответственно ослабил роль сельских средних слоев.

Самой вопиющей аномалией этой системы являлся собственно экономический ее аспект. Ответить на вопрос «кто же платил за Спинхемленд?» было фактически невозможно. На первый взгляд, основное бремя падало, разумеется, на налогоплательщиков. Однако фермеры частично компенсировали свои потери за счет низких зарплат, которые они могли платить своим работникам, что было прямым следствием системы Спинхемленда. Более того, фермеру нередко уменьшали сумму налога, если он соглашался нанять крестьянина, которого в противном случае пришлось бы за счет этого налога содержать. Массу лишних людей (часто не слишком усердных работников), заполнивших в итоге кухню и двор фермера, следовало записать в дебет. Труд тех, кто действительно содержался за счет налогоплательщиков, должен был еще более упасть в цене. Нередко они работали «на подхвате» в разных местах попеременно, получая при этом только на еду, или же продавали свой труд на импровизированных деревенских «биржах труда» за несколько пенсов в день. Какова была истинная цена подобного «контрактного» труда — другой вопрос. В довершение всего беднякам иногда выдавали дотацию к плате за жилье, и бессовестные хозяева наживались, требуя за антисанитарные жилища безбожно высокую плату; деревенские же власти с легкостью закрывали на это глаза, пока налоги с подобных лачуг поступали

исправно. Ясно, что такое переплетение эгоистических интересов совершенно уничтожало всякое понятие о финансовой ответственности, поощряя всевозможные акты мелкой коррупции.

И все же в более широком плане Спинхемленд себя окупал. Он был задуман как система дотаций к заработной плате, официальной целью которой являлась помощь наемным работникам; фактически же он означал субсидирование работодателей за счет общества. Ведь главным следствием системы пособий стало то, что уровень заработной платы опустился ниже прожиточного минимума. В полностью пауперизированных районах фермеры не желали нанимать работников, у которых оставался хотя бы крошечный клочок земли, «поскольку человек, владевший собственностью, не имел права на пособие от прихода, а обычная заработная плата была столь низкой, что, не получая помощи в том или ином виде, семейный человек просуществовать на нее не мог». Поэтому в некоторых районах шанс найти работу был лишь у тех, кто содержался за счет налогоплательщиков; те же, кто пытался обойтись без пособий и зарабатывать на жизнь собственным трудом, едва ли могли где-либо устроиться. Однако в целом по стране значительное большинство работников принадлежало, очевидно, к последней категории, и на каждом из них работодатели как класс получали дополнительную прибыль, так как они пользовались низким уровнем заработной платы и при этом не должны были компенсировать его за счет местных налогов в пользу бедных. В общем столь неэкономичная система не могла не отразиться на производительности труда и не понизить средний уровень заработной платы, а в конечном счете — даже ту самую «шкалу», которую установили мировые, чтобы помочь неимущим. К 1820-м гг. хлебная шкала уже фактически снизилась во многих графствах, а скудные доходы бедняков упали еще сильнее. С 1815 по 1830 г. шкала Спинхемленда, примерно одинаковая по всей стране, уменьшилась почти на треть (это падение также было практически повсеместным). Клепхем сомневается, было ли общее бремя налога в пользу бедных столь тяжелым, как это можно было бы подумать, учитывая довольно резкий взрыв жалоб на сей счет. Сомнения его справедливы, ибо хотя в некоторых местностях рост налога оказался весьма значительным, а кое-где воспринимался, очевидно, как настоящая катастрофа, представляется все же более вероятным, что основным источником бедствий было не само налоговое бремя, а экономическое воздействие дотаций к заработной плате на производительность труда. Южная Англия, пострадавшая сильнее других регионов, выплачивала в виде налога в пользу бедных менее 3,3 % своего дохода — вполне терпимая нагрузка, полагал Клепхем, ведь значительная часть этой суммы «наверняка доставалась неимущим в виде заработной платы». Фактически общая сумма налога в 1830-е гг. неуклонно сокращалась, а его относительное бремя, если учесть рост национального богатства, должно было уменьшаться еще быстрее. В 1818 г. на помощь бедным было фактически израсходовано около 8 млн фунтов; эта сумма непрерывно уменьшалась, пока в 1826 г. не опустилась ниже отметки в 6 млн, тогда как национальный доход в это время стремительно возрастал. Однако Спинхемленд подвергался все более яростной критике и, как нам представляется, потому, что деградация масс начала парализовать жизнь нации и явным образом сдерживать развитие самой промышленности.

Спинхемленд ускорил социальную катастрофу. К мрачным описаниям эпохи раннего капитализма мы привыкли относиться скептически, как к душещипательной, сентиментальной болтовне — и совершенно напрасно. Картина, нарисованная Хэрриет Мартино, пылкой сторонницей Реформы закона о бедных, поразительно совпадает с той, которую дали чартистские пропагандисты, громче всех против этой Реформы протестовавшие. Факты, изложенные в знаменитом Отчете Комиссии по закону о бедных (1834), которая выступала за немедленную отмену Спинхемленда, мог бы использовать Диккенс в своей кампании против политики этой комиссии. Чарльз Кингсли и Фридрих Энгельс, Блейк и Карлейль были правы, полагая, что под действием какой-то страшной катастрофы сам образ человеческий подвергся осквернению. Но еще более впечатляющим, чем взрывы гнева и приступы боли у поэтов и филантропов, было ледяное молчание Мальтуса и Рикардо при виде этих сцен —

тех самых, из которых и родилась их философия мирского проклятия человечества.

В социальных потрясениях, вызванных машиной, как и в тех условиях, в которых человек осужден был теперь ей служить, многое, бесспорно, было неизбежным. Английская деревня на имела того специфического городского окружения, из которого выросли позднейшие промышленные центры континентальной Европы.[36] В новых городах не было давно и прочно сложившегося среднего класса, не существовало крепкого ядра ремесленников и мастеров, почтенных мелких буржуа, способных послужить ассимилирующей средой для неотесанных работяг, которые, привлеченные в город высокими заработками или согнанные со своей земли ловкими огораживателями, тянули лямку на первых капиталистических фабриках. Промышленный город центральной и северо-западной Англии представлял собой культурную пустыню, его трущобы лишь отражали отсутствие какой-либо традиции и чувства гражданского достоинства. Брошенный в эту страшную трясику убожества и нищеты, крестьянин-иммигрант или даже бывший йомен, или копигольдер быстро превращался в какое-то не поддающееся описанию болотное животное. Дело не в том, что ему слишком мало платили или заставляли слишком много работать — хотя и то и другое происходило слишком часто, — дело в том, что физические условия, в которых он теперь существовал, были абсолютно несовместимы с человеческим образом жизни. Так же, вероятно, чувствовали себя негры из африканских лесов, запертые в клетку и задыхающиеся от недостатка воздуха в трюме невольничьего судна. И все же положение не было безнадежным: пока человек сохранял определенный социальный статус, служивший ему опорой и ориентиром, пока перед ним была модель поведения, заданная его родственниками и товарищами, он мог бороться и в конечном счете восстановить свое нравственное достоинство. Но работник мог этого добиться только одним способом — сделавшись членом нового класса. Если же он не в силах был зарабатывать на жизнь собственным трудом, то он являлся не рабочим, а паупером. Спинхемленд доводил его до этого состояния искусственно — это и было в данной системе самым омерзительным. Этот акт сомнительного человеколюбия не позволял работникам конституироваться в качестве самостоятельного экономического класса, лишая их таким образом единственного средства избежать той участи, которая была уготована им на безжалостной мельнице новой экономики.

Спинхемленд действовал как безотказное орудие деморализации масс. Если человеческое общество представляет собой самопроизвольно действующий механизм, цель которого — сохранять лежащие в его основе принципы и нормы поведения, то Спинхемленд был автоматом, разрушавшим фундаментальные нормы всякого человеческого общежития. Он не только поощрял уклонение от работы и симуляцию нетрудоспособности, он сделал пауперизм привлекательным именно в тот критический момент, когда человек должен был напрягать все свои силы, чтобы избежать судьбы нищего. Оказавшись в рабочем доме — обычный финал после того, как он и его семья жили определенное время на пособие, — человек попадал в ловушку, из которой едва уже мог выбраться. Благопристойность и самоуважение, выработанные столетиями размеренной, добропорядочной жизни, быстро улетучивались среди разношерстного сброда обитателей рабочего дома, где человек должен был остерегаться, как бы его не сочли более в материальном смысле благополучным, чем его соседи: в таком случае, вместо того чтобы валять дурака в привычной обстановке, ему пришлось бы отправляться на трудные поиски настоящей работы. «Налог в пользу бедных превратился в желанную добычу для многих... Чтобы урвать свою долю, наглецы и грубияны пытались застрашать начальство; развратники выставляли напоказ незаконнорожденных детей, которых нужно было кормить; бездельники, скрестив на груди руки, спокойно ожидали, пока им ее принесут; невежественные девицы и парни на эти деньги венчались; браконьеры, воры и проститутки вымогали их угрозами; сельские мировые судьи щедро раздавали их ради популярности, а попечители — для того чтобы освободить себя от лишних забот. Вот как расходовались эти средства...» «Вместо действительно необходимого для возделывания его земли числа работников фермера заставляли нанимать их вдвое больше, частично покрывая их заработную плату из местных налогов в пользу

бедных; и эти люди, направленные к нему в наем по принуждению, совершенно не желали подчиняться фермеру, работая или не работая по собственному капризу; они ухудшали качество его земли и лишали его возможности взять лучших работников, которые трудились бы на совесть, чтобы обеспечить себе материальную зависимость. Но и эти лучшие в окружении худших падали духом и опускались, и вот уже крестьянин-плательщик налога после тщетных усилий удержаться на плаву сам шел просить пособие...» — пишет Хэрриет Мартино.[37] Стыдливые либералы позднейшей эпохи предпочитали в своей неблагодарности не вспоминать об этом чересчур откровенном апостоле их веры. Но даже в ее преувеличениях, ставших для них весьма неудобными, точно высвечивается суть проблемы. Хэрриет Мартино сама принадлежала к тому отчаянно боровшемуся с нищетой среднему слою, чья опрятная, благопристойная бедность заставляла его еще острее чувствовать всю нравственную сомнительность Закона о бедных. Она верно поняла и ясно выразила потребность общества в новом классе, классе «независимых работников». Эти люди были героями ее мечтаний, и в уста одного из них, хронически безработного, который отказывается жить на пособие, она вкладывает следующие гордые слова (обращенные к его товарищу, принявшему подобное решение): «На том стою, и никто не смеет меня презирать. Я могу прийти в церковь со своими детьми, указать им на лучшее место, и пусть только кто-нибудь попробует насмеяться над ними из-за того положения, которое занимают они в обществе. Некоторые, быть может, мудрее меня, многие — богаче, но достойнее — нет никого!» Видные представители правящего класса были по-прежнему далеки от понимания того, сколь необходим этот новый класс. Мисс Мартино указывала на «обычное заблуждение аристократов, полагающих, что ниже того класса состоятельных людей, с которыми им приходится иметь дело, есть только общественный класс». Лорд Элдон, сетовала она, как и прочие лица, которым следовало бы в этом разбираться лучше, «включает в одну категорию (низших классов) всех, кто стоит ниже самых богатых банкиров, — фабрикантов, торговцев, ремесленников, рабочих и пауперов...»[38] Но именно от различия между последними двумя разрядами, настойчиво твердила Хэрриет Мартино, и зависит будущее общества. «Если не считать грани, отделяющей государя от подданных, в Англии нет более важного социального различия, чем то, которое существует между независимым работником и паупером, и смешивать их столь же невежественно, сколь безнравственно и неразумно», — писала она. Разумеется, это едва ли можно назвать описанием реальных фактов: всякое различие между указанными слоями при Спинхемленде исчезло. Перед нами, скорее, пророческая формула политики, основанной на предвидении будущего. Такой стала политика Комиссии по реформе закона о бедных, а пророчество относилось к свободному конкурентному рынку труда и к последующему появлению промышленного пролетариата. Отмена Спинхемленда была подлинным днем рождения современного рабочего класса, чей прямой интерес предназначил ему роль защитника всего общества от тех опасностей, которые несла с собой машинная цивилизация. Что бы ни готовило для них будущее, рабочий класс и рыночная экономика вышли на арену истории одновременно. Отвращение к пособиям из общественных средств, недоверие к государственным мерам, чувство собственного достоинства и упорное стремление опираться на собственные силы остались характерными чертами многих поколений британских рабочих.

Отмена Спинхемленда явилась делом нового класса, выступившего на историческую арену, — английской буржуазии. Сквайры не могли выполнить задачу, которую суждено было осуществить последней, а именно превращение общества в рыночную экономику. Десятки старых законов были отменены, десятки новых приняты, прежде чем процесс трансформации набрал ход. Парламентский билль о реформе 1832 г. лишил избирательных прав «гнилые местечки», раз и навсегда предоставив власть в нижней палате третьему сословию. Его первым великим актом реформы и стала ликвидация Спинхемленда. Теперь, когда нам уже ясно, как глубоко патернализм Спинхемленда проник в жизнь английской деревни, мы сможем понять, почему даже самые радикальные сторонники реформы не решались предлагать в качестве переходного периода срок меньший, чем десять или пятнадцать лет. Фактически же этот переход был осуществлен с поразительной стремительностью,

лишающей всякого смысла легенду о «постепенности социальных преобразований в Англии», которую так усердно культивировали в позднейшую эпоху, когда потребовались аргументы против радикальной реформы. Воспоминания о страшном потрясении, вызванном этим событием, еще долго преследовали британский рабочий класс. И однако, успех этой мучительной операции объяснялся твердым убеждением широких слоев населения, не исключая и самих рабочих, в том, что система, которая, казалось бы, материально их поддерживает, на самом деле их грабит и что «право на жизнь» означает для большого неминуемую смерть.

Согласно новому закону, лица, живущие самостоятельно, впредь лишались права на пособие. Закон проводился в жизнь дифференцированно и на общенациональном уровне; в этом отношении он также означал решительный разрыв с прежней практикой. С дотациями к заработной плате было, разумеется, покончено. Восстановили проверку на право приема в работный дом, однако ее реальный смысл изменился. Теперь кандидат должен был сам решать, является ли он настолько нищим, чтобы добровольно искать спасения в убежище, намеренно превращенном в обитель ужаса и омерзения. На работный дом было наложено клеймо позора, пребывание в нем сделали психологической и нравственной пыткой; при этом человек должен был строго выполнять требования гигиены и благопристойности, более того — последние искусно использовались как предлог для новых изощренных мучений. Осуществлять закон предстояло теперь уже не мировым судьям, не приходским попечителям по призрению бедных, но особым чиновникам, действовавшим в территориально более широких рамках и под жестким контролем центра. Самые похороны паупера были превращены в процедуру, посредством которой его товарищи по несчастью отрекались от всякой солидарности с ним, даже перед лицом смерти.

К 1834 г. предпосылки для развития промышленного капитализма уже сложились, и реформа Закона о бедных возвестила его приход. Закон Спинхемленда, служивший для сельской Англии, а следовательно, для трудящихся классов в целом, известной защитой от действия рыночного механизма, в то же время подрывал жизненные силы общества. К моменту его отмены огромные массы трудового населения были похожи скорее на призраков, которые могут явиться в страшном сне, нежели на человеческие существа. Но если рабочие дегуманизировались физически, то имущие классы деградировали морально. Традиционное единство христианского общества уходило в прошлое, состоятельные слои отказывались теперь от всякой ответственности за условия существования своих ближних — в Англии складывались Две Нации. К величайшему изумлению людей мыслящих, неслыханное богатство оказалось неотделимым от неслыханной бедности. Ученые мужи твердили в один голос об открытии новой науки, которая с абсолютной достоверностью устанавливала законы, управляющие человеческим миром.

Именем этих законов из сердец было изгнано всякое сострадание, а стоическая решимость отвергнуть общечеловеческую солидарность ради «наибольшего счастья наибольшего числа людей» была возведена в ранг секулярной религии.

Так, безжалостно и неумолимо, утверждался механизм рынка, настойчиво требовавший, чтобы создание его было завершено: человеческий труд должен был стать товаром. Попытки реакционного патернализма противостоять этой необходимости оказались тщетными, и обезумевший от ужасов Спинхемленда человек бросился искать спасения в утопии рыночной экономики.

Глава 9

Пауперизм и утопия

В основе проблемы бедности лежали два тесно связанных вопроса: пауперизм и политическая экономия. Их воздействие на сознание современного человека мы будем рассматривать по отдельности, однако следует помнить, что они составляли часть одного неделимого целого — открытия общества.

Вопрос «откуда берутся бедные?» вплоть до эпохи Спинхемленда не мог получить удовлетворительного ответа. Тем не менее мыслители XVII в. соглашались в том, что прогресс и пауперизм неотделимы друг от друга. «Больше всего неимущих мы находим не в странах с тощими почвами и не среди диких племен, но как раз в самых цивилизованных государствах и на плодороднейших землях», — писал в 1782 г. Джон М'Фарлейн. Итальянский экономист Джаммария Ортес провозгласил в качестве аксиомы, что богатство нации возрастает вместе с ее населением, а нищета — вместе с ее богатством (1774). И даже Адам Смит в свойственной ему осторожной манере заметил, что отнюдь не в самых богатых странах рабочие получают самую высокую зарплату. А значит, М'Фарлейн не сказал ничего оригинального, когда выразил убеждение в том, что поскольку Англия приблизилась к вершине своего могущества, то в этой стране «число неимущих по-прежнему будет увеличиваться».[39]

С другой стороны, предсказывая застой в коммерции, англичане лишь повторяли распространенное тогда мнение. Если рост экспорта в пятидесятилетие, предшествовавшее 1782 г., оказался поразительным, то колебания в торговле были еще более резкими. Торговля едва начинала оживать после спада, который уменьшил объемы экспорта до уровня чуть ли не полувековой давности. Значительное расширение торговли и очевидный рост благосостояния нации, последовавшие за Семилетней войной, означали в глазах современников лишь то, что Англия использовала свой шанс, как сделали это некогда Португалия, Испания, Голландия и Франция. Период стремительного подъема остался в прошлом, и не было причин думать, что экономические успехи Англии, казавшиеся не более чем следствием удачной войны, представляют собой устойчивую тенденцию. Почти все, как мы убедились, ожидали упадка в торговле.

А между тем совсем близок был экономический взлет, взлет колоссальный, неслыханный, которому суждено было в корне изменить образ жизни не какой-то отдельной нации, но всего человечества, — однако ни государственные мужи, ни экономисты даже не догадывались о его приближении. Что касается политиков, то для них это не имело особого значения, так как в течение жизни еще двух поколений стремительный рост торговли лишь усиливал страдания народных масс. Зато с экономистами данное обстоятельство сыграло злую шутку, ибо все их теоретические конструкции были созданы именно в эти годы вопиющей «аномалии», когда громадный подъем торговли и производства сопровождался ужасающим ростом нищеты, — в самом деле, очевидные факты, на которых основывались принципы Мальтуса, Рикардо и Джеймса Милля, в сущности, лишь отражали парадоксальные тенденции, преобладавшие в этот четко определенный и в высшей степени специфический переходный период.

Сложившаяся ситуация действительно ставила человеческую мысль в тупик. Впервые неимущие появились в Англии в первой половине XVI в.; они обращали на себя внимание как лица, не связанные с манором или с «каким-либо стоящим над ними феодальным владельцем», а их постепенное превращение в класс свободных работников явилось следствием совместного действия двух причин — безжалостного преследования бродяжничества и поощрения домашней промышленности, мощным стимулом для которой был непрерывный рост внешней торговли. На протяжении XVII в. о пауперизме говорили меньше, и даже столь болезненная мера, как Акт об оседлости, не стала предметом публичного обсуждения. Когда же к концу столетия дискуссия возобновилась, «Утопия» Томаса Мора и первые законы о бедных отошли в прошлое более чем на 150 лет, а о закрытии монастырей и о восстании Кета англичане давно уже успели забыть. Отдельные

акты огораживаний и «захватов» имели место в течение всего этого периода, например в царствование Карла I, однако в целом новые классы уже сформировались. Далее, если в середине XVI в. бедняки представляли собой опасность для общества, на которое они обрушивались, подобно вражеским полчищам, то к концу XVII столетия они были всего лишь обузой для налогоплательщиков. С другой стороны, это было уже не прежнее полуфеодальное общество, но общество наполовину коммерциализированное; его типичные представители признавали ценность труда как такового и уже не могли принять ни позицию Средневековья, для которого бедность вообще не являлась особой проблемой, ни взглядов удачливого огораживателя, видевшего в безработном не более чем здорового бездельника. Начиная с этого времени отношение к пауперизму стало отражать общее философское мировоззрение — примерно так же, как делала это прежде проблематика теологическая. Точка зрения на бедность все в большей степени определялась взглядами на человеческое существование в целом. Отсюда — чрезвычайное разнообразие и видимая путаница в позициях по данному вопросу, но отсюда же — тот первостепенный интерес, который представляют они для истории нашей цивилизации.

Первым, кто осознал, что вынужденная безработица является следствием какого-то порока в системе организации труда, были квакеры, подлинные пионеры в исследовании возможностей и перспектив, открытых перед человеком современными условиями его бытия. Движимые твердой верой в предпринимательские методы, они применили к неимущим в собственной среде тот же принцип коллективной «самопомощи», который периодически практиковали и прежде, когда по религиозным соображениям отказывались материально поддерживать власти, внося деньги на содержание в тюрьме своих единоверцев. Лоусон, ревностный квакер, опубликовал специальную «Платформу», или «Воззвание к парламенту по поводу неимущих с целью покончить с нищетой в Англии», где выступил с идеей организации бирж труда — в смысле современных государственных агентств занятости. Это произошло в 1660 г., а десятью годами ранее Генри Робинсон предложил создать «Службу поиска и найма». Но правительство Реставрации предпочитало методы гораздо более простые и незамысловатые; Акт об оседлости 1662 г. по основной своей тенденции был совершенно несовместим с какой-либо рациональной системой бирж труда; требование «оседлости» — термин, впервые использованный в данном акте, — прикреплял рабочую силу к церковному приходу.

После славной революции (1688) философия квакерства выдвинула в лице Джона Беллерса истинного пророка, сумевшего предвосхитить важнейшие социальные идеи далекого будущего. Именно в духовной атмосфере квакерских собраний, где статистические данные нередко использовались для того, чтобы сообщить научную точность религиозной практике помощи неимущим, и родилась у него мысль об учреждении «коллегий труда», посредством которых обреченные на вынужденное безделье бедняки могли бы найти полезное применение своим силам. В основе данного проекта лежали не принципы биржи труда, но весьма отличные от них принципы обмена трудовыми услугами. Первые были связаны с традиционной идеей о поиске работодателя для безработных, тогда как план Беллерса исходил из смелой мысли о том, что работники, пока они способны обмениваться продуктами своего труда непосредственно, вовсе не нуждаются в нанимателе. «Труд бедняков, — рассуждал Беллерс, — это золотые копи для богачей». А если так, то разве не могут неимущие, обратив этот источник богатств на благо себе самим, обеспечить себя средствами к существованию и даже получить некоторый излишек? Требовалось лишь организовать их в особую «коллегию», или корпорацию, где они могли бы объединить свои усилия. Идея эта лежала в основе всех позднейших социалистических воззрений на проблему бедности, какую бы форму они не принимали, — Союзных поселков Оуэна, обменных касс Прудона, Ateliers Nationaux[40] Луи Бла-на, Nationale Warkstatten[41] Лассалья или, если на то пошло, пятилетних планов Сталина. Книга Беллерса содержала in nuce[42] большинство проектов решения данной проблемы, которые были предложены с тех пор, как впервые обнаружились страшные последствия воздействия машин на современное общество. «Благодаря подобным

коллегиям не деньги, но труд станет мерой стоимости всех предметов первой необходимости...», сами же коллегии задумывались как «сообщество представителей всякого рода полезных ремесел, которые будут работать друг для друга, не нуждаясь в пособиях». Характерно сочетание трудовых квитанций, самопомощи и кооперации. Члены коллегии, числом триста человек, должны были, по мысли Беллеса, сами себя содержать, обеспечивая себя самым необходимым посредством совместного труда, «то же, что каждый из них произведет сверх этого уровня, должно быть оплачено». Таким образом, гарантированный минимум средств к жизни предполагалось комбинировать с оплатой труда по его результатам. В некоторых менее значительных опытах самопомощи денежный излишек поступал в распоряжение квакерских собраний и расходовался на нужды других членов религиозной общины.

Излишек этот ожидало блестящее будущее: в идее прибыли, такой новой и привлекательной, эпоха видела истинную панацею. Предложенную Беллерсом общенациональную программу помощи безработным суждено было осуществлять капиталистам, целью которых была прибыль! В том же 1696 г. Джон Кэри учредил Бристольскую корпорацию помощи бедным, но после некоторых первых успехов она оказалась делом неприбыльным, как в конечном счете и все прочие предприятия подобного рода. И однако, проект Беллеса строился на том же принципе, что и предложенная тогда же, в 1696 г., система «труда в счет налога» Джона Локка, согласно которой деревенских бедняков должны были распределять среди местных налогоплательщиков, чтобы они выполняли работу сообразно суммам, вносимым этими последними. Таковы были истоки злосчастной системы «рабочих на подхвате», санкционированной Актом Гилберта. Мысль о том, что пауперизм может приносить доход, прочно овладела человеческими умами.

Ровно полстолетия спустя Иеремия Бентам, самый плодовитый из социальных прожектеров, составил план широкого привлечения неимущих для обслуживания дерево- и металлообрабатывающих машин, придуманных его братом Сэмюэлем, человеком еще более изобретательным. «Бентаму и его брату, организовавшим общее дело, нужен был паровой двигатель, — пишет сэр Лесли Стивен. — И вот им пришло в голову использовать вместо пара заключенных». Было это в 1794 г.; несколькими годами ранее Иеремия Бентам разработал проект «Паноптикума», т. е. такого устройства тюрем, при котором надзор за их обитателями можно было сделать более дешевым и эффективным; теперь же Бентам решил применить его к своей фабрике с заключенными, только место последних должны были занять бедняки. Вскоре частное коммерческое предприятие братьев Бентамов превратилось в универсальный план решения социальной проблемы в целом. Постановление спинхемлендских мировых судей, предложение Уитбрета о минимуме заработной платы и в первую очередь — проект билля о коренной реформе закона о бедных, принадлежавший Питту и распространявшийся неофициальным образом, сделали пауперизм обычным предметом обсуждения в кругах политиков. Бентам, чья критика в адрес билля и привела, как считалось, к его отзыву, выступил теперь в «Анналах» Артура Юнга с собственным тщательно продуманным планом (1797). Его «рабочими домами», спроектированными по типу «Паноптикума» (пять этажей в двенадцати секторах) и предназначенными для использования труда получающих пособие бедняков, должен был руководить центральный совет, учрежденный в столице и организованный по образцу правления Английского банка; акции стоимостью в 5 или 10 фунтов предоставляли каждому члену один голос. В варианте плана, опубликованном несколько лет спустя, читаем: «1. Забота о неимущих по всей Южной Англии поручается единому органу; соответствующие расходы должны покрываться из одного фонда. 2. Указанный орган, представляющий собой акционерное общество, получит название „Национальная Компания Благотворительности“ или что-то в этом роде».[43] Предполагалось создать не менее 250 рабочих домов, рассчитанных примерно на полмиллиона человек. Проект сопровождался обстоятельным анализом положения различных категорий безработных, в котором Бентам более чем на столетие предвосхитил результаты, полученные в данной области другими исследователями. Здесь его ум

классификатора блестяще обнаружил свою восприимчивость к реальности. «Людей без места», уволенных совсем недавно, Бентам отличает от тех, кто не может найти работу по причине «временного застоя»; сезонных рабочих с их «периодическими застоями» — от «вытесненных рабочих рук», «которые стали лишними из-за внедрения машин», или, выражаясь более современными терминами, от технологически безработных; последнюю группу составляют у него «уволенные из армии», еще одна современная категория, ставшая весьма заметной в эпоху Бентама в связи с войной с Францией. И все же самая важная категория — это уже упомянутые выше жертвы «временного застоя», включавшие в себя не только тех ремесленников и мастеров, профессии которых «зависели от моды», но и куда более значительную группу лиц, лишившихся работы «вследствие общего застоя в производстве». План Бентама предполагал не более не менее как попытку выравнивания амплитуды экономических циклов путем грандиозной по своим масштабам коммерциализации безработицы.

В 1819 г. более чем 120-летней давности проект «коллегий труда» Беллерса переиздал Роберт Оуэн. Феномен спорадической бедности превратился к этому времени в страшный поток нищеты. Союзные поселки Оуэна отличались от «коллегий» Беллерса главным образом своими более значительными размерами: 1200 человек и 1200 акров земли в каждом. В состав комитета, призвавшего делать взносы на этот чрезвычайно смелый проект решения проблемы безработицы, вошел сам Давид Рикардо; желающих, однако, не нашлось. А несколько позднее всеобщие насмешки вызвал француз Шарль Фурье, день за днем ожидавший, что к нему, как бы пробудившись от спячки, явится некий неведомый публике компаньон и вложит свои деньги в план создания «фаланстеров» — план, основанный на принципах, весьма сходных с теми, которые поддержал своим авторитетом один из крупнейших специалистов эпохи в области финансов. Но разве фирма Роберта Оуэна в Нью-Ланарке — с Иеремией Бентамом в качестве «неизвестного компаньона» — не прославилась на весь мир благодаря финансовому успеху его филантропических проектов? Устоявшегося взгляда на бедность, как и общепризнанного метода делать деньги на бедняках, тогда еще не существовало.

Оуэн заимствовал у Беллерса идею трудовых квитанций и применил ее в 1832 г. на своей Общенациональной Справедливой Бирже Труда; дело оказалось неудачным. Тесно с ней связанный принцип экономической самодостаточности трудящегося класса — еще одна идея Беллерса — лежал в основе деятельности знаменитого Союза профессий 1832–1834 гг. Этот союз являлся ассоциацией представителей всех ремесел, профессий и занятий (не исключая и мелких хозяев), смутной, не вполне осознанной целью которого было посредством мирной акции превратить их в самостоятельный элемент общества. Кто бы мог тогда разглядеть в этом зародыш всех насильственных действий, которые предпримет Единый Большой Союз в последующие сто лет? Синдикализм и капитализм, социализм и анархизм выдвигали, в сущности, почти тождественные планы решения проблемы бедности. Обменный Банк Прудона, первое практическое начинание философского анархизма, был по сути продуктом оуэновского эксперимента. Маркс, государственный социалист, подверг идеи Прудона яростной критике, и с тех пор уже от государства требовали капитал для подобного рода коллективистских проектов, с которыми вошли в историю Луи Блан и Лассаль.

Экономическая причина того, почему на пауперах невозможно делать деньги, не должна была являться тайной. Почти ста пятьюдесятью годами ранее ее указал Даниэль Дефо, чей памфлет, опубликованный в 1704 г., положил конец дискуссии, начатой Беллерсом и Локком. Дефо утверждал, что если бедняки будут получать пособие, то они не пожелают работать за плату; использование же их для производства товаров в государственных заведениях лишь увеличит безработицу в частном секторе. За его памфлетом, носившем вызывающе-сатанинский заголовок «Милостыня не есть благотворительность, а обеспечение работой неимущих — пагуба для нации», последовали более известные вирши доктора Мандевилля о развращенных пчелах, чье общество процветало только потому, что в нем

всячески поощрялись зависть, тщеславие, порок и мотовство. Но если эксцентрический доктор забавлялся в сущности весьма поверхностными моральными парадоксами, то автор памфлета затронул фундаментальные вопросы новой политической экономии. За пределами «низшей политики», как именовались в XVIII в. вопросы поддержания общественного порядка, опыт его был вскоре забыт, тогда как дешевые парадоксы Мандевиля доставили пищу умам такого калибра, как Беркли, Юм и Смит. В первой половине XVIII в. мобильное богатство, очевидно, по-прежнему представляло собой моральную проблему, бедность же еще не успела стать таковой. Пуританские классы возмущались феодальными формами бьющего в глаза расточительства, которые совесть их осуждала как роскошь и порок, но в то же время им приходилось соглашаться с мандевилевскими пчелами, что ремесло и торговля без этих зол быстро придут в упадок. Впоследствии эти состоятельные купцы избавятся от тягостных сомнений насчет моральности коммерции: новые хлопчатобумажные фабрики удовлетворяли уже не прихоти праздности и тщеславия, но самые прозаические нужды повседневной жизни; возникли утонченные способы тратить деньги, как будто и не столь заметные со стороны, но фактически еще более расточительные, чем прежние. Шутовские выходки Дефо по поводу тех опасностей, которыми чревата помощь неимущим, были недостаточно актуальными, чтобы затронуть совесть, встревоженную моральными ловушками богатства; промышленный переворот еще не наступил. Как бы то ни было, парадоксы Дефо предвещали мучительные дилеммы грядущего: «милостыня не есть благотворительность» — ибо притупление жала голода тормозит производство и таким образом лишь порождает нужду; «работа для бедных — вред для нации» — ибо создание рабочих мест за счет общества приводит к избытку товаров на рынке и к скорейшему разорению частных предпринимателей. На рубеже XVII–XVIII вв., в споре между квакером Джоном Беллерсом и беспринципным журналистом-приспособленцем Даниэлем Дефо, между праведником и циником, были подняты вопросы, на которые более чем двум столетиям мысли и труда, надежд и страданий суждено было искать нелегкие ответы.

Но в эпоху Спинхемленда истинная природа пауперизма по-прежнему оставалась тайной для человеческих умов. Все соглашались, что следует поощрять рост народонаселения, притом как можно более значительный, поскольку могущество государства заключается в людях. Охотно признавали также преимущества дешевой рабочей силы, ведь только при ее наличии могло процветать производство. И потом, кто же, кроме неимущих, захочет стать матросом или согласится идти на войну? Существовали, однако, сомнения, является ли пауперизм как таковой злом. Во всяком случае, разве нельзя занять бедняков для пользы общества с таким же успехом, с каким, что вполне очевидно, используют для своей выгоды частные лица? Убедительных ответов на эти вопросы не было. Даниэль Дефо натолкнулся на истину, которую семьдесят лет спустя постиг — ил и не постиг — Адам Смит; ввиду неполного развития рыночной системы разглядеть ее сущностные слабости было нелегко. Как новые формы богатства, так и новые формы бедности оставались во многом непонятными феноменами.

То, что сама проблема все еще находилась на зачаточной стадии своего развития, доказывалось поразительным сходством проектов ее решения, предложенных столь различными по своим взглядам людьми, как квакер Беллерс, атеист Оуэн и утилитарист Бентам. Социалист Оуэн страстно верил в равенство людей и в их прирожденные права, тогда как Бентам презирал эгалитаризм, высмеивал права человека и явно симпатизировал политике

laissez-faire [44] Однако «параллелограммы» Оуэна так сильно напоминали работные дома Бентама, что если забыть о том, чем Оуэн был обязан Беллерсу, то можно подумать, что в своих проектах он вдохновлялся единственно лишь ими. Все трое были убеждены, что правильно организованный труд безработных должен приносить излишек; филантроп Беллерс рассчитывал использовать его главным образом для облегчения судьбы прочих страдальцев, либерал-утилитарист Бентам намеревался отдавать его акционерам, а

социалист Оуэн — возвращать самим безработным. Но если различия между ними были лишь едва заметными симптомами будущих принципиальных расхождений, то в их общих иллюзиях проявлялось свойственное всем трем полное непонимание сущности пауперизма на ранней стадии развития рыночной экономики. Более важным, чем все различия между ними, был непрерывный рост числа нищих: в 1696 г., когда писал Беллерс, общая сумма налога в пользу бедных составляла около 400 000 фунтов; в 1796 г., когда Бентам обрушился на предложенный Питтом билль, соответствующие сборы уже, вероятно, превысили отметку в 2 млн, а к 1818 г., когда начинал свою деятельность Роберт Оуэн, приблизились к 8 млн. За 120 лет, прошедших между Беллерсом и Оуэном, население Англии, судя по всему, утроилось, тогда как налоги в пользу бедных увеличились в 20 раз. Пауперизм превратился в грозное предзнаменование, но смысл его по-прежнему оставался для всех загадкой.

Глава 10

Политическая экономия и открытие общества

Постигнуть смысл феномена бедности значило подготовить сцену для XIX в. Водоразделом здесь является время около 1780 г. В великой книге Адама Смита проблема помощи нищим еще не ставилась, лишь десять лет спустя она была всерьез затронута Таунсендом в его «Диссертации касательно законодательства о бедных» и затем уже не переставала волновать человеческие умы в продолжение полутора веков.

В самом деле, между Адамом Смитом и Таунсендом духовный климат изменился поразительным образом. Первый завершил собой эпоху, начатую творцами проектов государственного устройства Томасом Мором и Макиавелли, Лютером и Кальвином; второй принадлежал к XIX в., веку, когда Рикардо и Гегель, двигаясь с противоположных сторон, открыли существование общества, которое не подчиняется законам государства, а, наоборот, подчиняет его собственным законам. Правда, Адам Смит трактовал материальное богатство как особую область исследования; проявив в этом замечательное чувство реальности, он стал творцом новой науки — политической экономии. Тем не менее богатство было для Смита лишь одним из аспектов жизни общества, целям которого оно по-прежнему оставалось подчиненным; богатство представляло собой необходимый атрибут народов, борющихся за выживание в истории, и не могло рассматриваться в отрыве от них. По его мнению, один ряд фактов, влияющих на богатство народов, определяется общим состоянием страны — ее упадком, подъемом или отсутствием перемен; другой обусловлен первостепенной важностью интересов безопасности и обороны государства, а также необходимостью поддержания равновесия сил; еще один ряд условий порождается политикой правительства — соответственно тому, поощряет ли оно развитие города или деревни, промышленности или сельского хозяйства. А следовательно, ставить вопрос о богатстве (под которым сам он, между прочим, подразумевал материальное благополучие «значительного числа людей») Смит считал возможным лишь в рамках конкретной, заранее данной политической системы. В его книге нет и намек на то, что экономические интересы капиталистов должны диктовать законы обществу, а сами капиталисты являются светскими толкователями воли Промысла Божьего, управляющего миром экономики как особой, самостоятельной реальностью. У Смита экономическая сфера еще не подчинена своим собственным законам, которые давали бы человечеству универсальное мерило добра и зла.

В богатстве народов Смит хотел видеть функцию народной жизни в целом, жизни материальной и духовной; вот почему его взгляды на морскую политику превосходно гармонировали с Навигационными актами Кромвеля, а его представления о человеческом обществе были вполне созвучны теории естественных прав Джона Локка. По мнению Смита,

ничто не свидетельствует о наличии внутри общества некоей особой экономической сферы, которая могла бы стать источником моральных законов и политических обязательств. Эгоизм лишь побуждает нас делать то, что фактически приносит пользу и другим людям, — подобно тому, как мясник, заботясь о себе, в конечном счете обеспечивает обедом нас. Мышление Смита проникнуто глубоким оптимизмом, ибо законы, коим подвластна экономическая часть мира, как и законы, управляющие всем остальным универсумом, пребывают в полном согласии с предназначением человека. Не существует «невидимой руки», которая именем эгоизма толкала бы нас к нравам каннибалов. Достоинство человека — есть достоинство духовного, нравственного существа, и в этом своем качестве человек является членом гражданского порядка — семьи, государства, наконец, «великого союза человечества». Разум и человеколюбие полагают пределы эгоизму, корысть и соперничество должны перед ними отступить. Естественно то, что находится в согласии с принципами, воплощенными в человеческом духе, а естественным состоянием является такое, которое соответствует этим принципам. «Природу» в физическом смысле слова Смит сознательно исключает из анализа проблемы богатства. «Какими бы ни были почва, климат или величина территории любого государства, изобилие или скудость того, что поступает в распоряжение нации в течение года, должны зависеть от двух обстоятельств», а именно от качества труда и соотношения между полезными и праздными членами общества. Значение здесь имеют не природные, но единственно лишь человеческие факторы. В самом начале своей книги Смит вполне сознательно исключил из рассмотрения факторы биологический и географический. Предостережением для него послужили ошибки физиократов: особое пристрастие последних в пользу сельского хозяйства заставило их смешивать физическую природу с человеческой природой и утверждать, что единственный по-настоящему производительной силой является земля. Образу мыслей Смита подобное возвеличивание Природы было совершенно чуждым. Политическая экономия должна быть человеческой наукой и заниматься ей следует тем, что естественно для человека, а не для Природы.

Смысловым стержнем «Диссертации» Таунсенда, опубликованной десять лет спустя, была задача о козах и собаках; действие происходит на необитаемом острове в Тихом океане, где-то у берегов Чили. Чтобы обеспечить себя мясом на случай будущих посещений, Хуан Фернандес привез сюда несколько коз. Козы, размножаясь с библейской плодовитостью, превратились в удобный запас провизии для пиратов, главным образом английских, которые причиняли немало беспокойств испанской торговле. Чтобы истребить коз, испанские власти высадили на остров кобеля и суку. Собаки со временем также сильно размножились и, питаясь козами, уменьшили количество последних. «После чего, — пишет Таунсенд, — установился новый тип равновесия. Слабейшие особи обоих видов первыми заплатили долг природе; самые сильные и активные выжили». И добавляет: «Численность человеческого рода регулируется количеством пищи».

Заметим, что анализ источников^[45] не позволяет говорить о достоверности этой истории. Хуан Фернандес действительно посадил на остров коз, однако вместо легендарных собак мы находим в описании Уильяма Фаннелла красивых кошек, и у нас нет сведений о том, чтобы эти кошки или собаки размножились; к тому же козы обитали среди неприступных скал, тогда как берега — и в этом согласны все источники — кишели жирными тюленями, которые должны были бы стать для собак добычей гораздо более заманчивой. Впрочем, описанная здесь парадигма не нуждается в эмпирическом подтверждении. Отсутствие достоверности, способной удовлетворить дотошного антиквария, никоим образом не умаляет тот факт, что данный источник стимулировал мысль Мальтуса и Дарвина: Мальтус познакомился с ним через Кондорсе, а Дарвин — у Мальтуса. Однако ни теория естественного отбора Дарвина, ни законы народонаселения Мальтуса не смогли бы оказать сколько-нибудь заметного влияния на современное общество, если бы не нижеследующие принципы, которые Таунсенд вывел из истории с козами и собаками и желал применить к реформе законодательства о бедных: «Голод укрощает самых свирепых животных, а самых упрямых людей он учит благопристойности и вежливости, покорности и послушанию. Только голод, как правило,

может заставить их [бедняков] работать, однако в законах наших сказано, что они никогда не должны голодать. Правда, в тех же законах говорится, что их следует принуждать к труду. Но ведь законодательное принуждение связано с немалыми хлопотами и неудобствами, с насилием и шумом, оно вызывает чувство злобы и враждебности и совершенно не способно обеспечить добросовестный и качественный труд, тогда как голод оказывает свое воздействие мирно, беззвучно и безостановочно; мало того, будучи наиболее естественным мотивом к усердию и прилежанию, он побуждает человека напрягать все свои силы, когда же он, голод, утоляется от добровольных щедрот другого, закладываются прочные и надежные основания благодарности и взаимного расположения. Раба должно понукать к труду, но свободному человеку следует предоставить возможность действовать по собственному разумению; следует в полной мере гарантировать ему пользование тем имуществом, будь оно велико или мало, которым он владеет, и наказывать его за посягательства на собственность ближнего».

Это был новый отправной пункт для политической науки. Подойдя к человеческому обществу с животной стороны, Таунсенд обошел, казалось бы, неизбежный вопрос об истоках и основах правления и таким образом ввел в анализ человеческого мира понятие о новом типе закона — концепцию законов Природы. Гоббсово пристрастие к геометрии, одержимость Юма и Гартли, Кенэ и Гельвеция поиском «ньютоновских» законов в обществе сводились по существу к простой метафоре: они горели желанием открыть универсальный закон, столь же универсальный для общества, сколь универсальной является сила тяготения для Природы, однако мыслили его как закон по характеру своему человеческий. Сказанное относится, например, к ментальной силе, какой был страх у Гоббса, к феномену ассоциации в психологии Гартли, к действию эгоизма у Кенэ или к стремлению к полезности у Гельвеция. И в этом не следует видеть чопорность или чистоплутьство: Кенэ, подобно Платону, смотрел порой на род человеческий глазами скотовода, думающего о добром приплоде; а Адаму Смиту, конечно же, осталась небезызвестной связь между реальной заработной платой и продолжительным избытком рабочих рук. Аристотель, однако, учил, что только боги или звери способны жить вне общества, человек же не является ни тем ни другим. Для христианского сознания пропасть между человеком и животным также имела принципиальный смысл, и никакие экскурсы в область физиологии не могли поколебать убежденность теологов в духовных первоосновах человеческого общежития. Если же, согласно Гоббсу, «человек человеку волк», так это по той причине, что вне общества люди ведут себя как волки, а вовсе не из-за наличия каких-то биологических факторов, общих для волков и людей. В конечном счете это объяснялось тем, что тогда еще никто не мог вообразить такое человеческое сообщество, которое не предполагало бы закон и государственную власть. Однако на острове Хуана Фернандеса не было ни закона, ни правительства, и тем не менее равновесие между козами и собаками поддерживалось. Баланс этот сохранялся вследствие того, что собакам нелегко было охотиться за козами, искавшими спасения в скалистой части острова, а козы, уходя от собак в безопасные места, испытывали там большие неудобства. Чтобы поддерживать это равновесие, никакого правительства не требовалось; оно восстанавливалось муками голода, с одной стороны, и недостатком пищи — с другой. Гоббс доказывал необходимость деспотической власти, исходя из того, что человек подобен зверю; Таунсенд же утверждал, что человек на самом деле есть зверь и именно по этой причине правительственное вмешательство требуется ему лишь в минимальной степени. С этой неведомой прежде точки зрения свободное общество можно было рассматривать как состоящее из двух видов — собственников и работников. Число последних ограничивалось количеством пищи, и пока защита собственности надежно обеспечивалась, можно было не сомневаться, что бич голода принудит их к труду. Судьи здесь были попросту лишними, ибо голод учит порядку и дисциплине лучше всякого судьи. Апеллировать к последнему, как язвительно заметил Таунсенд, значило бы «обращаться к более слабой власти, имея возможность воззвать к более сильной».

Эти новые принципы превосходно соответствовали формировавшемуся тогда обществу. С

середины XVIII в. шел процесс становления национальных рынков, цены на хлеб были уже не местными, а региональными, что предполагало почти всеобщее использование денег и широкое развитие товарного производства. Рыночные цены и доходы, в т. ч. рента и заработная плата, отличались высокой степенью стабильности. Физиократы первыми обратили внимание на эти закономерности, которые они, впрочем, даже гипотетически не могли вписать в какой-либо целостный контекст, поскольку во Франции по-прежнему преобладали доходы феодального типа, а труд нередко носил полукрепостной характер, так что ни рента, ни заработная плата рынком не определялись. Зато английская деревня в эпоху Адама Смита уже стала неотъемлемой частью коммерциализированного общества; рента, которую получал лендлорд, как и заработная плата сельскохозяйственного рабочего, обнаруживали явную зависимость от цен. Лишь в отдельных случаях цены и заработная плата регулировались властями. И однако, при странном новом порядке, несмотря на исчезновение установленных законом привилегий и ограничений в правах, прежняя иерархия между старыми классами общества в целом сохранялась. Хотя никакой закон не заставлял батрака работать на фермера, а фермера — обеспечивать достаток лендлорду, фермеры и батраки действовали так, как будто подобное принуждение существовало. Какой закон предписывал рабочему повиноваться хозяину, с которым его вовсе не связывали юридические узы? Какая сила полагала непреходимую грань между классами общества, как будто они принадлежали к различным видам человеческих существ? Наконец, что поддерживало порядок и равновесие в этом человеческом коллективе, который не требовал, более того, не желал терпеть какого-либо вмешательства со стороны государственной власти?

Мораль, заключенная в истории с козами и собаками, давала, как можно было подумать, убедительный ответ на эти вопросы. В качестве объективно данного фундамента общества, отнюдь не политического по своему характеру, предстала биологическая природа человека. А потому экономисты быстро отреклись от гуманистических принципов Адама Смита и прочно усвоили поучения Таунсенда. Закон народонаселения Мальтуса и закон убывающей отдачи в трактовке Рикардо превратили плодородие почвы и плодovitость человека в важнейшие элементы новооткрытой реальности. Контурь экономического общества — как феномена, отличного от политического государства, — выступили с полной ясностью.

Конкретные обстоятельства, при которых существование этого человеческого целого — сложного общества — стало очевидным, имели величайшее значение для последующей истории мысли XIX в. Поскольку формирующееся общество представляло собой не что иное, как рыночную систему, человеческому обществу грозила теперь опасность получить новый фундамент, абсолютно чуждый духовному миропорядку, частью которого государство было до сих пор. По видимости неразрешимая проблема пауперизма вынуждала Мальтуса и Рикардо принять позицию впавшего в натурализм Таунсенда.

Берк подошел к вопросу о пауперизме с точки зрения интересов общественной безопасности, причем сделал это прямо и недвусмысленно. Вест-индские порядки продемонстрировали, сколь рискованно держать большие массы рабов, совершенно не обеспечив безопасность белых хозяев, в особенности потому, что неграм в Вест-Индии нередко позволялось носить оружие. Подобные опасения, полагал Берк, внушает также рост числа безработных в метрополии, поскольку правительство не имеет в своем распоряжении полицейских сил. Убежденный защитник патриархальных традиций, Берк, однако, был страстным приверженцем экономического либерализма, в котором усматривал путь к решению жгучей административной проблемы пауперизма. Местные власти были только рады воспользоваться неожиданно возникшим на хлопкопрядильных фабриках спросом на детей бедняков, обучение которых ремеслу являлось обязанностью прихода. Многие сотни несовершеннолетних пауперов были отданы в работу их хозяевам, часто в отдаленные районы страны. Вообще пауперы возбуждали у новых промышленных городов здоровый аппетит; фабриканты готовы были даже платить за использование неимущих. Взрослых

предоставляли в распоряжение любого нанимателя, который соглашался взять на себя их прокорм точно так же, как могли бы их распределять по очереди между фермерами прихода при той или иной форме «работы на подхвате». Сдача бедняков в аренду обходилась дешевле, чем содержание «тюрем для невинных», как называли порой работные дома. С точки зрения административной это означало, что на смену правительственному и приходскому принуждению к труду пришла «более твердая и более педантично осуществляемая власть работодателя».[46]

Здесь, разумеется, замешаны были государственные интересы. Зачем превращать неимущих в обузу для общества и взваливать бремя их содержания на приход, если последний вполне способен выполнить свои обязательства, сдавая трудоспособных бедняков в аренду капиталистическим предпринимателям, которым так не терпится заполнить свои фабрики пауперами, что они готовы даже платить, чтобы получить их в свое распоряжение? Разве не говорит это с полной ясностью о существовании более дешевого способа заставить бедняка зарабатывать себе на кусок хлеба, нежели приходская система? Искомое решение заключалось в отмене елизаветинского законодательства без замены его каким-либо иным. Никакого установления расценок заработной платы властями, никаких пособий трудоспособным — но также никакого минимума заработной платы, никаких гарантий «права на жизнь». Рабочая сила есть товар, который сам должен найти свою цену на рынке, а значит, и обращаться с ним нужно соответственно. Законы коммерции — это законы природы, а стало быть, — законы Бога. Разве не означало это апелляцию к более сильной власти вместо власти более слабой, к всемогуществу мук голода, а не к авторитету мирового судьи? Политики и чиновники видели в

laissez-faire лишь возможность обеспечить правопорядок с наименьшей затратой усилий и средств. Пусть рынок возьмет на себя заботу о неимущих, и все устроится само собой — в этом пункте рационалист Бентам соглашался с традиционалистом Берком. Принцип калькуляции страданий и удовольствий запрещал причинять такие страдания, которых можно было бы избежать. А следовательно, если поставленную задачу способен выполнить голод, то других карательных санкций уже не требуется. На вопрос «Что может сделать закон, чтобы обеспечить людям средства к существованию?» Бентам отвечал: «Непосредственным образом — ничего».[47] Бедность представляла собой природу, продолжающую существовать в обществе, и ее физической санкцией был голод. «Силы физической санкции вполне достаточно, а потому прибегать к санкции политической было бы излишним».[48] Все, что нужно, — это научный и экономически целесообразный подход к проблеме бедности.[49] Предложенный Питтом проект Закона о бедных, который означал бы придание статуса закона практике Спинхемленда, поскольку в нем допускались дотации к заработной плате и пособия неимущим, живущим самостоятельно, вызвал энергичный отпор со стороны Бентама. Однако сам Бентам в отличие от своих последователей не был в ту пору ни демократом, ни твердокаменным приверженцем экономического либерализма. Его «работные дома» представляли собой кошмарную систему администрации в утилитаристском духе, продуманную до последних мелочей и подкрепленную тончайшими изысками научно поставленного управления. Он утверждал, что работные дома будут нужны всегда, поскольку совершенно отказаться от всякой заботы о судьбе неимущих общество не может. Бедность, полагал Бентам, есть неотъемлемая часть и неперемное условие изобилия. «В высшей степени вероятно, — писал он, — что даже в обществе, достигшем величайшего материального процветания, огромное большинство граждан едва ли будут иметь многим более того, что можно заработать за день, а значит, всегда будет находиться на грани нищеты...» А потому он рекомендовал «ввести постоянный налог в пользу неимущих», хотя, «рассуждая теоретически», добавлял он с сожалением, подобная политика «уменьшает нужду и таким образом наносит ущерб промышленности, ведь с точки зрения утилитаризма задача правительства заключалась как раз в том, чтобы увеличивать нужду, делая эффективной физическую санкцию голода».[50]

Готовность согласиться с полунищим существованием большинства граждан как с ценой, которую следует заплатить за величайшее процветание общества, в чисто человеческом плане могла означать весьма несходные позиции. Таунсенд, к примеру, восстанавливал свой душевный покой с помощью предрассудков и безудержных излияний чувствительности. Печальная судьба бедняков есть закон природы, ибо без этого закона никто не стал бы выполнять работу грязную, позорную и унижительную. И потом, что будет с нашим отечеством, вопрошал Таунсенд, если мы не сможем рассчитывать на неимущих? «Ибо что же еще, кроме нищеты и отчаяния, способно заставить низшие классы общества смело идти навстречу всем ужасам, которые ожидают их в бурном море или на поле брани?» Впрочем, рядом с всплесками этого, несколько сурового патриотизма находилось место и для более нежных чувств. Пособия неимущим следует, конечно же, немедленно отменить. Ведь законы о бедных «исходят из принципов, граничащих с откровенным абсурдом, так как они прямо ставят своей целью то, что по самой природе вещей и в силу устройства нашего мира является абсолютно неосуществимым». Но стоит лишь предоставить неимущих милосердию людей состоятельных, и перед нами, вне всякого сомнения, останется «одна-единственная» задача — сдерживать порывы неумеренного человеколюбия последних. Разве чувство искреннего сострадания не в тысячу раз благороднее тех, которые порождают в нас обязанности, установленные железной волей закона? «Что на свете может быть прекраснее тихих радостей удовлетворенного человеколюбия?» — восклицал Таунсенд, противопоставляя им холодное бездушие «приходского выплатного пункта», коему неведомы эти волнующие сцены, когда «наградой за нежданные милости и благодеяния служат безыскусные знаки нелицемерной благодарности...» «Если беднякам придется искать дружбы богачей, богачи всегда будут полны желания помочь беднякам в их нужде...» Всякий, кому довелось прочесть это трогательное описание внутренней жизни Двух Наций, уже не усомнится в том, что именно остров коз и собак стал для викторианской Англии образцом в «воспитании чувств».

Эдмунд Берк был человеком другого калибра. Там, где люди, подобные Таунсенду, делали мелкие ошибки, он ошибался по-крупному. Жестокие факты гений Берка возвел в ранг высокой трагедии, окружив сентиментальность мистическим ореолом. «Изображая свое сострадание к „несчастливым беднякам“, иначе говоря, к тем, кто должен работать, чтобы мир мог существовать, мы шутим серьезными вещами — уделом человеческим». Конечно, это было лучше, чем грубое бессердечие, пустые причитания или слезливые восторги ханжеского «сочувствия», однако спокойному мужеству этой реалистической позиции вредило то едва уловимое самодовольство, с которым описывал он мишурный блеск аристократии. В итоге он «переиродил самого Ирода», но не заметил благоприятные предпосылки для своевременной реформы. Вполне вероятно, что, доживи Берк до 1832 г., и Билль о парламентской реформе, положивший конец старому режиму, прошел бы лишь ценой кровавой и совершенно необязательной революции. На это, впрочем, Берк мог бы возразить: коль скоро законы политической экономии обрекают народные массы на тяжелый труд и нищету, то что же такое идея равенства, как не коварная приманка, толкающая человечества в бездну самоуничтожения?

Бентаму не были свойственны ни слащавая чувствительность самодовольной сытости, отличавшая людей, вроде Таунсенда, ни чересчур поспешный историцизм Берка. Напротив, этому человеку, твердо верившему в разум и реформу, вновь открытое царство социальных законов показалось землей без владельца, желанным полем для утилитаристских экспериментов. Подобно Берку, он не хотел снимать шляпу перед зоологическим детерминизмом и решительно отвергал примат экономики над собственно политикой. Автор «Опыта о ростовщичестве» и «Руководства по политической экономии», Бентам, однако, оставался дилетантом в этой науке, не сумев даже внести в нее единственный важный вклад, который можно было бы ожидать от утилитаризма, а именно открытие того, что стоимость определяется полезностью. Бентам же, действуя под влиянием ассоцианистской психологии, дал полную волю своему воистину безграничному воображению в области социальной

инженерии.

Laissez-faire был для него лишь одним из инструментов социальной механики. Важнейшим интеллектуальным фактором промышленной революции являлись не технические изобретения, а социальные новшества, а свой решающий вклад в развитие техники естественные науки внесли лишь по прошествии целого столетия, когда промышленная революция давно уже завершилась. Для человека дела — строителя мостов или каналов, конструктора двигателей или машин — знание общих законов природы оставалось совершенно бесполезным до тех пор, пока не возникли новые прикладные разделы химии и механики. Телфорд, основатель и бессменный президент Общества гражданских инженеров, отказывал в приеме в эту организацию тем, кто прежде изучал физику, а сам он, если верить сэру Дэвиду Брустеру, так и не удосужился усвоить азы геометрии. Триумфы естествознания были в полном смысле слова теоретическими и не могли сравниться по своему практическому значению с тогдашними достижениями общественных наук. Именно этим последним обязана была наука своим особым престижем чего-то в корне отличного от традиции и рутины, и, каким бы невероятным ни казалось нам это ныне, авторитет естественных наук много выиграл благодаря их связи с науками о человеке. Открытие политической экономии стало поразительным откровением, которое чрезвычайно ускорило трансформацию общества и создание рыночной системы, тогда как важнейшие машины были изобретением необразованных ремесленников, порой едва умевших читать и писать. А потому духовными родителями технической революции, подчинившей человечеству силы природы, было вполне справедливо и уместно считать не естественные науки, а науки общественные.

Сам Бентам был убежден, что ему удалось открыть новую общественную науку — науку о нравственности и законодательстве. Фундаментом ее должен был служить принцип полезности, допускавший точный подсчет с помощью методов ассоцианистской психологии. Наука — именно потому, что эффективной она стала в сфере дел человеческих, — в Англии XVIII в. неизменно означала практическое умение, основанное на эмпирических знаниях. Потребность в такого рода прагматическом подходе была воистину громадной. Поскольку соответствующей статистики не существовало, часто невозможно было сказать, увеличивается или уменьшается население, какова тенденция внешнеторгового баланса или какой класс находится на подъеме. Нередко оставалось лишь строить предположения о том, растет или оскудевает материальное богатство страны, откуда берутся неимущие, какова ситуация в сфере кредита, банковского дела или доходов. Эмпирический — вместо чисто умозрительного или исторического — подход к подобным вопросам и представлял собой то, что прежде всего подразумевалось под «наукой», а поскольку практические интересы стояли, естественно, на первом месте, то именно от науки требовали рекомендаций на предмет того, как следует регулировать и упорядочивать обширную область новых явлений. Мы видели, как упорно ломали голову пуритане над загадочным феноменом бедности; как искусно экспериментировали они с различными видами самопомощи; как идея прибыли была провозглашена панацеей от самых разнородных болезней; как никто не мог ответить, является ли пауперизм добрым или дурным предзнаменованием; как озадачены были администраторы организованных «по-научному» рабочих домов, обнаружив свою неспособность делать деньги на неимущих; как Оуэн составил себе состояние, управляя фабриками на принципах сознательной филантропии. А ряд других экспериментов, предусматривавших, казалось бы, те же методы усовершенствованной самопомощи, потерпел жалкий провал, повергнув их человеколюбивых авторов в крайнее недоумение. И если бы мы, не ограничиваясь проблемой пауперизма, включили в наш обзор кредит, звонкую монету, монополии, сбережения, страхование, инвестиции или даже тюрьмы, образование и лотереи, то по каждому из этих пунктов легко смогли бы привести ничуть не меньше примеров оригинальных замыслов и смелых планов.

Примерно со смертью Бентама[51] период этот подходит к концу; начиная с 1840-х гг.

новаторы в бизнесе это уже не те, кто считает себя первооткрывателями новых методов и сфер использования универсальных принципов взаимности, доверия, риска и прочих аспектов человеческой предприимчивости, а простые организаторы конкретных коммерческих предприятий. Бизнесмены отныне полагают, что им превосходно известно, какие формы должна принимать их деятельность; прежде чем основать банк, им редко приходит в голову заниматься исследованием природы денег. Социальные инженеры встречаются теперь, как правило, лишь среди чудаков и мошенников и к тому же часто попадают за решетку. Бурный поток новых теорий организации промышленности и финансов, который от Петерсона и Джона Лоу до Перейра наводнял биржи всевозможными проектами религиозных, социальных и академических сектантов, пересох теперь до размеров жалкого ручейка. В глазах тех, кто был всецело погружен в рутину коммерции, аналитические тонкости не имели большой цены. Исследование общества — так, по крайней мере, считалось — уже завершено; никаких белых пятен на карте человеческой природы больше нет. Появление людей, подобных Бентаму, стало невозможным на целое столетие. Как только рыночная система организации хозяйственной жизни достигла преобладания, все прочие институциональные сферы были подчинены этой модели и дух социального конструирования превратился в бесприютного скитальца.

«Паноптикум» Бентама представлял собой не просто «мельницу, призванную перемалывать мерзавцев в честных людей, а лентяев — в усердных работников»[52], он должен был также приносить дивиденды, подобно Английскому банку. Бентам выступал со столь несходными проектами, как, например, усовершенствованная патентная система; компании с ограниченной ответственностью; переписи населения, проводимые раз в десять лет; создание министерства здравоохранения; холодильные установки для овощей и фруктов; утроенные на новых технических принципах военные заводы с рабочими из заключенных или, в качестве альтернативы, из получающих пособие бедняков; «хрестоматийные дневные школы» для обучения утилитаризму верхушки среднего класса; всеобщий реестр недвижимости; государственная система бухгалтерского учета; реформы народного образования; единообразная система регистрации граждан; освобождение от ростовщичества; отказ от колоний; внедрение контрацептивов для сдерживания роста численности бедняков; учреждение акционерного общества для соединения Тихого океана с Атлантическим и многие другие. Некоторые из этих планов заключали в себе прямо-таки уйму мелких улучшений — например, проект «рабочих домов», содержащий множество новых идей по части нравственного совершенствования человека и более выгодной его эксплуатации, идей, основанных на достижениях ассоцианистской психологии. Если Таунсенд и Берк связывали принцип

laissez-faire с законодательным квиетизмом, то Бентам вовсе не считал его препятствием для нескончаемого потока реформ.

Прежде чем обращаться к ответу, который в 1798 г. Мальтус дал Годвину и с которого, собственно, начинается классическая политэкономия, стоит вспомнить эпоху. «Политическая справедливость» Годвина была задумана как резкая отповедь на «Размышления о Французской революции» Берка (1790) и вышла незадолго до того, как с приостановкой действия закона о

habeas corpus (1794) и с началом преследования демократических «корреспондентских обществ» в стране поднялась волна репрессий. К этому времени Англия уже вступила в войну с Францией, а режим террора успел превратить слово «демократия» в синоним социальной революции. Однако английское демократическое движение, началом которого стала проповедь «Старое еврейство» д-ра Прайса (1789), а литературным пиком — «Права человека» Пейна (1791), не выходило за рамки политической сферы. Недовольство трудящейся бедноты не нашло в нем своего отклика, и в тех самых памфлетах, негодующие авторы которых громко требовали всеобщего избирательного права и ежегодных парламентов, вопрос законодательства о бедных упоминался лишь мимоходом. Тем не

менее именно в области законодательства о бедных нанесли сквайры главный контрудар: им стал Спинхемленд. Приход окружил себя искусственным болотом, под защитой которого он смог пережить Ватерлоо на двадцать лет. Но если отрицательные последствия панических актов репрессивной политики 1790-х г., не сопровождайся они ничем иным, можно было бы быстро преодолеть, то процесс социальной деградации, порожденный Спинхемлендом, наложил на страну неизгладимый отпечаток. Спинхемленд продлил господство сквайров еще на сорок лет; ценой же, которую пришлось за это заплатить, стала нравственная сила и энергия простого народа. П. Л. Манту пишет: «Жалуясь на то, что бремя налога в пользу бедных становится все более тяжелым, имущие классы не учитывали, что он является по сути гарантией от революции, тогда как рабочий класс, соглашаясь принимать выделяемое ему жалкое вспомоществование, не понимал, что пособия эти формируются отчасти за счет уменьшения его законных заработков. Ибо система „пособий“ неизбежным образом удерживала заработную плату на самом низком уровне или даже заставляла ее опускаться ниже предела, соответствовавшего минимальным потребностям лиц наемного труда. Фермер и фабрикант возлагали свои надежды на приход: именно он должен был компенсировать разницу между суммой, которую они платили рабочим, и суммой, на которую рабочие могли бы просуществовать. В самом деле, зачем же им было нести расходы, которые так легко было переложить на массу налогоплательщиков? С другой стороны, те, кому выплачивались приходские пособия, согласны были работать за меньшую плату и таким образом делали невозможной конкуренцию со стороны лиц, никакой помощи от прихода не получавших. В итоге получился парадоксальный результат: так называемый „налог в пользу бедных“ означал экономию для работодателей и прямой ущерб для усердного рабочего, ничего не ждавшего от общественной благотворительности. Так безжалостная игра различных интересов превратила филантропический закон в железную цепь».[53]

Полагаем, что именно эта цепь и легла в основу нового закона заработной платы и народонаселения. Сам Мальтус, подобно Берку и Бентаму, решительно выступал против Спинхемленда и ратовал за полную отмену законодательства о бедных. Никто из них не предвидел того, что Спинхемленд заставит заработную плату рабочего упасть до уровня прожиточного минимума и даже ниже; напротив, они ожидали, что он приведет к ее росту или, по крайней мере, будет искусственно удерживать на прежнем уровне — что вполне могло бы произойти, если бы не принятие законов против рабочих союзов. Это ошибочное предположение помогает понять, почему низкий уровень заработной платы в деревне они не пытались объяснить влиянием Спинхемленда, который и был истинной причиной данного феномена, но рассматривали его как неопровержимое доказательство действия так называемого железного закона заработной платы. К этому фундаментальному принципу новой экономической науки мы и должны теперь обратиться.

Натурализм Таунсенда не был, разумеется, единственным возможным фундаментом для новой политической экономии. О существовании экономического общества ясно свидетельствовали закономерности цен и стабильность доходов, от этих цен зависевших, а значит, в основу экономического закона можно было положить непосредственно цены. Искать же его первоисточники в натурализме ортодоксальных экономистов побуждала по-другому необъяснимая нищета огромного большинства производителей, которую, как нам известно теперь, было совершенно невозможно вывести логически из законов прежнего рынка. Но факты — как воспринимались они современниками — говорили примерно следующее: в прошлом трудящиеся классы жили, как правило, на грани нужды (по крайней мере, если принять в расчет изменяющиеся нормы обычного потребления); со времени появления машин их доходы никогда не поднимались выше прожиточного минимума; теперь же, когда экономическое общество складывается окончательно, бесспорным фактом является то, что за протекшие десятилетия уровень материального благосостояния трудящейся бедноты ни на йоту не вырос, а, может быть, даже упал еще ниже.

Если когда-либо громадное количество, казалось бы, неопровержимых фактов толкало

человеческую мысль в одном направлении, то было это в случае железного закона заработной платы, гласившего, что уровень простого выживания — т. е. тогдашний фактический уровень жизни рабочих — определяется законом, удерживающим их заработную плату на столь низком уровне, что никакие другие стандарты попросту невозможны. Разумеется, подобная видимость была обманчивой; мало того, с точки зрения любой последовательной теории цен и доходов при капитализме она предполагала откровенный абсурд. И однако, в конечном счете именно эта ложная видимость не позволила положить в основу закона заработной платы какие-либо рациональные правила человеческого поведения, вынуждая выводить его из натуралистической сферы феноменов плодородия почвы и плодovitости человека, как они были интерпретированы Мальтусовым законом народонаселения в сочетании с законом сокращающихся доходов. Натуралистический элемент в исходных принципах ортодоксальной политической экономии явился результатом условий, порожденных в первую очередь Спинхемлендом.

А значит, ни Рикардо, ни Мальтус не представляли себе, как на самом деле функционирует капиталистическая система. Лишь столетие спустя после выхода в свет «Богатства народов» пришло ясное понимание того, что при рыночной системе все участники процесса производства имеют долю в его результатах и что с ростом произведенного продукта их абсолютная доля должна увеличиваться.[54] Хотя Адам Смит продолжил движение по пути, неудачным началом которого стала Локкова теория труда как источника стоимости, чувство реальности уберегло его от излишней последовательности. Поэтому Смит имел весьма путаное представление о том, из каких элементов формируется цена, хотя вполне справедливо утверждал, что никакое общество не может процветать, если удел огромного большинства его членов — нищета и страдания. Но то, что кажется нам трюизмом, в его время звучало как парадокс. Сам же Смит полагал, что всеобщее изобилие непременно должно просачиваться вниз, в народ, ведь не может же быть так, чтобы общество богатело, а народ нищал. К несчастью, еще долгое время казалось, что взгляды его опровергаются фактами, а поскольку именно факты и должны были истолковывать теоретики, то Рикардо стал доказывать, что по мере дальнейшего развития общества все труднее будет обеспечивать его продовольствием и все богаче будут становиться лендлорды, эксплуатируя как рабочих, так и капиталистов; что между интересами рабочих и капиталистов существует неизбежное противоречие, но противоречие это ничего в конечном счете не меняет, так как заработная плата рабочих не может подняться выше прожиточного минимума, а прибыли капиталистов в любом случае будут падать. В каком-то отдаленном, косвенном смысле все эти утверждения заключали в себе долю истины, но если рассматривать их в качестве теории капитализма, то ничего более туманного, фантастического и чуждого реальности невозможно было придумать. Однако сами факты порождались противоречивыми тенденциями, и даже сегодня нам непросто в них разобраться. Не удивительно, что авторы научной системы, выводившие, по их собственным словам, законы производства и распределения из поведения людей, а отнюдь не растений или животных, вынуждены были призвать на помощь

deux ex machina животного и растительного размножения.

Обрисуем вкратце последствия того факта, что исходные принципы экономической теории были разработаны в эпоху Спинхемленда, под влиянием которого то, что в действительности представляло собой капитализм без рынка труда, воспринималось современниками в качестве конкурентной рыночной экономики.

Во-первых, теория классических экономистов в самых существенных своих моментах содержала путаницу и противоречия. Параллелизм между богатством и стоимостью порождал сбивающие с толку псевдопроблемы чуть ли не в каждом разделе рикардианской политэкономии. Обильным источником недоразумений и ошибок служило также унаследованное от Адама Смита учение о фонде заработной платы. Если исключить ряд специальных вопросов, таких, например, как рента, налогообложение и внешняя торговля,

где были сделаны глубокие догадки, новая теория представляла собой безнадежную попытку прийти к бесспорным выводам на основе не получивших точного определения терминов и таким образом объяснить поведение цен, формирование доходов, процесс производства, влияние себестоимости на цены, уровень прибыли, заработной платы и процента — предметы, в большинстве своем оставшиеся, как и прежде, непонятными.

Во-вторых, те конкретные условия, в которых экономическая проблема осознавалась и формулировалась, делали любой иной результат попросту невозможным. Никакая унитарная теоретическая система не могла бы объяснить факты, ибо последние сами не образовывали какой-либо единой системы, но являлись результатом одновременного воздействия на социальный организм двух взаимоисключающих систем, а именно формирующейся рыночной экономики и патерналистского регулирования в сфере важнейшего фактора производства — труда.

В-третьих, решение, к которому пришли классические экономисты, имело чрезвычайно важные последствия для понимания сущности экономического общества. По мере того как законы, управляющие рыночной экономикой, постепенно постигались, их ставили под эгиду самой Природы. Так, закон убывающей отдачи представлял собой закон физиологии растений. Мальтусов закон народонаселения отражал связь между плодородностью человека и плодородием почвы. Силы, о которых шла здесь речь, — животный половой инстинкт и произрастание растений в данной почве — в обоих случаях были силами Природы. Основным принцип был тот же, что и у Таунсенда с его козами и собаками: существует естественный предел размножения человеческих существ, и предел этот устанавливается наличным количеством пищи. Подобно Таунсенду, Мальтус заключил, что лишние особи будут уничтожаться; если коз истребляют собаки, то сами собаки должны умирать с голоду из-за недостатка пищи. У Мальтуса роль обуздывающего карательного фактора выполняли грубые силы Природы, уничтожавшие «сверхштатные экземпляры». Поскольку же человеческие существа гибнут не только от голода, но и от других причин — например, войн, эпидемий и пороков, то последние были причислены к разрушительным силам Природы. Строго говоря, здесь содержалось логическая непоследовательность, так как ответственность за достижение требуемого Природой равновесия Мальтус возлагал на социальные силы. Впрочем, на это возражение Мальтус мог бы ответить, что при отсутствии войн и пороков, т. е. в добродетельном обществе, влияние сохраняющих человеческую жизнь мирных добродетелей будет полностью компенсировано ростом числа тех, кому суждено умереть с голоду. В сущности, экономическое общество основывалось на жестоких реалиях Природы; если же человек нарушал законы, которые этим обществом управляют, то отпрысков неразумного должен был задушить не ведающей жалости палач. Так конкурентное общество было поставлено под защиту закона джунглей.

С полной явностью обнаружился теперь истинный смысл мучительной проблемы бедности: экономическое общество подчинено законам, которые не являются законами человеческими. Трещина между Адамом Смитом и Таунсендом превратилась в настоящую пропасть, раскол этот стал точкой отсчета для самосознания XIX в. Отныне натурализм неотступно преследовал науку о человеке, а возвращение общества в человеческий мир стало целью, к которой упорно стремилась в своей эволюции социальная мысль эпохи. Экономическое учение марксизма — в данном конкретном аспекте — явилось в целом неудачной попыткой этой цели достигнуть; крах ее объясняется тем, что Маркс был слишком близок к Рикардо и слишком твердо держался традиций либеральной экономической науки.

Сами классические экономисты превосходно сознавали эту потребность. Мальтус и Рикардо не были равнодушны к судьбе бедняков, но их человеческое сочувствие лишь привело к тому, что развитие ложной теории пошло еще более извилистыми путями. Как известно, железный закон заработной платы заключал в себе спасительную оговорку: чем выше обычные потребности трудящихся классов, тем выше прожиточный минимум, ниже которого даже железный закон не в силах заставить опуститься заработную плату. На эту «планку

нищеты» и возлагал свои надежды Мальтус[55], желая, чтобы она непременно была поднята, ибо только так, по его мнению, можно было спасти от наиболее ужасных форм нищеты тех, кто в силу того же закона был на нищету обречен. И Рикардо по той же причине выражал желание, чтобы трудящиеся классы во всех странах приобрели вкус к жизненным удобствам и к развлечениям и «чтобы в стремлении к ним рабочие поощрялись всеми законными средствами». Забавно: людям предписывали повышать свою «норму голодания», чтобы избежать таким образом действия закона природы. И однако, это были, несомненно, вполне искренние попытки классических экономистов спасти неимущих от той судьбы, которую их же собственные теории помогали готовить беднякам.

В случае с Рикардо сама теория заключала в себе мотив, который служил известным противовесом неумолимому натурализму. Этим мотивом, пронизывающим всю систему и прочно основанным на его теории стоимости, был принцип труда. Рикардо завершил дело, начатое Локком и Смитом, — гуманизацию экономической стоимости; то, что физиократы приписали Природе, он потребовал возратить человеку. В громадной по своему значению ошибочной теореме Рикардо объявил труд единственным источником стоимости, сведя таким образом все возможные в экономическом обществе сделки к принципу равноценного обмена в обществе свободных людей.

Внутри самой рикардианской системы сосуществовали натуралистические и гуманистические факторы, боровшиеся за господство в экономическом обществе. Порожденные этой ситуацией движущие силы обладали колоссальной мощью, и в результате их действия порыв к конкурентному рынку приобрел неудержимость природного процесса. Ибо теперь считалось, что саморегулирующийся рынок вытекает из неумолимых законов Природы, а освобождение рынка от прежних оков есть абсолютная необходимость. Создание рынка труда представляло собой акт вивисекции на теле общества, и люди, его совершившие, были движимы той холодной и беспощадной убежденностью, внушить которую способна одна только наука. Частью этой уверенности был тезис о том, что законы о бедных должны исчезнуть. «Даже принцип тяготения не является столь же достоверным, как свойство подобных законов постепенно превращать богатство и силу в нищету и слабость... пока язва всеобщей бедности не поразит все классы без исключения», — писал Рикардо.[56] И воистину, трусом был бы тот, кто, зная это, не нашел бы в себе нравственных сил, чтобы спасти человечество от него самого посредством мучительной операции — отмены пособий для бедных. В этом пункте Таунсенд, Мальтус и Рикардо, Бентам и Берк были заодно. Как бы радикально ни расходились они в мировоззренческих вопросах и в представлениях о методе, их объединяло решительное неприятие Спинхемленда и тогдашних принципов политической экономии.

Благодаря этому согласию во мнениях между людьми диаметрально противоположных взглядов экономический либерализм и стал неодолимой силой, ибо то, что в равной мере одобряли ультрареформатор Бентам и ультратрадиционист Берк, автоматически приобрело статус самоочевидной истины.

Лишь один человек понял истинный смысл этого сурового испытания, — может быть, потому, что среди выдающихся умов эпохи только он имел основательное практическое знакомство с промышленностью, а кроме того обладал даром внутреннего, духовного видения. Никогда еще ни один мыслитель не постигал феномен индустриального общества глубже, чем Роберт Оуэн. Он ясно сознавал различие между обществом и государством; не имея предубеждений против последнего (свойственных, например, Годвину), он ожидал от государства только того, что оно могло совершить, а именно разумного вмешательства с целью предотвратить ущерб для граждан, а вовсе не с намерением определять внутреннюю организацию общества. Точно так же не питал он никакой враждебности к машине, нейтральный характер которой был для него вполне очевиден. Ни политический механизм государства, ни технологический аппарат машинного производства не заслонял от него главного — феномен общества. Он не принял анималистическую трактовку общества, отвергнув мальтузианские и рикардианские ограничения. Однако в основе его мышления лежал отход от христианства, которому он

ставил в вину «индивидуализацию», иначе говоря, возложение ответственности за характер на самого индивида, что, по мнению Оуэна, означало отрицание реальности общества и его могущественного формирующего воздействия на человеческий характер. Подлинный смысл критики «индивидуализации» заключался в настойчиво проводимой Оуэном идее социальной обусловленности мотивов поведения: «Индивидуализированный человек и все то, что является в христианстве действительно ценным, разделены глубочайшей пропастью, которую им не преодолеть во веки веков». Именно открытие общества заставило Оуэна перешагнуть духовные горизонты христианства и стать на более высокую точку зрения. Он понял следующую истину: поскольку общество реально, человек должен ему в конце концов подчиниться. Можно, пожалуй, утверждать, что социализм Оуэна основывался на идее преобразования человеческого сознания через постижение реальности общества. «Если обнаружится, что какие-либо причины зла неустранимы с помощью новых возможностей, которыми вскоре будет обладать человечество, — писал Оуэн, — то люди поймут, что причины эти необходимы и неизбежны, и все глупые ребяческие жалобы на этот счет умолкнут».

Оуэн, вероятно, имел преувеличенное представление об этих возможностях, иначе едва ли предложил бы он властям графства Ланарк тотчас же начать строить общество заново, опираясь на «ядро общества», которое открыл он в организованных им поселках. Подобный полет фантазии есть привилегия гениев, без которых общество, бессильное понять себя, не могло бы существовать. Тем более важной в этом свете являлась та неустраняемая граница свободы, на которую указывал Оуэн; граница, обусловленная тем фактом, что освобождение общества от зла имеет свои неизбежные пределы. Но граница эта, полагал Оуэн, станет очевидной лишь после того, как человек, пользуясь своими новыми возможностями, в корне преобразует общество; тогда, действуя, как подобает зрелому мужу, чуждому ребяческих жалоб, он должен будет принять эту границу и смириться с ней. В 1817 г. Роберт Оуэн описал тот путь, на который вступило западное человечество, и в словах его был резюмирован смысл важнейшей проблемы XIX в. Он указал на громадные последствия, которые влечет за собой фабричное производство, «предоставленное естественному ходу своего развития». «Распространение промышленности по всей стране коренным образом изменяет характер ее жителей, а поскольку этот новый характер формируется принципом, глубоко враждебным индивидуальному и всеобщему счастью, то он непременно породит самые страшные и постоянные бедствия, если только влиянию его не воспрепятствует законодательное вмешательство и регулирование». Организация всего общества на принципах прибыли и личной выгоды должна была иметь далеко идущие последствия. Оуэн описал их в терминах психологических, ибо наиболее очевидным результатом новой институциональной системы явилось разрушение традиционного характера оседлого населения и превращение последнего в новый человеческий тип, в племя вечных мигрантов и бродяг, лишенных нравственной дисциплины и чувства собственного достоинства, в грубые, вульгарные и бессердечные существа, примером которых могли служить как рабочие, так и капиталисты. Оуэн поднялся до общего вывода: действующий здесь принцип враждебен счастью индивида и благополучию общества, и это непременно приведет к величайшим бедствиям, если присущие рыночным институтам тенденции не будут сдержаны сознательным и целенаправленным социальным регулированием, эффективность которого должен обеспечить закон. Правда, удел рабочих, о котором скорбел Оуэн, был отчасти следствием «системы пособий». По сути, однако, и к городским, и к сельским рабочим в равной мере можно было отнести сказанное Оуэном, а именно, что «в настоящее время они находятся в несравненно более жалком и унижительном положении, чем до появления мануфактур, от которых зависит ныне самое их существование». И здесь он вновь попал в самую точку, сделав главный упор не на уровне доходов, а на процессе нравственной и социальной деградации. В качестве важнейшей причины этой деградации Оуэн, и опять же вполне справедливо, указал на зависимость от фабрики, без которой рабочий теперь попросту не мог выжить. Он понял: то, что кажется в первую очередь экономической проблемой, является по существу проблемой социальной. В экономическом плане работник, безусловно, подвергался

эксплуатации: он не получал за свой труд то, что должен был получать. Это был чрезвычайно важный, но далеко не единственный аспект проблемы. С чисто финансовой точки зрения положение работника, возможно, даже улучшилось. Однако принцип, глубоко враждебный индивидуальному счастью и общественному благополучию, губительным образом действовал на его социальную среду, природное окружение, общественный статус, профессиональную квалификацию, — словом, на ту систему связей с природой и людьми, в которую его экономическое существование входило прежде на правах подчиненного элемента. Промышленный переворот порождает мучительные социальные сдвиги громадного масштаба, и проблема бедности представляла собой лишь один, экономический, аспект данного процесса. Оуэн был прав, утверждая, что действие этих разрушительных сил, если оно не будет нейтрализовано законодательным вмешательством и регулированием, приведет к огромным и долговременным бедствиям.

Он, однако, не мог тогда предвидеть, что механизм самозащиты общества, к созданию которого он призывал, окажется несовместимым с функционированием самой экономической системы.

Глава 11

Человек, природа и производственная организация

В течение столетия динамика развития современного общества определялась борьбой двух тенденций: рынок непрерывно расширялся, но этот процесс сталкивался с процессом противоположным, препятствовавшим распространению рынка в определенных направлениях. При всей жизненной важности данного контрпроцесса для защиты общества он был несовместим с саморегулированием рынка, а следовательно, с самой рыночной системой.

Система эта развивалась стремительно, она подчинила себе время и пространство, а создав банковские деньги, породила силу неслыханной прежде мощи. К моменту, когда система достигла максимального размаха (около 1914 г.), все части земного шара, все его обитатели и даже будущие поколения, физические лица, как и громадные искусственные тела, именуемые корпорациями, оказались в нее включенными. Новый образ жизни распространялся по планете; та решительность, с которой притязал он на господство над всем миром, представляла собой нечто небывалое с тех пор, как начало свой исторический путь христианство — только на сей раз процесс шел исключительно в материальной сфере.

Тотчас же, однако, стал набирать силу противоположный процесс. Это было нечто большее, чем обычные защитные меры общества, столкнувшегося с феноменом перемен; это было противодействие губительным сдвигам, разрушавшим субстанцию общества, сдвигам, способным уничтожить ту самую систему организации производства, которую вызвал к жизни рынок.

Прозрение Оуэна было верным: рыночная экономика, если позволить ей развиваться по ее собственным законам, породит огромные и долговременные бедствия.

Производство есть взаимодействие человека и природы, если же этот процесс организуется через саморегулирующийся механизм обмена, то человек и природа должны быть включены в его сферу, их следует подчинить механизму спроса и предложения, иначе говоря, обращаться с ними как с товарами, как с тем, что произведено для продажи.

Именно такой порядок и сложился при рыночной системе. Человек под именем «рабочая

сила», природа под именем «земля» были сделаны доступными для продажи; рабочую силу можно было повсеместно купить и продать по цене, которая называлась заработной платой; право пользоваться землей можно было получить, уплатив цену, именовавшуюся рентой. Существовал рынок труда, точно так же, как и земельный рынок, спрос и предложение на этих рынках регулировались уровнем заработной платы и ренты соответственно; последовательно проводилась в жизнь фиктивная идея о том, что труд и земля созданы для продажи. Капитал, вложенный в различные комбинации труда и земли, мог, таким образом, перетекать из одной отрасли производства в другую, что и требовалось для автоматического выравнивания доходов в различных отраслях.

Теоретически на подобной основе можно было организовать производство, однако товарная фикция совершенно игнорировала тот факт, что отдать землю и человека в полную власть рынка значило по сути уничтожить их. А потому контрдвижение заключалось в попытке ограничить воздействие рынка на факторы производства, т. е. труд и землю. Это и было важнейшей задачей интервенционизма.

Из того же источника исходила угроза и для производственной организации. Отдельные предприятия — промышленные, сельскохозяйственные, торговые — подвергались опасности постольку, поскольку на них влияли изменения уровня цен. Ибо при рыночной системе падение цен причиняло ущерб бизнесу; если все элементы себестоимости не снижались пропорционально, действующие предприятия приходилось ликвидировать, хотя причиной падения цен могло быть не общее снижение себестоимости, а всего лишь особенности организации денежной системы. Мы убедимся, что именно так фактически и обстояло дело при саморегулирующемся рынке.

В принципе покупательская способность создается и регулируется в данном случае действием самого рынка; это и имеется в виду, когда говорят, что деньги представляют собой товар, количество которого определяется спросом и предложением на предметы, функционирующие в качестве денег (общеизвестная классическая теория денег). Согласно данной доктрине, деньги — это лишь другое название для товара, который используется при обмене чаще, чем прочие, и потому приобретает главным образом с целью облегчить процесс обмена. Что именно здесь используется — шкуры, быки, раковины или золото, — значения не имеет; ценность предметов, функционирующих в роли денег, определяется так, как будто люди стремятся получить их исключительно ради той пользы, которую приносят они как продукты питания, как одежда, украшения и т. п. Если же в качестве денег используется золото, то его стоимость, количество и обращение регулируются теми же в точности законами, которые имеют силу и в отношении прочих товаров. Любое иное средство обмена подразумевало бы создание валюты за пределами рынка, и подобный акт, кто бы его ни совершил, банки или правительство, означал бы вмешательство в процесс саморегулирования рынка. Суть классической доктрины такова: товары, используемые в качестве денег, ничем не отличаются от других товаров; спрос и предложение в этой сфере, как и в случае с остальными товарами, регулируется рынком, а значит, все теории, приписывающие деньгам любые иные качества, кроме свойства быть товаром, используемым как средство непрямого обмена, глубочайшим образом ложны. Отсюда также следует, что если в качестве денег используется золото, то банкноты, коль скоро таковые существуют, должны представлять золото. Именно исходя из этой доктрины желала рикардianская школа организовать предложение денег посредством Английского банка. В самом деле, только таким путем и можно было уберечь денежную систему от «вмешательства» со стороны государства, обеспечив таким образом саморегулирование рынка.

А значит, бизнес оказывался в положении, чрезвычайно близком к тому, в котором находились природная и человеческая субстанция общества: всем им — и по сходным в своей основе причинам — угрожал саморегулирующийся рынок. И если фабричное законодательство и социальные законы потребовались для защиты индустриального человека от последствий принятия товарной фикции в отношении рабочей силы, если

земельные законы и аграрные тарифы были вызваны к жизни необходимостью уберечь природные ресурсы и культурную среду деревни от воздействия товарной фикции в приложении к ним, то с тем же правом можно утверждать, что центральные банки и управление денежной системой нужны были для того, чтобы обезопасить заводы и другие производственные предприятия от губительного влияния товарной фикции применительно к деньгам. Сложилась достаточно парадоксальная ситуация: от разрушительного воздействия саморегулирующегося рынка приходилось спасать не только человека и природу, но и само капиталистическое производство.

Вернемся к тому, что мы называли выше двойным процессом. Его можно представить как действие в обществе двух организующих принципов, каждый из которых ставил перед собой специфические институциональные цели, опирался на определенные социальные силы и использовал характерные для него методы. Одним из них был принцип экономического либерализма, стремившийся к созданию саморегулирующегося рынка, опиравшийся на поддержку торгово-промышленных слоев и в качестве своих методов широко использовавший

laissez-faire и свободную торговлю; другим — принцип социальной защиты, имевший своей целью охрану человека, природы, а также производственной организации, опиравшийся на неодинаковую поддержку тех, кого пагубное влияние рынка затрагивало самым непосредственным образом — прежде всего, но не исключительно, рабочих и землевладельцев, — и использовавший в качестве своих методов протекционистское законодательство, союзы с ограниченным членством и другие инструменты вмешательства.

Особо следует подчеркнуть классовый аспект данного процесса. Услуги, оказываемые обществу землевладельцами, буржуазией и рабочими, определили весь ход истории XIX в. Конкретная роль каждого из этих классов была обусловлена его способностью выполнять различные функции, заданные нуждами общества как единого организма. Буржуазия являлась носителем принципов формирующейся рыночной экономики, ее деловые интересы в целом соответствовали общему интересу в сфере производства и занятости: если бизнес процветал, все могли рассчитывать на рабочие места, а собственники земли — на получение ренты; если рынки росли, капиталовложения производились охотно и в крупных размерах; если предприниматели данной страны успешно конкурировали с иностранцами, валюта была стабильной. С другой стороны, торгово-промышленный класс не имел соответствующего органа, чтобы почувствовать те опасности, которые несли с собой безжалостная эксплуатация физических сил работника, распад семьи, разрушение природной среды, вырубка лесов, загрязнение рек, падение профессиональных стандартов, кризис традиционного жизненного уклада, подрыв нравственных устоев и общая деградация человеческого существования, в т. ч. в сфере жилищных условий, ремесел и бесчисленного множества иных форм частной и общественной жизни, не связанных с получением прибыли. Буржуазия выполнила свою задачу, выработав в себе священную, почти религиозную веру в универсальность благотворного действия прибыли, но именно это и сделало ее не способной к защите других интересов и ценностей, столь же необходимых для достойной человеческой жизни, как и развитие производства. Здесь открывался простор для тех классов, которые не были заняты использованием в производстве дорогостоящих, сложных или специальных машин. В самом общем виде дело обстоит так: на долю землевладельческой аристократии и крестьянства выпала задача поддерживать военную мощь нации, которая по-прежнему во многом определялась состоянием земли и человеческого материала, тогда как рабочий класс в той или иной степени принял на себя роль опекуна общечеловеческого интереса, оставшегося сиротой. В тот или иной период каждый класс общества, пусть даже сам того не осознавая, выражал интересы более широкие, чем его собственные.

К концу XIX в. — всеобщее избирательное право распространилось тогда практически повсеместно — рабочий класс превратился в серьезную силу в государстве; с другой стороны, класс предпринимателей, чье господство в сфере законодательства уже не было

абсолютным, ясно понял, какой политический вес дает ему руководящее положение в промышленности. Подобное распределение власти и влияния не порождало проблем, пока рыночный механизм продолжал работать без больших сбоев и перегрузок, но когда по причинам, обусловленным природой самой рыночной экономики, ситуация изменилась, когда между общественными классами возникли серьезные трения и острые противоречия, тогда само общество как таковое оказалось под угрозой ввиду того обстоятельства, что противоборствующие стороны превращали в свою цитадель соответственно правительство и бизнес, государство и промышленность. Две важнейшие функции общества, политическая и экономическая, употреблялись, или лучше сказать, злоупотреблялись, как оружие в борьбе за групповые интересы. Подобный опасный тупик и стал первопричиной фашистского кризиса XX в.

С этих двух точек зрения мы намерены обрисовать процесс, определивший социальную историю XIX столетия. Первый, экономический, импульс данного процесса, порожденный столкновением организующих принципов экономического либерализма и социальной защиты, вызвал перенапряжение и глубокую деформацию институциональной системы; второй, политический, был порожден конфликтом классов и, взаимодействуя с первым, превратил кризис в катастрофу.

Глава 12

Рождение либерального символа веры

Экономический либерализм представлял собой организующий принцип общества, занятого созданием рыночной системы. Появившись на свет как простая склонность к небюрократическим методам, он вырос в настоящую веру в мирское спасение человека посредством саморегулирующегося рынка. Подобная экзальтация была результатом того, что задача, выпавшая на его долю, неожиданно оказалась гораздо более сложной и мучительной: стало ясно, что установление нового порядка повлечет за собой множество взаимосвязанных перемен, а совершенно невинным людям придется причинить неисчислимые страдания. Таким образом, апостольский пыл, охвативший адептов экономического либерализма, явился, в сущности, лишь реакцией на требования рыночной экономики, достигшей своего полного развития.

Отодвигать начало политики

laissez-faire (как это часто делается) к той эпохе, когда словечко это впервые появилось во Франции, т. е. к середине XVIII в., значило бы вступать в вопиющее противоречие с историей: можно с уверенностью утверждать, что еще в течение жизни двух последующих поколений экономический либерализм представлял собой не более чем случайную, эпизодическую тенденцию. Лишь к 1820-м гг. стал он выражать три классических принципа: труд должен искать свою цену на рынке; создание денег должно быть подчинено автоматически действующему механизму; движение товаров из одной страны в другую должно быть свободным, без каких-либо преград или преимуществ; или, если выразить эти догмы более кратко, — рынок труда, золотой стандарт и свободная торговля.

Утверждать, будто подобное положение вещей и преподносилось мысленному взору Франсуа Кенэ, значило бы предаваться фантазиям. Все, чего требовали жившие в меркантилистском мире физиократы, — это свободный вывоз хлеба, который должен был увеличить доходы фермеров, арендаторов и помещиков. В остальном же их

ordre naturel [57] сводился к общему принципу регулирования промышленности и сельского

хозяйства всемогущим и всеведущим, по их предположению, правительством. «Максимы» Кенэ и должны были, по мысли их автора, дать подобному правительству «точки обзора», необходимые для того, чтобы, опираясь на статистические данные, которые он вызвался представлять регулярно, реализовать в сфере практической политики положения его «Таблиц». Что же касается идеи саморегулирующейся системы рынков, то она ему даже в голову не приходила.

В Англии принцип

laissez-faire также понимали довольно узко: он означал свободу от административного регулирования в производстве и не распространялся на торговлю. Хлопкопрядильные мануфактуры, чудо того времени, прежде игравшие незначительную роль, успели превратиться в ведущую экспортную отрасль страны — тем не менее в Англии по-прежнему действовал специальный статут, возбранявший ввоз набивных бумажных тканей. Вопреки традиционной монополии внутреннего рынка экспорт коленкора и муслина поощрялся правительственными премиями. Протекционистские принципы укоренились так глубоко, что хозяева манчестерских бумагопрядилен потребовали в 1800 г. наложить запрет на вывоз пряжи, хотя ясно понимали, что для них это означает прямой коммерческий ущерб. Штрафные санкции за вывоз станков, используемых в хлопчатобумажном производстве, Акт 1791 г. распространил на экспорт образцов технических инструкций. Фритредерские истоки хлопчатобумажной промышленности — не более чем миф. Промышленность хотела только одного — свободы от регулирования в сфере производства; свободу в сфере обмена все еще считали опасной.

Кто-то может подумать, что свобода производства должна была естественным образом распространиться из чисто технологической области в сферу найма рабочих рук. Между тем свободы труда Манчестер начал требовать сравнительно поздно. Хлопчатобумажная промышленность никогда не регулировалась Статутом о ремесленниках, а значит, ее не стесняли ни ежегодные установления властями размеров заработной платы, ни правила ученичества. С другой стороны, прежнее законодательство о бедных, на которое так яростно нападали позднейшие либералы, являлось весьма выгодным для фабрикантов: оно не только обеспечивало их приходскими учениками, но позволяло также избавляться от всякой ответственности за судьбу уволенных работников, перекладывая таким образом значительную часть финансового бремени безработицы на общество. Даже Спинхемленд не вызывал у них поначалу никаких возражений: пока моральный эффект системы вспомоществований не привел к падению производительной способности рабочего, хозяева хлопкопрядильных фабрик вполне могли считать семейные пособия удобным подспорьем в деле содержания резервной армии труда, крайне необходимой им ввиду громадных колебаний торговой конъюнктуры. В эпоху, когда срок найма в сельском хозяйстве все еще равнялся одному году, было чрезвычайно важно располагать подобным резервом мобильной рабочей силы в периоды промышленного подъема. Отсюда — резкие нападки фабрикантов на Акт об оседлости, ограничивавший физическую мобильность работника. Однако лишь в 1795 г. акт этот был отменен — причем вовсе не для того, чтобы ослабить патерналистские тенденции в законодательстве о бедных; напротив, они стали еще сильнее. Пауперизм по-прежнему внушал тревогу главным образом помещикам и сельским жителям, и даже такие суровые критики Спинхемленда, как Берк, Бентам и Мальтус, рассматривали себя скорее как глашатаев разумных административных принципов применительно к деревне, нежели представителей промышленного прогресса.

Только в 1830-е гг. экономический либерализм загорелся энтузиазмом крестоносного движения, а

laissez-faire стал символом воинствующей веры. Класс фабрикантов решительно требовал реформы законодательства о бедных, поскольку оно препятствовало формированию промышленного рабочего класса, доходы которого зависели бы от результатов труда.

Степень риска, связанного с созданием свободного рынка труда, как и мера несчастий, на которые обрекались жертвы прогресса, стали теперь вполне очевидными. Соответственно к началу 1830-х гг. с ясностью обнаруживается резкая перемена в настроениях.

Перепечатанная в 1817 г. «Диссертация» Таунсенда содержала предисловие, где восхвалялась та проницательность, с которой автор обрушился на законы о бедных и потребовал полной их отмены; издатели, однако, предостерегали против его «поспешного и необдуманного» предложения упразднить пособия живущим самостоятельно беднякам в течение столь короткого срока, как десять лет. В «Принципах» Рикардо, вышедших в свет в том же году, упорно доказывалась необходимость отмены системы пособий; автор, однако, настоятельно рекомендовал делать это медленно и постепенно. Питт — ученик Адама Смита — в свое время отверг подобную меру ввиду тех страданий, которыми грозила она невинным людям. И еще в 1829 г. Питт полагал, «что любой иной способ ликвидации системы пособий, кроме постепенного, оказался бы, вероятно, чрезвычайно рискованным».[58] Но в 1832 г., после политической победы буржуазии, Билль о реформе закона о бедных был принят в самом радикальном варианте и стремительно, без всяких отсрочек, проведен в жизнь:

laissez-faire уже был катализирован до степени мощного, не признающего никаких компромиссов движения.

Ту же бешеную энергию экономический либерализм, прежде замкнутый в области академических интересов, развил и в двух других сферах промышленной организации — в торговле и в денежном обращении. И в том, и в другом случае, когда тщетность любых мер, кроме самых радикальных, стала очевидной,

laissez-faire превратился в исповедуемое с фанатическим пылом верование.

Впервые валютная проблема дошла до сознания англичан через общий рост стоимости жизни. В 1790–1815 гг. цены удвоились, реальная заработная плата снизилась, а бизнес понес ущерб из-за резкого сокращения внешней торговли. Однако в один из догматов экономического либерализма твердая валюта превратилась лишь после паники 1825 г., т. е. только тогда, когда рикардиевские принципы столь глубоко проникли в умы как политиков, так и бизнесменов, что «стандарт» стали поддерживать, несмотря на громадное количество финансовых жертв. Так родилась непоколебимая вера в автоматически действующий рулевой механизм золотого стандарта; вера, без которой корабль рыночной системы не смог бы отчалить от берега.

Принятие принципа свободы международной торговли также требовало самого настоящего акта веры, ибо вытекавшие из него последствия поражали своей нелепостью. Принцип этот означал, что в снабжении продовольствием Англия будет зависеть от заморских источников; что она, если потребуется, пожертвует собственным сельским хозяйством и начнет жить совершенно по-новому, превратившись в неотъемлемую часть некоего, весьма смутно мыслившегося, единого мирового организма; что это планетарное сообщество должно быть мирным — в противном случае мощный флот должен будет сделать его безопасным для Великобритании; и что английской нации предстоит мужественно принять перспективу непрерывных промышленных потрясений — в твердой вере в свои великие таланты в области науки и производства. Считалось, что стоит только сделать так, чтобы хлеб мог свободно поступать в Англию со всего мира, и ее, Англии, фабрики, продавая товары по более низким ценам, одолеют в конкурентной борьбе весь мир. И здесь степень необходимой решимости определялась масштабом задачи и громадностью риска, связанного с полным и безусловным принятием указанного принципа. Впрочем, ничего другого и не оставалось: частичное его принятие означало бы неизбежный крах.

Мы не до конца понимаем утопические истоки догмы

laissez-faire, пока рассматриваем их в отдельности. Описанные нами три принципа —

конкурентный рынок труда, автоматически действующий золотой стандарт и свобода международной торговли — составляли единое целое. Жертвы, необходимые для реализации любого из них, оказывались бессмысленными, чтобы не сказать хуже, если две другие цели оставались недостижимыми. Все или ничего — вопрос стоял именно так.

Всякому было ясно, что, к примеру, золотой стандарт означает угрозу катастрофической дефляции и, возможно, фатального недостатка денег в условиях паники. А значит, промышленник мог рассчитывать на прибыль лишь при уверенности в росте производства товаров, цены на которые покрывали бы издержки (иначе говоря, лишь в том случае, если заработная плата снижается, по крайней мере, пропорционально общему падению цен, делая таким образом возможным эксплуатацию непрерывно расширяющегося мирового рынка). А потому Билль против хлебных законов 1846 г. явился логическим следствием Банковского акта Пилля 1844 г., и оба они предполагали наличие рабочего класса, который с момента принятия Акта о реформе законодательства о бедных 1834 г. вынужден был работать не покладая рук под угрозой голода, так что заработная плата определялась ценами на хлеб. Три важнейших законодательных акта составляли связное целое.

Глобальный размах экономического либерализма становится нам теперь понятным с первого взгляда. Чтобы обеспечить работу этого колоссального механизма, требовался не более и не менее как саморегулирующийся рынок в мировом масштабе. Зависимость цены рабочей силы от наличия предельно дешевого хлеба была единственной гарантией того, что незащищенная протекционистскими барьерами промышленность не погибнет в тисках надсмотрщика, которому она добровольно подчинилась, — золота. Развитие рыночной системы в XIX в. означало одновременное распространение свободной международной торговли, конкурентного рынка труда и золотого стандарта: они были теснейшим образом взаимосвязаны. Не удивительно, что экономический либерализм превратился в секулярную религию, как только вся рискованность этого замысла стала очевидной.

В политике

laissez-faire не было ничего «естественного»: простое невмешательство в естественный ход вещей никогда бы не смогло породить свободные рынки. Подобно тому как хлопчатобумажное производство — главная фритредерская отрасль — было создано с помощью покровительственных тарифов, экспортных премий и не прямых дотаций к заработной плате, точно так же и сам принцип

laissez-faire был проведен в жизнь усилиями государства. На 30-е и 40-е гг. приходится не только взрыв законодательной активности в деле отмены прежних регламентирующих актов, но и громадное расширение административных функций государства, которое постепенно обзаводилось центральным бюрократическим аппаратом, способным выполнять задачи, поставленные сторонниками либерализма. Для типичного утилитариста экономический либерализм был социальным проектом, который следовало осуществить ради наибольшего счастья наибольшего числа людей;

laissez-faire воспринимался не как способ достижения цели, а как сама цель. Конечно, законы ничего не могли сделать непосредственно — разве что устранить вредные ограничения. Это, однако, не означало, будто ничего не может сделать правительство, в особенности — косвенным путем. Напротив, либерал-утилитарист видел в правительстве могущественное оружие, способствующее достижению счастья. Что касается сферы материального благополучия, то здесь, полагал Бентам, влияние законодательства «ровно ничего не значит» по сравнению с бессознательным содействием «блюстителя порядка». Из трех вещей, необходимых для экономического успеха, — желания, знаний и силы — частное лицо обладает только желанием. Знания и силу, учил Бентам, правительство способно обеспечить с гораздо меньшими затратами, нежели частные лица. Задача исполнительной власти — не только создавать в сфере управления бесчисленные инструменты, необходимые для

практической реализации поставленных целей, но и собирать всевозможные сведения и статистические данные, поощрять эксперименты, поддерживать науку. Бентамовский либерализм означал замену парламентских мер деятельностью административных органов.

Для последней же открывался тогда широкий простор. Реакция, господствовавшая в Англии в предшествующий период, не опиралась, как это было, например, во Франции, на административные методы: политические репрессии осуществлялись исключительно на основании парламентских актов. «Борьба с революционными движениями 1785 и 1815–1820 гг. велась не исполнительной властью, а парламентским законодательством. Приостановка действия

Habeas Corpus, принятие Акта о клевете и „Шести актов“ 1819 г. представляли собой суровые принудительные меры, однако мы не находим в них следов каких-либо попыток придать английской администрации континентальный характер. Если личные свободы и ограничивались, то происходило это через акты парламента и в полном соответствии с ними».[59] Но едва лишь экономические либералы добились влияния на правительственную политику (1832), и положение в корне изменилось: верх взяли административные методы. «Конечным результатом законодательной деятельности, протекавшей, хотя и с различной интенсивностью, в период после 1832 г., явилось поэтапное создание чрезвычайно сложного административного механизма, который, подобно современному фабричному оборудованию, постоянно нуждался в ремонте, обновлении, реконструкции и приспособлении к новым требованиям».[60] Этот рост административных функций отражал дух утилитаризма. Чудесный «Паноптикум» — самая «личная» утопия Бантама — представлял собой здание в форме звезды, из центра которого надзиратели могли вести эффективное наблюдение за наибольшим числом тюремных обитателей с наименьшими затратами для общества. Точно так же в утилитаристском государстве столь любимый Бентамом принцип «доступности для обозрения» обеспечивал стоящему на вершине чиновнику эффективный контроль за всеми органами местной администрации.

Дорога к свободному рынку была открыта и оставалась открытой благодаря громадному росту интервенционистских мер, беспрестанно организуемых и контролируемых из центра. Сделать «простую и естественную свободу» Адама Смита совместимой с требованиями человеческого общества оказалось весьма сложной задачей. Вспомним хотя бы о мудреных положениях бесчисленных законов об огораживаниях; о массе бюрократических контролирующих мер, связанных с проведением в жизнь нового законодательства о бедных, которое — впервые после царствования Елизаветы — находилось под действенным надзором центральной власти; или о расширении сферы правительственного администрирования, которое повлек за собой похвальный замысел муниципальной реформы. Между тем все эти твердыни государственного вмешательства возводились с целью упорядочения какой-нибудь «простой свободы» — свободы земли, труда или муниципальной администрации. Точно так же, как изобретение облегчающих труд машин, вопреки всем ожиданиям, не уменьшило, а фактически расширило сферу применения человеческого труда, так и создание свободных рынков вовсе не устранило необходимость контроля, регулирования и вмешательства, а как раз невероятным образом увеличило их масштаб. Чтобы обеспечить свободное функционирование системы, администраторам приходилось постоянно быть начеку. А потому даже те, кто страстно желал освободить государство от всех излишних обязанностей; те, чья философия прямо требовала ограничить сферу деятельности государства, оказались вынуждены предоставить этому самому государству новые полномочия, инструменты и органы, необходимые для практической реализации принципа

laissez-faire.

Этот парадокс дополнялся другим, еще более удивительным. Экономика

laissez-faire была продуктом сознательной государственной политики, между тем последующие ограничения принципа

laissez-faire начались совершенно стихийным образом.

Laissez-faire планировался заранее, само же планирование — нет. Справедливость первой части данного утверждения была доказана выше. Если исполнительная власть когда-либо сознательно использовалась для реализации ясно поставленных целей правительственной политики, то было это в героическую эпоху

laissez-faire и занимались этим бентамиты. Что же касается второй его части, то на это обстоятельство впервые обратил внимание знаменитый либерал Дайси, задавшийся целью исследовать истоки

«анти-laissez-faire», или, как он выражался, «коллективистской» тенденции в английском общественном мнении, существование которой было вполне очевидным с конца 1860-х гг. Он с изумлением обнаружил, что никаких признаков действия подобной тенденции, кроме самих законодательных актов, найти невозможно, точнее сказать — до принятия законов, которые, казалось бы, свидетельствовали о ее наличии, никаких следов «коллективистской тенденции» в общественном мнении заметно не было. Что же касается позднейших «коллективистских» взглядов, то, заключил Дайси, само же «коллективистское» законодательство и стало, вероятно, их первопричиной. Итогом этого проницательного анализа явился вывод о том, что у непосредственных творцов ограничительных законов 1870—1880 гг. совершенно отсутствовало ясное намерение расширить функции государства или ограничить свободу индивида. Оказалось, что законодательное острие противодействовавшего саморегулирующемуся рынку процесса, каким явил он себя в полстолетие после 1860 г., вовсе не направляла рука общественного мнения; это было движение, обусловленное спонтанно возникающими импульсами чисто прагматического свойства.

Подобный взгляд непременно вызовет резкие возражения либеральных экономистов. Вся их социальная философия строится на убеждении, что

laissez-faire представлял собой естественный процесс, тогда как последующее враждебное ему законодательство стало результатом сознательных и целенаправленных усилий противников принципа либерализма. Не будет преувеличением сказать, что истинность или ложность позиции нынешних либералов прямо связана с этими взаимоисключающими толкованиями двойного процесса — становления рынка и противодействия ему.

Такие либеральные авторы, как Спенсер, Самнер, Мизес и Липпман, фактическую сторону данного процесса излагают в основном так же, как и мы, однако оценивают его совершенно иначе. На наш взгляд, концепция саморегулирующегося рынка являлась утопией, а его развитие было задержано здоровым стремлением общества к самозащите; по их мнению, все подобного рода защитные меры были заблуждением, порожденным алчностью, нетерпением и близорукостью, и если бы не эти препятствия, рынок сам сумел бы преодолеть созданные им трудности. Вопрос о том, какая из этих трактовок верна, является, пожалуй, самой важной проблемой новейшей социальной истории, ибо ответ на него предопределяет, по сути, наше отношение к претензии экономического либерализма на роль основополагающего принципа организации общества. Прежде чем обратиться к свидетельству фактов, сформулируем спорный вопрос более четко.

Наше время потомки будут считать эпохой крушения саморегулирующегося рынка. В 1920-е гг. престиж экономического либерализма был, как никогда, высок. Бич инфляции поразил тогда сотни миллионов людей; целые общественные классы, целые нации подверглись экспроприации. Стабилизация валют превратилась в ключевой принцип политического

мышления народов и правительств, восстановление золотого стандарта стало высшей целью всех осмысленных и организованных усилий в сфере экономики. Выплата долгов по иностранным займам и возвращение к стабильной валюте были признаны критерием разумности политического курса, и никакие страдания частных лиц, никакие нарушения суверенитета государств уже не считались чрезмерными жертвами на пути к финансовому выздоровлению. Бедствия людей, потерявших работу вследствие дефляции; нищенское существование государственных служащих, уволенных и оставшихся без гроша; даже отказ от национальных прав и утрата конституционных свобод — все это воспринималось как справедливая цена, которую нужно платить за выполнение требований взвешенного бюджета и твердой валюты, этих априорных принципов экономического либерализма.

В 1930-е гг. непререкаемые догматы 20-х были подвергнуты сомнению. По прошествии нескольких лет, в течение которых валюты были практически восстановлены, а бюджеты — сбалансированы, две самые могущественные страны, Великобритания и Соединенные Штаты, столкнувшись с серьезными трудностями, отвергли золотой стандарт и приступили к регулированию своих валют. Самые богатые и уважаемые державы, пренебрегая догмами экономического либерализма, в массовом масштабе отказывались платить по внешним долгам. К середине 1930-х гг. Франция и некоторые другие государства, все еще сохранявшие верность золоту, были по сути принуждены к отказу от стандарта политикой казначейств Великобритании и Соединенных Штатов, некогда самых пылких ревнителей либеральной веры.

В 1940-х гг. экономический либерализм потерпел еще более жестокое поражение. Хотя Великобритания и Соединенные Штаты отступили от монетарной ортодоксии, они все еще сохраняли приверженность принципам и методам либерализма в промышленности и торговле, в общей организации своей экономической жизни. Данному обстоятельству суждено было стать одним из факторов, ускоривших войну, и одним из препятствий, затруднивших ее ведение, ибо экономический либерализм породил и всячески питал иллюзорную идею о том, что диктаторские режимы обречены на экономическую катастрофу. Из-за подобного убеждения демократические правительства позже всех осознали последствия управляемых валют и регулируемой торговли, не сумев этого сделать даже тогда, когда сила вещей заставила их самих обратиться к этим методам; кроме того, наследие экономического либерализма преградило им путь к своевременному перевооружению: этому мешали апелляции к священным догматам сбалансированного бюджета и свободного предпринимательства, считавшимся единственным надежным фундаментом экономической мощи воюющего государства. Бюджетная и валютная ортодоксия заставила Великобританию сохранять верность традиционному стратегическому принципу «ограниченного участия», хотя страна оказалась фактически перед угрозой тотальной войны; а в Соединенных Штатах крупные корпорации, например нефтяные и алюминиевые, окружив себя бастионом из либеральных табу, весьма успешно противились подготовке промышленности к работе в чрезвычайных условиях. Если бы не отчаянное упрямство, с которым экономические либералы цеплялись за свои заблуждения, вожди англосаксонской расы граждан свободного мира были бы гораздо лучше подготовлены к величайшему испытанию века, а может быть, сумели бы его совершенно избежать.

Событий последнего десятилетия оказалось недостаточно, чтобы разрушить вековые догматы социальной организации, охватывавшей весь цивилизованный мир. Как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах основой существования миллионов самостоятельных единиц бизнеса по-прежнему остается

laissez-faire. Оглушительное фиаско в одной сфере не смогло подорвать его авторитет во всех других. Более того, эта частичная неудача скорее лишь укрепила его власть над умами, ибо защитники

laissez-faire могли теперь утверждать, что как раз неполная реализация его принципов и

является-де истинной причиной всех без исключения несчастий, которые ставятся ему в вину.

В самом деле, других доводов у экономического либерализма больше не осталось. Его апологеты в бесчисленных вариациях повторяют, что если бы не политика, проводимая его противниками, либерализм смог бы оправдать возложенные на него надежды, и что ответственность за все наши беды несут не конкурентная система и не саморегулирующийся рынок, но вмешательство в работу данной системы и помехи, чинимые данному рынку. Тезис этот находит подтверждение не только во множестве недавних посягательств на экономическую свободу, но и в том бесспорном факте, что во второй половине XIX в. процесс распространения системы саморегулирующихся рынков постоянно наталкивался на упорные попытки воспрепятствовать свободному функционированию подобным образом устроенной экономики.

А значит, экономический либерал получает возможность формулировать свою позицию, связывая в единое целое прошлое и настоящее. Ибо кто же возьмется отрицать, что правительственное вмешательство в бизнес способно подорвать доверие субъектов бизнеса? Кто станет спорить, что уровень безработицы мог бы порой быть ниже, если бы не предусмотренные законом пособия для безработных? Что конкуренция со стороны общественных работ причиняет ущерб частному бизнесу? Что финансовый дефицит может поставить под угрозу частные инвестиции? Что патернализм убивает предпринимательскую инициативу? И если так обстоит дело сейчас, то разве могло быть иначе в прошлом? Кто в силах усомниться, что всеобщее протекционистское движение, социальное и национальное, начавшееся в Европе примерно в 70-е гг. XIX столетия, стесняло и ограничивало торговлю? Кому же не ясно, что фабричные законы, социальное страхование, муниципальная торговля, общественное здравоохранение, коммунальное строительство, тарифы, субсидии и поощрительные премии, картели и тресты, запреты на иммиграцию, на движение капиталов, на импорт, не говоря уже о других, менее явных ограничениях на передвижение людей, товаров и денег, препятствовали нормальному функционированию конкурентной системы, ибо все эти меры затягивали экономические депрессии, увеличивали безработицу, обостряли финансовые кризисы, сокращали торговлю, нанося таким образом серьезный ущерб саморегулирующемуся механизму рынка? Именно эти посягательства на свободу найма, торговли и денежного обращения, твердит либерал, именно эти покушения, совершавшиеся начиная с третьей четверти XIX в. всевозможными школами социального, национального и монополистического протекционизма, и были корнем всех зол; и если бы не нечестивый союз тред-юнионов и рабочих партий с промышленниками-монополистами и аграриями, которые в близорукой своей алчности общими усилиями уничтожили экономическую свободу, то сегодня мир наш наслаждался бы плодами почти автоматически действующей системы производства материальных благ. Либеральные авторы без устали повторяют, что источником трагедии XIX в. явилась неспособность человечества сохранить верность вдохновенным прозрениям первых либералов; что благородный почин наших предков был сведен на нет темными страстями национализма и классовой войны, корпорациями и монополиями, а главное — прискорбной слепотой трудящихся классов, так и не сумевших уразуметь благодетельность ничем не ограниченной экономической свободы, которая служит, в конечном счете, интересам всего человечества, в том числе и интересам самих рабочих. В итоге грандиозный прогресс, моральный и интеллектуальный, оказался невозможным по причине интеллектуальной и моральной немощи большинства, а то, чего добился дух Просвещения, было уничтожено силами косности и эгоизма. Таковы вкратце главные пункты защитительной речи экономического либерала, и если их не опровергнуть, то симпатии публики в этом состязании аргументов по-прежнему будут на его стороне.

Сформулируем суть проблемы. Все согласны, что либеральное движение, ставившее своей целью распространение рыночной системы, встретило противодействие со стороны протекционистского контрдвижения, стремившегося его ограничить, — подобная мысль лежит

в основе и нашего тезиса о «двух движениях». Но если мы утверждаем, что идея саморегулирующейся рыночной системы, абсурдная по своему существу, в конце концов уничтожила бы человеческое общество, то либерал обвиняет самые различные силы в том, что они-де погубили великое и благородное дело. Будучи неспособен привести доказательства каких-либо согласованных действий с целью остановить либеральное движение, он прибегает к удобной гипотезе о неких тайных кознях, гипотезе, опровергать которую просто не представляется возможным. Это и есть миф об антилиберальном заговоре, в том или ином варианте характерный для всех либеральных интерпретаций истории 1870–1880 гг. Основную причину резкой перемены декораций их авторы, как правило, видят в подъеме национализма и социализма, а роль главных злодеев в этой пьесе приписывают ассоциациям промышленников, монополистам, крупным землевладельцам и профсоюзам. Таким образом, в самой туманной и возвышенной своей форме либеральная доктрина гипостазировывает действие в современном обществе некоего диалектического закона, который сводит на нет благородные усилия просвещенного разума, а в самой грубой и топорной версии опускается до нападков на политическую демократию как якобы главный источник интервенционизма.

Между тем факты напрочь опровергают утверждения либералов. Антилиберальный заговор есть чистая выдумка. Огромное разнообразие форм, которые принимало «коллективистское» контрдвижение, было обусловлено отнюдь не какими-то симпатиями к социализму и национализму со стороны «согласованно действующих» сил, но единственно лишь тем обстоятельством, что развитие рыночного механизма затрагивало чрезвычайно широкий круг жизненно важных интересов всего общества. Это помогает нам понять, почему распространение данного механизма почти всюду вызывало противодействие преимущественно практического характера. Интеллектуальные моды не играли в этом процессе никакой роли, а значит, о влиянии предрассудка, который либералы считают идеологической основой антилиберального движения, не может быть и речи. И хотя 1870-1880-е гг. действительно стали периодом крушения ортодоксального либерализма и именно к этой эпохе восходят все ключевые проблемы нашего времени, было бы неверно утверждать, будто переход к социальному и национальному протекционизму объяснялся какими-либо иными причинами, кроме того факта, что внутренние пороки саморегулирующегося рынка и неотделимые от подобной системы опасности обнаружили с полной очевидностью. Доказать это можно разными способами.

Во-первых, поражает многообразие и несходство конкретных сфер, в которых проявилось «коллективистское» контрдвижение. Это само по себе исключает всякую возможность согласованных действий. Обратимся к списку примеров государственного вмешательства, который составил в 1884 г. Герберт Спенсер, обвиняя либералов в том, что они-де изменили своим принципам ради «регламентирующего законодательства».[61] Более широкий спектр вопросов едва ли можно вообразить. В 1860 г. была учреждена должность «инспекторов качества пищи и питья, с оплатой соответствующих расходов из местных налогов»; за этим последовали Акт, предусматривавший «инспекцию газовых заводов», а также дополнение к Акту о горной промышленности, «устанавливавшее наказание за использование труда детей моложе двенадцати лет, не посещающих школу и не умеющих читать и писать». В 1863 г. «инспекторы законодательства о бедных получили право проводить обязательное оспопрививание»; местные власти были уполномочены «устанавливать тарифы за наем перевозочных средств»; а некоторые формируемые на местах органы «предоставили им право облагать население налогом для проведения работ по дренажу и ирригации земель, а также для обеспечения водой скота»; в 1862 г. был принят Акт, запрещающий угольные шахты с одним стволом; Акт, наделявший Совет медицинского просвещения исключительным правом «составлять фармакопеи; цены же на них должно было устанавливать Государственное казначейство». Перечисляя эти и им подобные меры, пораженный ужасом Спенсер исписал несколько страниц. В 1863 г. «обязательная прививка оспы была распространена на Шотландию и Ирландию». Были также изданы Акт о назначении особых

инспекторов для определения того, «качественными или некачественными являются продукты питания»; Акт о трубочистах, с целью предотвратить увечья и возможную гибель детей, которым поручают чистить слишком узкие дымоходы; Акт о заразных болезнях; Акт о публичных библиотеках, «на основании которого большинство получало право облагать налогом меньшинство, чтобы обеспечить себя книгами». Все эти акты Спенсер приводил в качестве неопровержимых улик антилиберального заговора. Однако каждый из них имел дело с какой-то конкретной проблемой, порожденной условиями современного промышленного производства, и ставил своей целью защиту определенных интересов общества от угроз, непосредственно связанных с этими условиями или, во всяком случае, с рыночным характером последних. Для человека, рассуждающего непредвзято, они служат доказательством чисто практической и прагматической природы «коллективистского» контрдвижения. Люди, принимавшие подобные меры, являлись в большинстве своем убежденными сторонниками

laissez-faire и уж, конечно же, не могли желать, чтобы их согласие на создание в Лондоне пожарной команды истолковывалось как протест против принципов экономического либерализма. Напротив, инициаторы этих законодательных актов были, как правило, бескомпромиссными противниками социализма и любых иных форм коллективизма.

Во-вторых, переход от либерализма к «коллективистским» методам происходил порой совершенно неожиданно, и люди, занятые законотворческими размышлениями, сами его не осознавали. Дайси приводит классический пример — Акт о компенсации работникам, где речь шла об ответственности работодателя за ущерб, причиненный его рабочим в течение срока найма. История различных актов, осуществлявших эту идею начиная с 1880 г., демонстрирует твердую приверженность законодателей индивидуалистическому принципу, согласно которому ответственность нанимателя перед его наемными работниками не должна чем-либо отличаться от его ответственности перед другими лицами, т. е. совершенно посторонними ему людьми. Едва ли этот взгляд сколько-нибудь изменился, когда в 1897 г. на работодателя вдруг возложили обязанность страховать своих работников от любых увечий, полученных ими в период найма, — «вполне коллективистский закон», как справедливо заметил Дайси. Невозможно привести более ясное доказательство того, что замена либерального принципа антилиберальным была вызвана вовсе не изменением позиций заинтересованных сторон или переворотом во взглядах общества на этот вопрос, но исключительно лишь эволюцией конкретных условий, в которых возникла данная проблема и шел поиск ее решения.

В-третьих, еще одно доказательство — косвенное, но в высшей степени убедительное — дает нам сопоставление соответствующих процессов в странах, весьма несходных по своему политическому и идеологическому облику. Викторианская Англия представляла собой полную противоположность Пруссии Бисмарка, и обе они сильно отличались от Франции эпохи Третьей республики и от Габсбургской империи. Тем не менее каждая из них прошла через период свободной торговли и

laissez-faire, за которым последовал период антилиберального законодательства в отношении государственного здравоохранения, условий труда в промышленности, муниципальной торговли, социального страхования, морских субсидий, коммунальных сооружений, торговых ассоциаций и т. д. Нетрудно было бы составить точную хронологию с указанием дат, когда в разных странах происходили аналогичные перемены. В Англии компенсация работникам была установлена законом в 1880 и 1897 гг., в Германии — в 1879 г., в Австрии — в 1887 г., во Франции — в 1889 г.; фабричная инспекция была введена в Англии в 1833 г., в Пруссии — в 1853 г., в Австрии — в 1883 г., во Франции — в 1874 и 1883 гг.; муниципальная торговля (включая коммунальные сооружения) появилась в Бирмингеме в 1870-е гг. по инициативе Джозефа Чемберлена, диссентера и капиталиста; в императорской Вене 1890-х гг. у ее истоков стоял Карл Люгер, католический «социалист» и ярый антисемит; в немецких и французских муниципалитетах ее создавали местные политические коалиции разнообразного состава. В некоторых случаях меры эти поддерживались крайними

реакционерами и непримиримыми противниками социализма (Вена), иногда — «радикальными империалистами» (Бирмингем) или же либералами чистой воды (Эдуард Эррио, мэр Лиона). В протестантской Англии над завершением фабричного законодательства работали, сменяя друг друга, консервативные и либеральные кабинеты; в Германии этим занимались католики и социал-демократы, в Австрии — церковь и ее самые воинствующие сторонники; во Франции те же по сути законы были приняты благодаря усилиям врагов церкви и пылких антиклерикалов. Так, действуя под самыми разнообразными лозунгами и из весьма несходных побуждений, всевозможные партии и социальные слои осуществили в целом ряде стран и в отношении широкого круга сложных проблем практически тождественные по своему характеру меры. Ясно, что не может быть ничего более нелепого, чем заключать отсюда, как это делают творцы легенды об антилиберальном заговоре, будто ими скрытно двигали одинаковые идеологические предрассудки или же узкие групповые интересы. Напротив, все подтверждает нашу мысль о том, что законодатели оказались просто неспособными противиться неумолимому действию вполне объективных и весьма серьезных причин.

В-четвертых, отметим следующий знаменательный факт: в разные периоды и в целом ряде вполне определенных случаев, в практическом и теоретическом плане чрезвычайно важных, экономические либералы сами выступали за ограничение свободы контрактов и

laissez-faire. «Антилиберальные предрассудки», разумеется, не могли служить мотивом их действий. Мы имеем в виду принцип ассоциации работников, с одной стороны, и закон предпринимательских корпораций — с другой. Первый относится к праву рабочих вступать в союзы с целью повышения заработной платы, второй — к праву картелей, трестов и иных форм капиталистических синдикатов повышать цены. В обоих случаях справедливым было обвинение в том, что свобода контрактов, или

laissez-faire, используется в ущерб нормальному функционированию рынка. Шла ли речь о рабочих союзах, стремившихся повысить заработную плату, или о союзах промышленников, желавших поднять цены, было совершенно ясно, что заинтересованные стороны применяют принцип

laissez-faire для того, чтобы сузить рынок труда или иных товаров. И в том, и в другом случае — и это весьма показательно — последовательные либералы, от Ллойда Джорджа и Теодора Рузвельта до Турмена Арнольда и Уолтера Липпмана, подчиняли

laissez-faire принципу свободного конкурентного рынка; они решительно требовали регламентации и ограничений, уголовных законов и принудительных мер, утверждая, словно самые настоящие «коллективисты», что профсоюзы и корпорации «злоупотребляют» свободой контрактов. Теоретически

laissez-faire, или свобода контрактов, подразумевала право рабочих индивидуально или сообща отказываться продавать свой труд, коль скоро они сочтут нужным так поступить; она означала также право предпринимателей договариваться между собой о продажных ценах, совершенно не принимая в расчет желания потребителей. Однако на практике эти права вступали в противоречие с институтом саморегулирующегося рынка, и при возникновении подобного конфликта интересы саморегулирующегося рынка неизменно ставились на первое место. Иными словами, если требования саморегулирующегося рынка оказывались несовместимыми с

laissez-faire, то экономический либерал ополчался против

laissez-faire и, словно превратившись в антилиберала, ратовал за т. н. коллективистские методы регулирования и ограничения. Именно эта позиция стояла у истоков закона о профсоюзах и антитрестовского законодательства. Нельзя привести более убедительного

доказательства неизбежности антилиберальных, или «коллективистских», методов в условиях современного индустриального общества, чем тот факт, что сами же экономические либералы регулярно использовали подобные методы в важнейших сферах индустриальной организации.

Это обстоятельство, между прочим, помогает прояснить истинный смысл термина «интервенционизм», которым экономические либералы любят обозначать политику, противоположную их собственной, и который на самом деле лишь свидетельствует о крайней путанице в их головах. Противоположностью интервенционизма является

laissez-faire; экономический же либерализм, как мы только что убедились, невозможно отождествлять с

laissez-faire (хотя в обычном, не претендующем на научную точность словоупотреблении вполне позволительно использовать эти термины как равнозначные). Строго говоря, экономический либерализм представляет собой организующий принцип общества, в котором основой промышленности является институт саморегулирующегося рынка. Правда, коль скоро подобную систему уже удалось в общем и целом построить, необходимость в определенном типе вмешательства уменьшается. Это, однако, вовсе не означает, будто рыночная система и интервенционизм несовместимы. Ведь до тех пор, пока система эта еще не создана, экономические либералы должны и будут настойчиво требовать государственного вмешательства с целью ее создания; если же она создана, они будут домогаться того же ради ее защиты и сохранения. А значит, экономический либерал может, оставаясь вполне последовательным, призывать государство употребить силу закона; более того, ради создания предпосылок саморегулирующегося рынка он способен апеллировать к жестокой стихии гражданской войны. В Америке, например, Юг обращался к аргументам

laissez-faire, чтобы оправдать рабство; Север же прибег к вооруженному вмешательству, чтобы установить свободный рынок труда. Таким образом, обвинение в интервенционизме есть со стороны либеральных авторов пустой лозунг, означающий лишь то, что в разных ситуациях они могут осуждать или одобрять одну и ту же систему мер. Единственный принцип, который экономические либералы могут отстаивать, не вступая в противоречие с собой, — это принцип саморегулирующегося рынка, независимо от того, побуждает он их к вмешательству или нет.

Подведем итоги. Контрдвижение против экономического либерализма и

laissez-faire обладало всеми явными признаками спонтанной реакции. Оно началось во множестве отдельных пунктов, при этом невозможно обнаружить ни какую-либо связь между интересами непосредственных его участников, ни какую-либо идеологическую близость между ними. Даже в подходе к одному и тому же вопросу, как, например, в случае с компенсациями рабочим, характер решений мог изменяться самым радикальным образом — от индивидуалистических к «коллективистским», от либеральных к антилиберальным, от

laissez-faire к различным вариантам интервенционизма; и все это без каких-либо перемен в экономических интересах, идеологических позициях или политическом составе соответствующих сил, а просто в результате более глубокого понимания природы данной проблемы. Кроме того, мы смогли показать, что чрезвычайно сходный по своему характеру поворот от

laissez-faire к «коллективизму» пришелся в различных странах на вполне определенную стадию их промышленного развития, что свидетельствует о глубине и независимости причин, лежавших в основе данного процесса, процесса, который экономические либералы столь легкомысленно объясняют переменчивыми настроениями или всякого рода узкими интересами. Наконец, наш анализ продемонстрировал, что даже радикальные приверженцы

экономического либерализма не могли не осознать того факта, что

laissez-faire несовместим с условиями развитого индустриального общества, ибо в принципиально важных вопросах (закон о профсоюзах, антитрестовское законодательство) сами же ультра-либералы вынуждены были требовать широкого правительственного вмешательства, чтобы защитить от монополистских сговоров ключевые предпосылки функционирования саморегулирующегося рынка. Даже для реализации принципов свободы торговли и конкуренции подобное вмешательство оказалось совершенно необходимым. Таким образом, либеральный миф о «коллективистском» заговоре противоречит всем историческим фактам.

Последние между тем полностью подтверждают нашу интерпретацию двух противоборствующих движений. Ведь если рыночная экономика, как мы пытались показать, угрожала человеческой и природной основам социального устройства, то чего еще можно было ожидать, как не настойчивого стремления самых разных слоев общества создать какую-то систему защиты? Именно это, как мы обнаружили, и имело место в действительности. Далее, вполне естественно думать, что это должно было произойти помимо действия всяких теоретических предубеждений или интеллектуальных предрассудков тех или иных социальных групп и независимо от их отношения к фундаментальным принципам рыночной экономики. Опять же мы видим, что дело обстоит именно так. Кроме того, мы предположили, что если удастся продемонстрировать, что конкретные интересы классов и групп не определялись специфическими идеологиями, существовавшими в тех или иных странах, то сравнительная история различных государственных систем явится чем-то вроде опытного подтверждения нашего тезиса. И здесь мы смогли привести чрезвычайно убедительные свидетельства. Наконец, образ действия самих же либералов доказал, что защита свободы торговли (или, в наших терминах, саморегулирующегося рынка) вовсе не исключала интервенционизм, а, напротив, требовала подобной политики, и что сами либералы, как например, в случае с законом о профсоюзах и антитрестовским законодательством, постоянно призывали государство к принятию мер принудительного характера. А значит, факты реальной истории дают более чем убедительный ответ на вопрос, какая же из противоположных интерпретаций «двух движений» была правильной: позиция либерала, утверждавшего, что его политике так и не было предоставлено ни единого шанса, ибо ее задушили в зародыше близорукие тред-юнионисты, марксисты-интеллектуалы, алчные промышленники и реакционеры-аграрии; или мнение его критиков, которые могут сослаться на повсеместное «коллективистское» противодействие росту рыночной экономики как на неопровержимое доказательство того, что утопический принцип саморегулирующегося рынка представлял громадную опасность для общества.

Глава 13

Рождение либерального символа веры (продолжение)

Классовые интересы и социальные изменения

Чтобы подлинная основа социально-экономической истории XIX в. предстала перед нами с полной ясностью, нужно до конца рассеять туман либерального мифа о коллективистском заговоре. Согласно этой легенде, протекционизм был лишь порождением низменных интересов аграриев, фабрикантов и профсоюзов, которые в тупом своем эгоизме разрушили автоматическую систему рынка. Марксистские партии — в другой форме и, разумеется, следуя противоположной политической тенденции — также рассуждали об этом в терминах групповых интересов. (То обстоятельство, что в глубинной своей основе философия Маркса

исходит из идеи общества как целого и из представления о неэкономической природе человека, к данному вопросу отношения не имеет.[62]) Сам Маркс, идя по стопам Рикардо, определял классы с экономической точки зрения, а экономическая эксплуатация представляла собой, несомненно, характерную черту буржуазной эпохи.

В популярной версии марксизма это привело к примитивной, вульгарно-классовой теории общественного развития. Стремление к захвату рынков и к расширению зон влияния объяснялось очень простым мотивом — выгодами жадной до прибылей кучки финансистов. В империализме видели капиталистический заговор с целью вовлечь правительства в войны, служащие интересам крупного капитала. Причиной войн считали эти самые интересы в сочетании с выгодами фабрикантов вооружения, которые приобрели воистину сверхъестественную способность увлекать целые нации на гибельный путь, вопреки их очевиднейшим жизненным интересам. Видя источник протекционистского движения в действии групповых интересов, объясняя аграрные тарифы политическим давлением помещиков-реакционеров, усматривая причину роста монополистических форм предпринимательства в жадности промышленных магнатов, изображая войну безумием разъяренного, словно геральдический лев, крупного капитала, либералы и марксисты фактически сходились во мнениях.

Таким образом, экономические воззрения либералов нашли мощную опору в узкой классовой теории. Глядя на мир с позиций противостоящих друг другу классов, либералы и марксисты защищали, в сущности, тождественные положения. Они приводили прямо-таки железные доказательства того, что протекционизм XIX в. был результатом классовой по своему содержанию политики и что эта политика служила прежде всего экономическим интересам представителей соответствующих классов. Совместными усилиями либералы и марксисты почти полностью заслонили от человеческих взоров целостную картину рыночного общества и той роли, которую играет в подобном обществе протекционизм.

На самом же деле классовые интересы представляют собой явно недостаточное объяснение глубинных и продолжительных общественных процессов. Гораздо чаще судьба классов определяется потребностями общества, нежели судьба общества — потребностями классов. Применительно к обществу с четкой и устойчивой структурой классовая теория работает — но как быть, если сама эта структура изменяется? Класс, лишившийся прежней функции, утративший смысл своего существования, может дезинтегрироваться, а его место может тотчас же занять новый класс или новые классы. Далее, шансы всякого класса на успех в борьбе зависят обычно от его способности обеспечить поддержку со стороны представителей других классов, которая, опять же, зависит от того, выполняет ли данный класс задачи, обусловленные интересами более широкими, чем его собственные. А значит, ни рождение, ни гибель классов, ни их цели, ни степень достижения последних, ни сотрудничество классов, ни их противоборство не могут быть правильно поняты, если рассматривать их вне связи с положением общества в целом.

Положение же это определяется, как правило, внешними причинами, такими, например, как изменение климата или уровня урожайности, новый враг или новое оружие в руках старых недругов, появление у общества новых целей или открытие новых методов достижения целей традиционных. И чтобы уяснить роль групповых интересов в социальном развитии, нужно установить, как соотносятся они с этой, целостной ситуацией.

В процессе общественных изменений классовые интересы неизбежно играют весьма существенную роль, ведь любого рода серьезные сдвиги по необходимости затрагивают разные части общества неодинаково — уже хотя бы из-за чисто географических различий или из-за несходства в их экономических возможностях или культурном багаже. А следовательно, групповые интересы представляют собой естественный инструмент и двигатель социальных и политических изменений. Что бы ни было причиной последних — война или торговля, поразительные открытия или изменения природной среды — различные общественные

группы будут выступать за разные (в том числе и насильственные) методы адаптации и приспособливать свои собственные интересы не так, как это делают другие группы (которые они, возможно, попытаются подчинить своему влиянию и увлечь за собой), а потому объяснить, как конкретно произошло данное изменение, можно лишь в том случае, если мы способны указать, какая группа или какие группы его осуществили. Однако исходная, первоначальная причина процесса определяется внешними факторами, и только механизм перемен создается внутренними силами самого общества. «Вызов» принимает общество как целое, «ответ» на него дают различные группы, слои и классы.

А значит, классовые интересы сами по себе не могут служить удовлетворительным объяснением сколько-нибудь серьезных и долговременных социальных процессов — во-первых, потому, что от данного процесса может зависеть самое существование того или иного класса; во-вторых, по той причине, что интересы конкретных классов детерминируют единственно лишь их цели и стремления, но вовсе не предопределяют конечный успех или неудачу соответствующих усилий. Классовые интересы не заключают в себе волшебных чар, способных обеспечить представителям данного класса поддержку представителей других классов. Тем не менее подобная поддержка — самое обычное явление, и протекционизм — один из ее примеров. Проблема здесь не в том, что аграрии, промышленники и профсоюзы желали повысить свои доходы с помощью протекционистских мер, а скорее в том, почему им удалось это сделать; не в том, почему рабочие и предприниматели хотели установить монополию на свои товары, но в том, почему они добились своей цели, не в том, почему некоторые общественные группы в ряде стран континентальной Европы желали действовать сходным образом, но в том, почему подобные группы существовали в государствах, в прочих отношениях весьма несходных, и почему они всюду достигли желаемого; не в том, почему производители зерна пытались продать его подороже, а в том, почему им всякий раз удавалось убедить покупателей хлеба содействовать повышению цен на него.

Далее. Существует столь же ошибочная доктрина, согласно которой классовые интересы имеют по преимуществу экономическую природу. Разумеется, жизнь человеческого общества не может не зависеть от экономических факторов, и, однако, мотивы поведения конкретных индивидов лишь в исключительных случаях определяются в плоскости «материальная потребность — ее удовлетворение». То, что общество XIX в. строилось на допущении, будто подобную мотивацию можно сделать универсальной, являлось характерной чертой данной эпохи, а значит, при анализе этого общества мы были вправе уделить довольно значительное место действию чисто экономических мотивов. Здесь, однако, нам следует остерегаться поспешных выводов, ибо вопрос в том и состоит, в какой мере столь необыкновенная мотивация могла быть эффективной.

Чисто экономические факторы, вроде тех, что лежат в сфере «потребность-удовлетворение», связаны с поведением классов в несравненно меньшей степени, чем соображения общественного признания и одобрения. Конечно, удовлетворение потребности может быть результатом подобного одобрения, в особенности как его внешний признак или обусловленная им награда. Однако самым непосредственным образом классовые интересы относятся к иной проблематике — к вопросам репутации, престижа, статуса и его обеспеченности, иначе говоря, являются в своей основе не экономическими, а социальными.

Отнюдь не экономические интересы были главным стимулом, который пробуждал в разные периоды те или иные классы и группы к участию в развернувшемся после 1870 г. широком протекционистском движении. «Коллективистские» законодательные акты, принятые в эту переломную эпоху, лишь в отдельных случаях были связаны с интересами какого-то одного конкретного класса, но даже тогда интересы эти едва ли можно было охарактеризовать как экономические. В самом деле, каким же это «близоруким экономическим интересам» мог служить акт, предоставлявший городским властям право брать на себя попечение об имеющих эстетическую ценность заброшенных объектах? Или предписание об уборке пекарен с мылом и горячей водой не реже одного раза в полгода? Или акт об обязательной

проверке качества якорей и канатов? Подобные меры являлись всего лишь реакцией на проблемы индустриальной цивилизации, разрешить которые рыночными методами было попросту невозможно. Огромное большинство этих интервенционистских актов имело в лучшем случае самое косвенное отношение к чьим-либо доходам. Это можно утверждать практически о всех законах, касавшихся охраны здоровья и устройства ферм, публичных библиотек и коммунальных сооружений, условий труда на фабриках и социального страхования. То же самое мы вправе сказать о предприятиях коммунальной инфраструктуры, об образовании, о транспорте и о бесчисленном множестве других сфер. Но даже там, где так или иначе затрагивался денежный вопрос, его подчиняли интересам иного рода. Почти всегда речь шла в первую очередь о профессиональном статусе человека, о его безопасности и уверенности в будущем, о нормальных* условиях его существования, о широте его жизненных горизонтов, о сохранении окружающей его среды. Разумеется, нельзя преуменьшать финансовую сторону некоторых типичных актов вмешательства, например таможенных тарифов и компенсации рабочим, но даже в этих случаях неденежные интересы были неотделимы от денежных. Таможенные тарифы, имевшие своей непосредственной целью прибыль для капиталистов и заработную плату для рабочих, означали в конечном счете обеспечение занятости, стабильность ситуации в отдельных регионах, гарантию существования целых отраслей промышленности, а кроме того, и это, пожалуй, самое главное, они позволяли предотвратить болезненную потерю социального статуса — неизбежное следствие вынужденного перехода к новому роду занятий, где человек не может проявить себя столь же умелым и опытным работником, как в прежней своей профессии.

Стоит лишь нам избавиться от навязчивой идеи, будто единственно групповые, а отнюдь не общие интересы могут быть эффективно реализованы, а также от сходного с ней предрассудка, ограничивающего интересы человеческих групп их денежными доходами, и широкий, всеохватывающий характер протекционистского движения тотчас же перестанет нам казаться чем-то таинственно-непостижимым. Денежные интересы выражают по необходимости лишь те лица, кого они непосредственно касаются, тогда как прочие интересы имеют гораздо более широкий круг защитников. Они затрагивают индивидов в их бесчисленных ипостасях — как соседей, представителей определенных профессий, потребителей, пешеходов, пассажиров, туристов, садоводов, пациентов, матерей, влюбленных; а потому их может представлять практически любой тип территориальных или функциональных ассоциаций и сообществ — церкви, мелкие административные единицы, масонские ложи, клубы, профсоюзы или, чаще всего, массовые политические партии. Слишком узкое понимание «интереса» с неизбежностью искажает картину социальной и политической истории, а все чисто денежные определения интересов не оставляют места для жизненно важной потребности в социальной защите, обеспечение которой выпадает обычно на долю лиц, призванных заботиться об общих интересах социума, — в современных условиях это правительства отдельных государств. Именно потому, что рынок угрожал не экономическим, а именно социальным интересам различных слоев населения, люди, принадлежавшие к разным экономическим группам, стихийно объединяли свои усилия в попытке отвести нависшую над всем обществом опасность.

Следовательно, действие классового фактора одновременно и способствовало и препятствовало становлению рынка. Поскольку неперенным условием создания рыночной системы являлось машинное производство, то единственно лишь торгово-промышленные классы были в состоянии возглавить процесс трансформации на начальном его этапе. Возникший из остатков старых классов, новый класс предпринимателей должен был взять на себя руководство этим процессом, отвечавшим интересам всего общества. Но если рост влияния промышленников, предпринимателей и капиталистов был обусловлен их ведущей ролью в экспансии рынка, то защита от ее последствий выпала на долю традиционных землевладельческих классов и зарождающегося рабочего класса. И если среди коммерческих слоев именно капиталистам суждено было отстаивать структурные принципы рыночной системы, то роль фанатических защитников общественной структуры стала уделом

феодалской аристократии, с одной стороны, и формирующегося промышленного пролетариата — с другой. Но в то время как землевладельческие классы, что было для них вполне естественно, искали спасения от всех бед в попытках сохранить прошлое, положение рабочих позволяло им до известной степени возвышаться над горизонтом рыночной системы, превосходя решения будущего. Это не значит, что возврат к феодализму или провозглашение социализма представляли собой реальные программы, но это свидетельствует о том, что в критических ситуациях аграрии и городские рабочие искали выход в совершенно разных направлениях. Если рыночный механизм выходил из строя (а всякий серьезный кризис создавал подобную угрозу), то землевладельцы пытались вернуться к военному или феодальному режиму патерналистского типа, тогда как промышленные рабочие считали необходимым создание кооперативной республики труда. Реакцией на кризис становились, таким образом, совершенно взаимоисключающие решения, а, значит, простое столкновение классовых интересов, которое при иных обстоятельствах могло завершиться компромиссом, приобретало теперь масштабы фатального конфликта.

Все сказанное выше должно предостеречь нас от чрезмерных упований на то, что экономические интересы определенных классов помогут нам многое понять в реальной истории. Подобный подход косвенно предполагает такую «определенность» этих классов, какая возможна лишь в абсолютно неразрушимом обществе. Он совершенно не учитывает переломные эпохи истории, когда цивилизация терпит крушение или переживает трансформацию, когда из остатков прежних классов или даже из посторонних элементов, вроде чужеземных авантюристов или изгоев, образуются, и порой весьма стремительно, новые классы. В кризисные эпохи истории новые классы часто возникают исключительно под давлением насущных потребностей данного момента. А значит, роль любого класса в исторической драме задана в конечном счете его отношением к обществу в целом, а его успехи определяются широтой и многообразием тех, отличных от его собственных, интересов, которым этот класс способен служить. Действительно, политика, основанная на узком классовом интересе, не в силах обеспечить должным образом сам этот интерес, — правило, исключения из которого весьма немногочисленны. Ни один класс — откровенный «эгоист» не способен закрепиться на ведущих позициях в обществе, иначе альтернативой существующему социальному порядку станет падение в бездну абсолютного хаоса и разрушения.

Желая сделать свои обвинения в адрес «коллективистского заговора» совершенно неотразимыми, экономические либералы с необходимостью приходят к утверждению, будто общество вовсе не нуждалось в какой-либо защите. Не так давно они шумно рукоплескали теориям некоторых ученых, отвергнувших традиционную интерпретацию промышленной революции, согласно которой в 1790-е гг. на трудящиеся классы Англии обрушились катастрофические бедствия. По мнению же этих авторов, ничего похожего на резкое падение уровня жизни простого народа тогда не произошло. Напротив, после создания фабричной системы материальное положение трудящихся в общем и целом заметно улучшилось, а что касается их количества, то отрицать его стремительный рост совершенно невозможно. Если судить по общепризнанным критериям экономического благополучия — уровню реальной заработной платы и динамике народонаселения, — то *Inferno** раннего капитализма, утверждали они, попросту не существовало в природе; трудящиеся классы отнюдь не подвергались эксплуатации, более того, в экономическом смысле они многое выиграли, а потому доказывать необходимость защиты общества от действия системы, приносившей выгоду всем и каждому, есть вопиющая нелепость.

Критики либерального капитализма были озадачены. В самом деле, на протяжении примерно семидесяти лет ученые мужи и правительственные комиссии в один голос обличали ужасы промышленной революции, а целый сонм поэтов, писателей и мыслителей гневно клеймил ее жестокости. Считалось бесспорным, что бездушные эксплуататоры, пользуясь полной беззащитностью масс, заставляли их работать, как каторжников, и вдобавок морили голодом;

что процесс огораживаний, лишив сельских жителей их домов и земельных участков, бросил их в дикую стихию рынка труда, созданного Реформой законодательства о бедных; что достоверно установленные трагедии маленьких детей, нередко умиравших от непосильного труда на фабриках и шахтах, служат страшным доказательством бедственного положения народных масс. Действительно, традиционная трактовка промышленной революции основывалась на новом уровне эксплуатации, ставшем возможным благодаря огораживаниям XVIII в., и на низкой заработной плате бездомных рабочих, которая объясняла как высокий уровень прибыли в хлопчатобумажной промышленности, так и быстрое накопление капиталов в руках первых фабрикантов. Капиталистов обвиняли в эксплуатации, в безжалостной и необузданной эксплуатации своих сограждан, которая являлась первопричиной невыносимых страданий и ужасающей деградацией простого народа. Теперь же все это, казалось, было опровергнуто. Экономические историки принесли миру благую весть: черные тучи, нависавшие над первыми десятилетиями фабричной системы, рассеяны без следа. Ибо как можно говорить о социальной катастрофе там, где имел место бесспорный экономический прогресс?

Между тем социальные бедствия, вне всякого сомнения, представляют собой прежде всего общекультурный, а не чисто экономический феномен; феномен, который нельзя измерить статистикой народонаселения или данными об уровне доходов. Понятно, что культурные катастрофы, постигающие широкие слои простого народа, не могут происходить часто, но ведь нечасто случаются и такие катаклизмы, как промышленная революция, — подлинное экономическое землетрясение, которое менее чем за полвека превратило громадные массы обитателей английской деревни из прочно сидящих на своей земле людей в жалких бродяг и мигрантов. Но если разрушительные сдвиги подобного масштаба есть нечто исключительное в истории классов, то в сфере культурных контактов между народами разных рас это самое обычное явление. По сути, перед нами сходные ситуации. Различие заключается главным образом в том, что общественный класс составляет часть общества, живущего на одной территории, тогда как культурные контакты происходят обычно между обществами, которые принадлежат к разным географическим регионам. В обоих случаях контакт может иметь для слабой стороны самые губительные последствия. Причиной деградации будет тогда не экономическая эксплуатация жертвы, как это часто думали, а распад ее традиционной культурной среды. Собственно экономические процессы могут, разумеется, сыграть роль орудия разрушения, и почти всегда экономическое превосходство сильнейшего вынуждает капитулировать слабейшего; отсюда, однако, не следует, будто непосредственная причина его бедствий имеет экономический характер: причина эта — в смертельном ударе, нанесенном тем институтам, в которых воплощено его социальное бытие. Результатом становится потеря чувства самоуважения и кризис традиционных поведенческих норм — независимо от того, идет ли речь о народе или классе, является ли первоисточником процесса т. н. «конфликт культур» или перемены в положении определенного класса внутри общества.

Тому, кто изучает ранний капитализм, подобная параллель говорит о многом. Между ситуацией некоторых туземных племен современной Африки и положением английских трудящихся классов в начале XIX в. существует очевидное сходство. Южноафриканский кафр, этот благородный дикарь, социальное положение которого в его родном краале было настолько прочным, насколько это вообще возможно, превратился теперь в человеческую разновидность наполовину прирученного животного, одетого в «дурацкого вида грязные и отвратительные лохмотья, которые даже совершенно опустившийся белый человек никогда бы не стал носить»[63], в какое-то неподдающееся описанию существо, лишенное чувства собственного достоинства и всяких нравственных принципов, в истинное человеческое отребье. Данное описание напоминает ту характеристику, которую дал своим рабочим Роберт Оуэн, обращаясь к ним в Нью-Ланарке. С невозмутимостью социального исследователя, бесстрастно регистрирующего объективные факты, он прямо сказал им, почему они превратились теперь в жалкий и омерзительный сброд; истинную же причину деградации

этих людей нельзя было описать более точно, чем указав на то обстоятельство, что они живут в «культурном вакууме», — термин, использованный одним антропологом[64] для характеристики причин культурного вырождения некоторых храбрых племен черной Африки под влиянием контактов с белой цивилизацией. Их ремесла пришли в упадок, политические и социальные условия их существования уничтожены, и теперь, если употребить знаменитое выражение Риверса, они умирают от скуки или прожигают жизнь и расточают имущество в пьяном разгуле. Их собственная культура уже не способна ставить перед ними цели, достойные усилий и жертв, и в то же время расовые предрассудки и снобизм преграждают им путь к адекватному вхождению в культуру белых пришельцев.[65] Поставьте на место расовых перегородок социальные, и вы получите Две Нации 1840-х гг., где полным соответствием кафру будет похожий на привидение обитатель трущоб из романов Кингсли.

Иные из тех, кто охотно соглашается, что жизнь в культурном вакууме нельзя назвать настоящей человеческой жизнью, склонны тем не менее думать, что экономические потребности сами собой заполняют эту пустоту, и жизнь покажется человеку сносной при любых обстоятельствах. Результаты антропологических исследований полностью опровергают подобное предположение. «Цели, ради которых работают люди, обусловлены факторами культурного порядка, и не являются простой реакцией организма на внешнюю, в культурном смысле нейтральную ситуацию, подобную элементарному недостатку пищи», — пишет д-р Мид. «Процесс, в результате которого группа дикарей превращается в золотоискателей или матросов или просто утрачивает всякие стимулы к напряжению собственных сил и тихо умирает с голоду близ рек, по-прежнему изобилующих рыбой, кажется столь странным, столь чуждым природе общества и его нормальному функционированию, что его можно считать патологическим», и, однако, добавляет она, «именно это, как правило, и происходит с народом под действием навязанных ему извне или, по крайней мере, вызванных внешними факторами резких насильственных изменений...» Исследовательница заключает: «Этот внезапный, ничем не амортизированный контакт, этот страшный, разрушительный удар по традиционному жизненному укладу первобытных народов представляет собой слишком распространенный феномен, чтобы не заслужить самого серьезного внимания со стороны социальных историков».

Но социальные историки не вняли ее совету. Они по-прежнему не желают видеть, что стихийная, неодолимая мощь культурного контакта, революционизирующая ныне колониальный мир, и есть та самая сила, которая столетие тому назад вызвала к жизни мрачные реалии раннего капитализма. Другой антрополог[66] делает общий вывод: «При всех многочисленных внешних различиях народы экзотических стран сталкиваются сегодня по сути с теми же проблемами, перед которыми оказались мы несколько десятилетий или веков назад. Новые технические изобретения, новые знания, новые формы богатства и власти привели к росту социальной мобильности, т. е. к миграции индивидов, стремительным переменам в семейных отношениях, дифференциации отдельных групп, к появлению новых форм лидерства, новых жизненных моделей и установок, неизвестных прежде ценностей». От пронизательного ума Турнвальда не укрылось то обстоятельство, что нынешняя культурная катастрофа черного общества во многом аналогична тем бедствиям, которые постигли значительную часть белого общества на заре капитализма. И только социальные историки все еще не способны уразуметь смысл этой аналогии.

Ничто не портит наше социальное зрение с большим успехом, чем экономический предрассудок. При анализе колониальной проблемы на первый план всегда столь настойчиво выдвигался вопрос эксплуатации, что данный предмет заслуживает особого внимания. К тому же этой самой «эксплуатации» — в простом и понятном, обыденном смысле слова — белый человек подвергал отсталые народы мира так часто, так упорно и с такой жестокостью, что нежелание отвести ей центральное место в любой дискуссии о проблеме колониализма покажется, вероятно, свидетельством совершенной душевной черствости. И однако, именно этот всегдашний акцент на эксплуатацию заслоняет от наших взоров еще более важную

проблему — проблему культурного вырождения. Если определять «эксплуатацию» в строго экономических терминах, как постоянное несоответствие в меновых отношениях, то можно будет усомниться в том, имела ли она место вообще. Постигшая туземные общества катастрофа есть прямое следствие стремительного и безжалостного разрушения их фундаментальных социальных институтов (использовалось при этом насилие или нет, в данном случае не так уж важно). Эти институты терпят крах уже вследствие того простого факта, что рыночную экономику навязывают обществам, имеющим принципиально другую организацию; что труд и землю превращают в товар, или, если выразиться более пространно, что все без исключения культурные институты органического общества ликвидируются. Изменения же уровня доходов и динамики народонаселения не способны адекватно отразить подобный процесс, будучи ему явно несоизмеримы. Кто, к примеру, возьмется отрицать, что представители некогда свободного племени, постепенно превращенные в рабов, подвергались эксплуатации, хотя уровень их жизни в той стране, куда они были проданы, в каком-то особом, «научном» смысле, вполне мог быть выше, чем в родном африканском буше? Но ведь ровно ничего не изменилось бы, если бы покоренным туземцам европейцы оставили свободу и даже не вынуждали платить втридорога за свои дешевые хлопчатобумажные товары, и если бы голод в среде туземцев был вызван «всего лишь» распадом их социальных институтов.

Приведем знаменитый пример — Индию. Во второй половине XIX в. массы индийцев умирали от голода не потому, что их эксплуатировал Ланкашир; они гибли в громадных количествах по той причине, что была уничтожена индийская крестьянская община. Не подлежит сомнению, что произошло это под действием постоянного фактора экономической конкуренции — ткани машинной выработки стоили дешевле, чем ткавшийся вручную чаддар, — но ведь это указывает на нечто прямо противоположное экономической эксплуатации, поскольку демпинг и продажа по завышенным ценам — совершенно разные вещи. Истинной причиной голодовок в последние полвека была свободная торговля хлебом в сочетании с падением заработков в конкретных местностях. Разумеется, частью общей картины являлись неурожаи, однако перевозка зерна по железным дорогам позволяла оказывать помощь подвергшимся угрозе голода районам, — беда, однако, заключалась в том, что люди просто не в состоянии покупать привозной хлеб из-за бешеного роста цен, который в условиях уже свободного, но еще не вполне организованного рынка являлся неизбежной реакцией на нехватку соответствующего товара. В прежние времена на случай неурожая на местах делались небольшие запасы, но теперь от подобной практики отказались, либо содержание местных хранилищ уже поглотил «большой» рынок. Поэтому обычной формой борьбы с голодом стали общественные работы, призванные дать населению возможность покупать продукты по резко возросшим ценам. Таким образом, страшный голод, три или четыре раза опустошавший Британскую Индию в период после восстания сипаев, не был следствием ни жестокости природных стихий, ни эксплуатации; единственной его причиной являлась новая рыночная система организации трудовых и земельных отношений, которая разрушила прежний уклад индийской деревни, не решив фактически его проблем. Если во времена феодализма и сельской общины принцип

noblesse oblige [67], родовая солидарность и регулирование хлебной торговли позволяли более или менее успешно предотвращать голод, то в эпоху господства рынка уже ничто не могло помешать людям умирать с голоду в полном соответствии с новыми правилами игры. Термин «эксплуатация» слишком плохо характеризует положение в Индии, которое стало угрожающим лишь после того, как безжалостная монополия Ост-Индской компании была отменена и на смену ей пришла свобода торговли. При владычестве монополистов ситуацию в целом удавалось держать под контролем благодаря архаичным порядкам индийской деревни, в т. ч. бесплатным раздачам хлеба, зато во времена свободного и справедливого обмена индийцы вымирали миллионами. В чисто экономическом смысле Индия, возможно, — а в долгосрочной перспективе, бесспорно, — выиграла, однако в социальном отношении она была ввергнута в хаос и потому оказалась жертвой обнищания и деградации.

Можно утверждать, что, по крайней мере в некоторых случаях, механизм разрушительного культурного контакта был запущен, так сказать, прямой противоположностью эксплуатации. Если судить по нашим, денежным, критериям, то принудительное наделение североамериканских индейцев землей (1887) каждому из них в отдельности принесло пользу. Данная мера, однако, практически уничтожила расу в целом с точки зрения физических условий ее существования — самый, пожалуй, поразительный из известных нам примеров культурного вырождения. Почти полвека спустя нравственный гений Джона Колльера, упорно настаивавшего на необходимости возврата к племенным формам землепользования, восстановил положение, и теперь, по крайней мере в некоторых районах, общины североамериканских индейцев вновь представляют собой вполне жизнеспособный организм; причиной же этого чуда стал вовсе не прогресс в экономической сфере, а именно социальная реставрация. Волнующим свидетельством шока, пережитого жертвами опустошительного культурного контакта, явилось рождение обрядового «танца духов», знаменитой версии

Pawnee Hand Game; произошло же это около 1890 г., т. е. как раз тогда, когда улучшение экономических условий превратило исконную культуру краснокожих в анахронизм. Антропологические исследования подтверждают и тот факт, что даже рост населения — еще один экономический показатель — отнюдь не исключает возможность культурной катастрофы. В действительности темпы естественного прироста населения могут указывать как на внутреннее здоровье, полноту сил культуры, так и на ее упадок и деградацию. Исконное значение слова «пролетарий», в котором связаны воедино понятия плодovitости и нищеты, служит поразительным символом этой амбивалентности.

Экономический предрассудок породил как упрощенно-одностороннюю теорию эксплуатации, так и столь же примитивную по сути, хотя более наукообразную по форме ложную доктрину, согласно которой в эпоху раннего капитализма никакой социальной катастрофы не было вовсе. Из этой последней и более свежей интерпретации исторических событий вытекал чрезвычайно важный вывод — реабилитация экономики

laissez-faire. Ведь если основанная на либеральных принципах экономика ни в каких бедствиях не повинна, то протекционизм, лишивший человечество великого блага свободных рынков, нельзя не признать чудовищным злодеянием. Даже сам термин «промышленная революция» стал вызывать недовольство: он-де заключает в себе недопустимое преувеличение, поскольку то, к чему он относится, представляло собой по сути процесс медленных, постепенных изменений. Поэтапная реализация потенций технического прогресса преобразовала уклад жизни людей — вот и все, что тогда произошло, твердили эти ученые мужи; конечно, многие в ходе этой трансформации пострадали, однако в целом имел место непрерывный и безостановочный прогресс. Этот счастливый итог был обусловлен почти бессознательным, автоматическим действием экономических сил, которые творили свое благое дело вопреки нетерпеливому вмешательству партий, явно преувеличивавших неизбежные трудности момента. Одним словом, новая экономика не несла угрозы обществу — именно такой, ни более ни менее, вывод следовал из их рассуждений. Если бы эта, пересмотренная и исправленная, версия истории промышленной революции соответствовала действительности, то протекционистское движение не имело бы под собой никаких реальных оснований, а

laissez-faire был бы полностью оправдан. Таким образом, материалистическое заблуждение в оценке социальной и культурной катастрофы укрепляло легенду о том, что причиной всех несчастий эпохи было наше греховное отступничество от принципов экономического либерализма.

Еще раз коротко: не отдельные классы или группы являлись инициаторами так называемого коллективистского движения, хотя на результаты последнего характер интересов причастных к нему классов оказал решающее влияние. В конечном счете ход процесса определялся интересами общества в целом, пусть даже защита тех или иных конкретных интересов

выпадала на долю одних слоев населения в большей мере, чем других. А потому представляется разумным строить в дальнейшем наш анализ протекционистского движения не вокруг классовых интересов, а с точки зрения тех социальных субстанций, которым угрожал рынок.

Опасные участки были заданы главным направлением атаки. Конкурентный рынок труда бил по носителю рабочей силы, иначе говоря, по человеку. Свобода международной торговли угрожала прежде всего самой крупной из зависящих от природы отраслей экономики, т. е. сельскому хозяйству. Наконец, золотой стандарт представлял опасность для производственных структур, функционирование которых зависело от относительных изменений цен. В каждой из этих областей сформировались рынки, таившие угрозу для общества в важнейших аспектах его существования.

Рынки труда, земли и денег различить легко, однако не так уж просто провести грань между теми элементами культуры, ядро которых образуют соответственно человеческие существа, природная среда и производственная организация. Человек и природа в культурной сфере практически неразделимы, денежный же аспект деятельности производственного предприятия связан только с одним общественно важным интересом — единством и сплоченностью нации. А значит, если рынки фиктивных товаров — труда, земли и денег — представляли собой самостоятельные, ясно отличимые друг от друга структуры, то те угрозы, которые несли они обществу, не всегда можно было четко разграничить.

Тем не менее в целостной схеме институционального развития западного общества в переломные восемьдесят лет (1834–1914) все эти болевые точки находят свое место по сходным причинам. Ибо о чем бы ни шла речь — о человеке, о природе или о производственной организации, — рыночная система превращалась для них в источник опасности, и потому определенные группы или классы настойчиво требовали принятия мер защиты. В каждом случае существенная разница во времени между началом соответствующих процессов в Англии, на континенте Европы и в Америке имела важные последствия, и, однако, к концу века протекционистское контрнаступление создало аналогичную ситуацию во всех западных странах. По этой причине мы будем рассматривать отдельно защиту человека, природы и производственной организации, — иначе говоря, тот обусловленный инстинктом самосохранения процесс, в результате которого возник новый тип общества, внутренне более цельный и сплоченный и тем не менее стоявший перед угрозой полного распада и крушения.

Глава 14

Рынок и человек

Отделить труд от других сфер человеческой жизни, подчинив его законам рынка, означало полностью уничтожить все органические формы социального бытия, заменив их совершенно иным, атомистическим и индивидуалистическим, типом общественной организации.

Осуществлению этого разрушительного замысла лучше всего служило универсальное применение принципа свободы контрактов. На практике отсюда следовал вывод, что все недоговорные институты, обусловленные отношениями родства или соседства, общностью профессии или вероисповедания, должны быть ликвидированы, поскольку они требуют от индивида лояльности, ограничивая, таким образом, его свободу. Называть же данный принцип «принципом невмешательства», как это имели обыкновение делать экономические либералы, значило лишь ясно продемонстрировать собственное глубоко укоренившееся предубеждение в пользу вполне определенного вида вмешательства, а именно такого,

которое способно уничтожить недоговорные связи между людьми, сделав невозможным их стихийное восстановление в будущем.

Сегодня эти последствия создания рынка труда с полной очевидностью предстают перед нами в колониальных странах. Туземцев нужно заставить захватывать на жизнь продажей своей рабочей силы. А значит, необходимо разрушить их традиционные институты и воспрепятствовать их возрождению, ведь индивид в первобытном обществе оказывается перед угрозой голода лишь тогда, когда подобное бедствие угрожает общине в целом. Например, у кафров с их системой краалей «нищета попросту невозможна: всякий, кто нуждается в помощи, непременно ее получит».[68] Ни один квак-ютль «никогда и ни в малейшей степени не подвергался опасности остаться голодным».[69] «В обществах, обеспечивающих своим членам достаточный для существования минимум и не более того, голода не бывает».[70] Принцип гарантированной свободы от нужды действовал и в индийской сельской общине, как и, могли бы мы здесь добавить, практически во всех без исключения известных нам типах социальной организации, — вплоть до Европы начала XVI в., когда современные взгляды на проблему бедности, изложенные гуманистом Вивесом, стали предметом ученого диспута в Сорбонне. Именно отсутствие угрозы голода для индивида делает первобытное общество в известном смысле более гуманным и в то же время менее экономическим, чем общество рыночное. Ирония истории заключается в том, что первым новшеством, которым белый человек обогатил жизнь черного человека, стало главным образом практическое ознакомление последнего с бичом голода и с великой его пользой. Колонисты, к примеру, могут принять решение вырубить все хлебные деревья в округе, чтобы создать искусственную нехватку пищи, или же ввести налог на хижины, чтобы принудить туземцев продавать свой труд. Эффект в обоих случаях подобен действию тюдоровских огораживаний, заполонивших Англию толпами бродяг. Недавнее появление в африканском буше этой зловещей фигуры из европейской истории XVI столетия, «человека без хозяина», с понятным ужасом упоминалось в одном из докладов Лиги Наций.[71] В эпоху позднего Средневековья подобный человеческий тип встречался лишь в «щелях» общественного здания,[72] и, однако, именно он был предтечей кочевого племени рабочих XIX в.[73]

Но ведь то самое, что белый человек по-прежнему время от времени практикует сегодня в далеких краях, т. е. безжалостное расщепление социальных структур, чтобы получить в процессе их распада необходимый ему элемент — человеческий труд, в XVIII в. белые люди совершали с аналогичной целью по отношению к себе подобным. Гоббсов гротескный образ государства — человеческий Левиафан, огромное тело которого составлено из бесчисленного множества тел остальных людей — кажется чем-то мелким и незначительным рядом с рикардианской концепцией рынка труда — потоком человеческих жизней, напор которого регулируется предоставляемым в их распоряжение количеством пищи. По общему признанию, существовал некий обычный уровень, некая норма, ниже которой заработная плата работника упасть не может; при этом, однако, считалось, что данное ограничение может стать эффективным лишь в том случае, если работника поставят перед выбором: либо умереть с голоду, либо продавать свой труд на рынке за ту цену, которую за него дадут. Данное обстоятельство, кстати говоря, объясняет нам по-иному необъяснимое упущение классических экономистов, а именно почему они полагали, что единственно лишь карательная санкция голода, а не приманка высокой заработной платы способна создать реальный рынок труда. И здесь колониальная действительность подтверждает их опыт, ибо чем выше заработная плата, тем меньше остается у туземца стимулов к усердию: культурные стандарты туземного общества, в отличие от поведенческих норм белого человека, не побуждают индивида к попыткам заработать как можно больше денег. Аналогия тем более поразительная, что рабочий эпохи раннего капитализма также всей душой ненавидел свою фабрику, где чувствовал себя до предела униженным и измученным, — совсем как туземец, которого часто лишь угроза телесного наказания или даже физического увечья способна заставить работать в нашем смысле слова. Лионские мануфактуристы XVIII в. ратовали за

низкую заработную плату главным образом по причинам социального характера. Только изнуренный тяжелым трудом и нравственно сломленный работник, утверждали они, откажется вступать в союз со своими товарищами, чтобы избежать состояния личной зависимости, когда его можно заставить сделать все, что только потребует его хозяин. Законодательное принуждение к труду и приходское рабство в Англии, суровость трудовой политики в абсолютистских государствах континента, рабский труд «законтрактованных рабочих» в колониях Северной и Южной Америки на раннем этапе их истории стали предпосылками формирования типа «усердного работника», но окончательный успех на этом пути был достигнут благодаря применению «природной кары» — голода. Именно для того чтобы дать простор его действию, и потребовалось разрушить органическое общество, которое упорно не желало позволить отдельному человеку голодать.

Защита интересов общества есть в первую очередь дело его правителей, которые могут осуществлять свою волю прямо и непосредственно. Между тем экономические либералы слишком поспешно заключают, что действия экономических правителей в целом полезны и благотворны, тогда как о мерах правителей политических этого якобы не скажешь. Адам Смит, похоже, думал совсем иначе, когда настоятельно советовал заменить администрацию, осуществлявшуюся в Индии монопольной торговой компанией, прямым британским правлением. Интересы политических правителей, утверждал он, совпадают с интересами управляемых, чье благосостояние должно увеличивать доходы государства, тогда как между выгодами купца и интересами его покупателей существует естественное противоречие.

Объективные интересы и субъективные склонности сделали английских лендлордов защитниками простого народа от натиска обрушившейся на него промышленной революции. Спинхемленд представлял собой оборонительный вал, которым был обнесен традиционный сельский уклад в ту эпоху, когда английскую деревню захлестывала бурная лавина перемер, грозившая, между прочим, превратить земледелие в невыгодное занятие. Движимые вполне естественным нежеланием подчинять свои интересы нуждам промышленных городов, эсквайры первыми вступили в схватку; эта борьба, растянувшаяся на целое столетие, завершилась для них, как и следовало ожидать, поражением. Но сопротивление сквайров не было бессмысленным: оно позволило отодвинуть на несколько поколений окончательное крушение прежних порядков и тем самым выиграть время для практически полного переустройства общества. В течение сорока лет — это был критический период — оно сдерживало экономический прогресс, когда же в 1834 г. реформированный парламент отменил систему Спинхемленда, лендлорды превратили в свой бастион фабричное законодательство. Теперь церковь и манор поднимали народ против фабриканта, чье всеисие сделало бы тщетными любые попытки противиться требованию дешевого хлеба и таким образом косвенно поставило бы под угрозу ренты и десятины. Оустлер, например, был «духовным лицом, тори и протекционистом»[74], кроме того, он являлся филантропом. Такими же, с различными соотношениями этих компонентов торийского социализма, были взгляды других выдающихся борцов за фабричные законы: Седлера, Саути и лорда Шефтсбери. Но предчувствие неминуемых денежных убытков, двигавшее основной массой их последователей, оказалось более чем обоснованным: вскоре манчестерские экспортеры стали громко требовать более низкой заработной платы, т. е. более дешевого хлеба — ликвидация системы Спинхемленда и развитие фабрик фактически обеспечили успех агитации за отмену «хлебных законов» (1846). Однако по некоторым причинам случайного порядка гибель сельского хозяйства в Англии была отсрочена на целое поколение. За это время Дизраэли сделал фундаментом торийского социализма протест против Акта о реформе законодательства о бедных, а консервативные английские лендлорды заставили индустриальное общество принять радикальные по своей новизне формы жизнеустройства. Билль о 10-часовом рабочем дне, который Маркс провозгласил первой победой социализма, являлся по существу делом просвещенных реакционеров.

Сами же трудящиеся едва ли играли какую-либо роль в этом великом движении, благодаря

которому они и смогли пережить переходный период. На свою собственную участь они влияли почти так же мало, как и чернокожий груз в трюмах кораблей Хокинса. И однако, именно это отсутствие активного участия британского рабочего класса в решении собственной судьбы и определило ход английской социальной истории, сделав ее, к счастью или к несчастью, столь непохожей на социальную историю континента.

В слепых стихийных порывах, неловких движениях, бессвязном лепете и детских ошибках формирующегося класса, истинную природу которого давно уже открыла история, есть нечто весьма характерное. Политическое определение британскому рабочему классу дал Акт о парламентской реформе 1832 г., отказавший ему в праве голоса, экономическое — Акт о реформе законодательства о бедных 1834 г., который лишил его права на пособие и провел четкое различие между рабочим и паупером. В дальнейшем будущем промышленные рабочие некоторое время колебались, не в силах избавиться от мысли, что их спасение заключается все же в возврате к деревенской жизни и к условиям ремесленного производства. В двадцатилетие после Спинхемленда главной целью их усилий было покончить с неограниченным использованием машин — либо путем проведения в жизнь положений об ученичестве из Статута о ремесленниках, либо с помощью прямых действий (луддизм). Этот «взгляд назад», как скрытая, постепенно затухающая тенденция, проходит через всю историю оуэнизма, вплоть до 40-х гг., когда закат чартистского движения и начало золотого века капитализма изгладили из человеческой памяти образ прошлого. До этого времени британский рабочий класс, пребывавший *in statu nascendi*[75], оставался загадкой для самого себя, и только проследив понимающим взором за его наполовину бессознательными поисками и метаниями, сможем мы оценить, сколь громадные потери понесла Англия из-за того, что рабочий класс не был допущен к равноправному участию в жизни нации. Когда оуэнизм и чартизм, исчерпав свои последние силы, перегорели до конца, Англия лишилась того материала, из которого можно было бы создать будущий англосаксонский идеал свободного общества.

Даже если бы оуэнистское движение свелось лишь к незначительной деятельности локального характера, оно стало бы памятником творческому воображению английского народа, а если бы чартизм так и не вышел за пределы того ядра, внутри которого родилась мысль об «общенациональном нерабочем дне» как средстве борьбы за народные права, то он бы показал, что в Англии по-прежнему существовали люди, способные узреть в собственных мечтах то, что недоступно остальным, и отлично знавшие подлинную цену обществу, которое утратило образ человеческий. Однако и в том, и в другом случае дело обстояло совершенно иначе. Оуэнизм вовсе не был вдохновением, снизошедшим на какую-то мелкую секту, а влияние чартизма отнюдь не ограничивалось политической элитой; оба они охватывали сотни тысяч ремесленников, мастеровых и рабочих и вместе с широким кругом иных сторонников принадлежали к числу крупнейших социальных движений новой истории. При всех различиях между ними — а сближал их, пожалуй, лишь масштаб постигшей их неудачи — оуэнизм и чартизм служили доказательством того, сколь настоятельной была с самого начала необходимость защиты человека от рынка.

В истоках своих оуэнизм не являлся ни политическим, ни рабочим движением. Он выражал стремление простых людей, раздавленных пришествием фабрики, найти такие формы жизнеустройства, которые дали бы человеку власть над машиной. По сути, он ставил перед собой цель, которую мы могли бы охарактеризовать как попытку обойти, перешагнуть через капитализм. Подобная формула, разумеется, не совсем точна, ибо организующая роль капитала и природа саморегулирующегося рынка тогда еще не были поняты по-настоящему. Но, пожалуй, именно она способна лучше всего выразить дух учения Оуэна, который, и это следует подчеркнуть, вовсе не являлся ненавистником машины. Несмотря на существование машин, полагал Оуэн, человек должен оставаться своим собственным работодателем; принцип кооперации, или «союза», должен решить проблему машины, не принося в жертву ни индивидуальной свободы, ни социальной солидарности, ни достоинства отдельной личности,

ни ее человеческих связей с другими людьми.

Сила оуэнизма заключалась в том, что вдохновлявшая его идея была в высшей степени практической, тогда как его методы основывались на целостном подходе к человеку. Оуэнизм имел дело с проблемами, относившимися, по сути, к реалиям повседневной жизни, — качество пищи, жилищные условия, образование, уровень заработной платы, обеспечение занятости, помощь в случае болезни и т. п., — однако связанные с ними вопросы были столь же разнообразны, как и духовные силы и способности, к которым приходилось обращаться для их решения. Убеждение в том, что стоит лишь открыть правильный метод и человеческую жизнь вновь можно будет сделать достойной, позволяло коренным принципам оуэнизма проникать в тот глубинный пласт сознания, где формируется ядро человеческой личности. Немного найдется в истории социальных движений подобного размаха, которые были бы так же мало «интеллектуализированы»; внутренние убеждения, духовный настрой его участников придавали глубокий смысл даже самым, казалось бы, простым и обыденным их действиям, так что никакой твердо установленной теории, никакого ясно сформулированного символа веры им не требовалось. Вера их была, по сути, пророческим озарением, ибо те пути к переустройству жизни, которых они упорно искали, вели за пределы рыночной экономики.

Оуэнизм представлял собой религию промышленности, исповедовал которую рабочий класс. Богатство его форм и разнообразие порожденных им новых идей воистину уникальны. Фактически оуэнизм стал началом современного профсоюзного движения. Его участниками учреждались кооперативные общества, занимавшиеся в основном розничной продажей товаров своим членам. Это, конечно, не были настоящие потребительские кооперативы, а, скорее, магазины, содержавшиеся энтузиастами, которые решили употребить свои прибыли на поддержку оуэнистских проектов, главным образом — для создания «кооперативных поселков». «Их деятельность являлась образовательной и пропагандистской ничуть не в меньшей степени, чем коммерческой; целью их было построить объединенными усилиями Новое Общество». «Союзные мастерские», организованные членами профессиональных союзов, больше напоминали производственные кооперативы, где безработные ремесленники могли найти занятие или, в период стачки, заработать немного денег — аналог пособия, выдаваемого профсоюзом забастовщикам. В оуэновских «Биржах справедливого обмена» идея кооперативных магазинов превратилась в институт *sui generis*. В основе этой «биржи», или «базара», лежала мысль о том, что различные ремесла имеют взаимодополняющую природу; считалось, что, удовлетворяя потребности друг друга, ремесленники могут избежать действия резких колебаний рыночной конъюнктуры; впоследствии данный институт был дополнен трудовыми квитанциями, получившими довольно широкое распространение. Сегодня подобный план может показаться фантастическим, однако в эпоху Оуэна не только природа наемного труда, но и сущность банковских билетов все еще оставалась непонятой. Социализм по сути не отличался от тех проектов и замыслов, которые в таком изобилии порождало бента-мистское движение. Не одна лишь мятежная оппозиция, но и вполне респектабельные буржуазные слои еще не утратили вкуса к экспериментированию. Сам Иеремия Бентам вложил деньги в Нью-Ланаркскую футуристическую воспитательную программу Оуэна и даже получил дивиденды. «Оуэнистские общества» в собственном смысле слова представляли собой ассоциации, или клубы, имевшие своей целью материальную поддержку планов создания «кооперативных поселков», подобных тем, которые описали мы выше в связи с проблемой помощи неимущим, — так возникла идея сельскохозяйственных производственных кооперативов, которую ожидала долгая и славная история. Первой общенациональной организацией производителей, имевшей синдикалистскую направленность, стал Союз строительных рабочих, который попытался непосредственно регулировать эту отрасль через «строительство зданий в самых широких масштабах», введение собственных денежных знаков и практическую демонстрацию конкретных путей к созданию «великой ассоциации с целью освобождения производительных классов». Из Союза, или Гильдии, строителей с ее «Парламентом» возник еще более

грандиозный план — Всеобщий союз профессий, который посредством не имевшей жестких организационных рамок федерации профсоюзов и кооперативных обществ вскоре охватил почти миллион рабочих и ремесленников. Целью своей союз ставил «мирное индустриальное восстание», которое не покажется нам противоречивым в терминах, если мы вспомним, что на мессианской заре рабочего движения его участники твердо верили, что ясное осознание предстоящей им миссии само по себе гарантирует успех этой организации. Пропаганду фабричного законодательства вели Общества обновления; впоследствии были основаны «этические общества», предшественники секуляристского движения. В их среде идея ненасильственного сопротивления получила полное развитие. Подобно сен-симонизму во Франции, оуэнизм в Англии обнаружил все характерные черты духовного, религиозного в своих глубинных основах движения, но если Сен-Симон стремился к возрождению христианства, то Оуэн первым из вождей современного рабочего класса выступил в роли его противника. Потребительские кооперативы в Великобритании, которые нашли подражателей во всем мире, представляли собой, вне всякого сомнения, наиболее в практическом смысле удачный из побочных продуктов оуэнизма. То, что его импульс был потерян — или, точнее, сохранился лишь в периферийной области потребительского движения, — явилось величайшим поражением духовных сил в истории индустриальной Англии. И однако, следует признать, что народ, который, пережив моральную деградацию эпохи Спинхемленда, все же смог найти в себе силы для столь упорного и длительного созидательного труда и проявил при этом удивительное богатство творческого воображения, должен был обладать воистину безграничным запасом интеллектуальной и душевной энергии.

В оуэнизме с его апелляцией к целостному человеку все еще оставалось нечто от корпоративного духа Средневековья, который нашел свое выражение в Гильдии строителей и в сельском характере оуэновского социального идеала — «кооперативных поселков». Хотя оуэнизм явился истоком современного социализма, его ключевые идеи и новшества не были связаны с проблемой собственности, которая составляет принципиально важный юридический аспект единственно лишь для капитализма. Столкнувшись, как и Сен-Симон, с новым феноменом промышленности, он осознал смысл вызова, брошенного человеку машиной. И все же наиболее характерной чертой оуэнизма было настойчивое требование

социального подхода: он отказался принять разделение общества на экономическую и политическую сферы и, в сущности, по этой причине отверг политические средства. Признание самостоятельности экономической сферы означало бы принятие принципа наживы и прибыли в качестве организующей силы общества. Сделать это Оуэн отказался. Его гений открыл, что вхождение машины в человеческую жизнь возможно лишь в обновленном обществе. Проблема промышленности не ограничивалась для Оуэна чисто экономической стороной дела (это означало бы рыночный взгляд на общество, который он решительно отвергал). Опыт Нью-Ланарка показал ему, что заработная плата рабочего является одним из многих факторов, определяющих его жизнь, — таких, например, как природная сфера и домашняя обстановка, качество товаров и цены на них, постоянная работа и гарантия занятости. (На нью-ланаркских фабриках, как и в некоторых фирмах еще раньше, рабочим платили даже тогда, когда для них не было работы.) Но процесс переустройства заключал в себе нечто гораздо большее. Школы для детей и для взрослых, условия для отдыха и развлечений, танцы, музыка, наконец, общая установка на высокие нормы нравственности и бытовой культуры для старых и молодых создали атмосферу, в которой трудящееся население в целом приобрело новый статус. Тысячи людей со всей Европы и даже из Америки посещали Нью-Ланарк словно некий заповедник будущего, где удалось совершить невозможное — успешно управлять фабрикой с рабочими, не утратившими человеческого облик. Между тем фирма Оуэна платила им значительно меньше, чем могли бы они получить в некоторых соседних городах. Прибыльность нью-ланаркской фабрики была обусловлена прежде всего высокой производительностью труда при менее продолжительном рабочем дне, а высокую производительность обеспечивали превосходная организация дела и возможность восстановления сил рабочих — преимущества,

перевешивающие рост реальной заработной платы, который достигался благодаря щедрым расходам Оуэна на создание достойных условий жизни для работников. Но последнее обстоятельство само по себе объясняет нам, почему рабочие прямо-таки боготворили Оуэна. Подобного рода факты убедили его в необходимости социального, т. е. не просто узко-экономического, подхода к проблеме промышленности.

Еще одним доказательством проницательности Оуэна стало то, что всеохватывающий взгляд на вещи не помешал ему ясно постичь ключевую, решающую роль конкретных материальных обстоятельств в жизни рабочего. Религиозному чувству Оуэна претила высокопарная заумь утилитарного трансцендентализма Ханны Мор и ее

Дешевых Назидательных Брошюр. В одной из них восхвалялась некая девочка из горняцкого Ланкашира. Девяти лет от роду ее взяли на шахту, где она должна была таскать уголь вместе с семилетним братом.[76] «Бодро и весело спустилась она вслед за ним [своим отцом] в забой, и там, погребенная в недрах земли, даже не подумав сослаться на свой пол и нежный возраст, стала выполнять ту же работу, что и прочие углекопы, — люди простые и грубые, однако чрезвычайно полезные для общества». На шахте произошла авария, отец погиб на глазах у детей, после чего героиня рассказа попыталась найти себе место прислуги, но без успеха: предубеждение против бывшей горнорабочей оказалось слишком сильным. Но удача не отвернулась от нее окончательно. Спасительным произволением божьим, которое самые несчастья способны обратить во благо, ее терпение и добронравие не остались незамеченными; на шахту поступил запрос, и оттуда пришла столь блестящая рекомендация, что вскоре ее взяли на службу. «Из этой истории, — заключает автор брошюры, — бедняки могут извлечь следующий урок: едва ли найдется общественное положение настолько низкое, чтобы совершенно преградить им путь к известной материальной независимости, если только они сами захотят приложить к этому усилия; и нет таких жизненных обстоятельств, какими бы жалкими и несчастными они ни были, в которых нельзя было бы проявить великое множество прекраснейших добродетелей». Деятельность сестер Мор протекала главным образом среди влачивших полуголодное существование рабочих, однако физические страдания последних не вызывали у них ни малейшего интереса. Материальную проблему индустриализма им угодно было решать очень простым способом — жалуя рабочим, в безграничной своей щедрости, особые статус и функцию. Ханна Мор настойчиво твердила о том, что отец ее героини — чрезвычайно полезный член общества, а высокие достоинства его дочери были признаны похвальными отзывами ее работодателей. Чтобы общество могло нормально функционировать, полагала она, ничего больше и не требуется. [77] Оуэн же отвернулся от христианства, которое отказалось от трудной задачи переустройства действительной человеческой жизни, предпочитая превозносить воображаемые статус и предназначение несчастной героини Ханны Мор, вместо того чтобы мужественно принять откровение, неведомое Новому Завету, страшное откровение о человеческом уделе в сложном обществе. Ханна Мор, вне всякого сомнения, была совершенно искренне убеждена: чем безропотнее смирятся неимущие со своей жалкой судьбой, тем легче им будет обрести то небесное утешение, на которое и возлагала она все свои надежды — как в плане спасения их душ, так и в смысле нормального функционирования рыночного общества, в которое она твердо верила. Но вся эта пустая шелуха христианства, едва поддерживавшая духовное существование наиболее достойных представителей высших классов, выглядела довольно убого рядом с творческой мощью той религии промышленности, в духе которой стремился спасти и возродить общество простой народ Англии. Капитализм, однако, еще не отжил свой век, и время его похорон не пришло.

Чартистское движение апеллировало к импульсам совершенно иного рода, и потому его возникновение после фактической неудачи оуэнизма и его преждевременных инициатив можно было предсказать почти безошибочно. Это было чисто политическое движение, стремившееся конституционными средствами воздействовать на правительство; в своих попытках оказать нажим на власть оно следовало традиционной тактике движения за

парламентскую реформу, которое ранее обеспечило право голоса средним классам. Шесть пунктов Хартии означали требование реального избирательного права для народа. Поразительное упорство, с которым более тридцати лет подряд отвергал подобное расширение избирательного права реформированный парламент; применение силы ввиду очень массовой поддержки Хартии; отвращение и ужас, которые вызывала у либералов сама мысль о народном правительстве, — все это доказывает, что идея демократии была совершенно чужда английской буржуазии. Предоставить право голоса верхушке рабочего класса она согласилась лишь тогда, когда рабочие смирились с принципами капиталистической экономики, а тред-юнионы сделали главной своей заботой обеспечение нормальной работы промышленности, т. е. спустя много времени после того, как чартистское движение заглохло и стало ясно, что рабочие не попытаются использовать право участия в выборах для реализации каких-либо собственных целей и идей. Если исходить из необходимости распространения рыночной системы, то подобную политику можно считать оправданной, поскольку она помогла преодолеть те препятствия, которыми являлись все еще сохранявшиеся в среде трудящихся органические и традиционные формы жизнеустройства. Что же касается задачи совершенно иного порядка — социально-нравственного оздоровления простого народа, прежний жизненный уклад которого безжалостно разрушила промышленная революция, и его возвращения в лоно общей национальной культуры, — то она осталась невыполненной. Наделение его правом голоса после того, как его способности на равных участвовать в решении судеб страны уже был нанесен непоправимый ущерб, не могло ничего исправить. Распространив принцип жесткого классового правления на такой тип цивилизации, который требовал единства нации в культурном и образовательном отношении, как гарантии против воздействия упадочно-дегенеративных тенденций, правящие классы совершили роковую ошибку.

Чартистское движение являлось политическим и потому более «понятным», чем оуэнизм. И однако, едва ли сумеем мы по-настоящему постичь эмоциональную глубину и силу чартизма или даже самый его размах, если не попытаемся представить себе духовную атмосферу той эпохи. События 1789 и 1830 гг. сделали революцию вполне обычным, «нормальным» атрибутом европейской истории; в 1848 г. дата восстания в Париже была предсказана в Лондоне и Берлине с удивительной точностью, словно речь шла не о социальном перевороте, а об открытии ярмарки. «Продолжение» последовало очень быстро: революции вспыхнули в Берлине, Вене, Будапеште и в некоторых городах Италии. В Лондоне обстановка также была чрезвычайно напряженной, ибо все, в том числе и сами чартисты, ожидали каких-то насильственных действий с целью заставить парламент дать народу право голоса. (Правом этим пользовалось менее 15 % взрослого мужского населения.) История Англии никогда не знала такой концентрации сил, призванных для охраны законного порядка, какая имела место 12 апреля 1848 г.; сотни тысяч граждан в качестве «особых констеблей» готовы были в тот день обратить оружие против чартистов. Но революция в Париже произошла слишком поздно, чтобы обеспечить победу народному движению в Англии. К этому времени мятежный дух, порожденный Актом о реформе законодательства о бедных и страданиями «голодных сороковых», постепенно угасал; на волне промышленного подъема пошла вверх занятость, и капитализм начал, наконец, оправдывать надежды. Чартисты мирно разошлись. Парламент даже не стал рассматривать их требования, обратившись к ним лишь некоторое время спустя, когда их петиция была отклонена нижней палатой подавляющим (пять шестых) большинством голосов. Тщетно собрали они миллионы подписей, напрасно вели себя как законопослушные граждане. Насмешки торжествующих победителей окончательно добились их движение. Так завершилось величайшее политическое усилие народа Англии с целью установить в этой стране народную демократию. А через год-другой о чартизме никто уже почти не вспоминал.

Полвека-спустя промышленная революция достигла континента. Здесь трудящихся не сгоняли с земли огораживаниями; напротив, привлеченный соблазнами городской жизни и перспективой более высокого заработка, полукрепостной сельскохозяйственный работник

сам покидал поместье и переселялся в город, где, общаясь с традиционными низшими прослойками среднего класса, он получал возможность усвоить «городской тон». Он вовсе не чувствовал себя униженным, новое окружение лишь возвышало его в собственных глазах. Разумеется, жилищные условия были отвратительными, а масштабы алкоголизма и проституции среди беднейших городских рабочих еще в начале XX в. повергали в ужас. И все же не могло быть никакого сравнения между нравственной и культурной катастрофой английского копигольдера из уважаемой и добропорядочной семьи, который безнадежно увязал в социальной и физической трясине трущоб соседнего фабричного поселка, и судьбой словацкого и даже померанского крестьянина, который из обитавшего в хлеву или при конюшне батрака чуть ли не в одно мгновение превращался в промышленного рабочего в крупном современном городе. Нечто подобное испытывал, вероятно, ирландский или валлийский поденщик или выходец из дикой горной Шотландии, бредущий по узким улицам Манчестера или Ливерпуля начала XIX в., но сын английского йомена или согнанный с участка коттер, конечно, никак не мог думать, что его общественный статус повысился. На континенте же вчерашний неотесанный мужлан, совсем недавно освободившийся от крепостной зависимости, получал реальный шанс подняться до низших прослоек среднего класса, т. е. войти в круг ремесленников и торговцев с их давними и прочными культурными традициями; более того, даже буржуазия, явно возвышавшаяся над ним в социальном смысле, политически находилась в том же положении, ибо от действительных правящих классов ее отделяла почти такая же дистанция. В борьбе против феодальной аристократии и католического епископата зарождающийся рабочий класс и растущая буржуазия действовали заодно. Интеллигенция (прежде всего университетское студенчество) цементировала союз между этими двумя классами в их общем наступлении на абсолютизм и привилегии. В Англии же средние классы, будь то сквайры или купцы XVIII в. или фермеры и торговцы XIX столетия, были достаточно сильны, чтобы отстаивать свои права без посторонней помощи, и даже в 1832 г., дойдя в своей борьбе чуть ли не до революции, они не искали поддержки у рабочих. Кроме того, английская аристократия постоянно ассимилировала наиболее состоятельных «выскочек», расширяя таким образом верхний слой социальной иерархии, тогда как все еще полуфеодальная аристократия континента не желала родниться путем браков с сыновьями и дочерьми буржуазии, а отсутствие института майората герметически изолировало ее от прочих классов. Потому любой успешный шаг на пути к свободе и равноправию приносил пользу как среднему классу, так и рабочим. Начиная с 1830, если не с 1789 г., частью континентальной политической традиции стало то, что рабочий класс помогал буржуазии в ее сражениях с феодализмом, пусть даже для того только, чтобы, как принято было говорить, оказаться обманутым и утратить плоды победы. В любом случае, побеждал ли рабочий класс или терпел поражения, выигрывал он или проигрывал, его опыт расширялся, а его цели выходили на политический уровень, — именно это и подразумевалось под процессом обретения классового сознания. Марксистская идеология придала определенную форму взглядам и стремлениям городского рабочего, который под действием обстоятельств постепенно учился использовать свою промышленную и политическую силу как оружие высокой политики. Если британские рабочие приобрели уникальный опыт в сфере личных и социальных аспектов профсоюзного движения, в т. ч. в области тактики и стратегии индустриальных акций, общенациональную же политику предоставили тем, кто стоял выше их в социальной иерархии, то центрально-европейский рабочий превратился в политического социалиста и привык иметь дело с государственными проблемами, — правда, главным образом с теми, которые затрагивали его собственные интересы, такими, например, как фабричные законы и социальное законодательство.

Если индустриализация континента по сравнению с аналогичным процессом в Великобритании запоздала примерно на полвека, то в становлении национального единства разрыв между ними был гораздо более значительным. Лишь во второй половине XIX в. Италия и Германия вступили в ту стадию объединения, которой Англия достигла несколькими столетиями ранее; а более мелкие государства Восточной Европы вышли на подобный уровень еще позже. В этом процессе государственного строительства трудящиеся классы

сыграли чрезвычайно важную роль, еще более расширившую их политический опыт. В индустриальную эру подобный процесс не мог не охватить социальную политику. Так, Бисмарк добивался объединения Второго рейха через эпохальную по своему значению систему социального законодательства. Движение Италии к национальному единству было ускорено национализацией железных дорог. В Австро-Венгерской монархии, этом конгломерате разных племен и народов, сама корона не раз обращалась к трудящимся классам за поддержкой в деле централизации и обеспечения имперского единства. В этой, более широкой сфере социалистические партии и профсоюзы, используя свое влияние в законодательных органах, также находили немало возможностей действовать в интересах промышленных рабочих.

Материалистические предрассудки — вот что делает смутными и расплывчатыми контуры рабочего вопроса. Британские авторы, например, не могли взять в толк, почему Ланкашир эпохи раннего капитализма производил столь удручающее впечатление на наблюдателей с континента. Они указывали на еще более низкий уровень жизни многих центрально-европейских ремесленников, занятых в текстильном производстве, условия труда которых во многих случаях были, вероятно, столь же отвратительными, как и у их английских товарищей. Но подобные сопоставления лишь уводили в сторону от важнейшего обстоятельства, а именно от того очевидного факта, что на континенте социальный и политический статус работника повысился, тогда как в Англии случилось прямо противоположное. Европейские трудящиеся не прошли через унижительную пауперизацию эпохи Спинхемленда, как не пережили они ничего похожего на невыносимые страдания, вызванные Новым законодательством о бедных. Из феодально зависимых крестьян они превратились — или, скорее, поднялись до статуса промышленных рабочих, а уже очень скоро — промышленных рабочих, обладающих избирательными правами и объединенных в профсоюзы. Таким образом, они избежали культурной катастрофы вроде той, которую повлекла за собой промышленная революция в Англии. К тому же индустриализация континентальной Европы осуществлялась тогда, когда уже стала возможной адаптация к новым формам организации производства, — в основном, или даже почти исключительно, через подражание английским методам социальной защиты.[78]

Континентальный рабочий нуждался в защите не от резких ударов промышленной революции — с социальной точки зрения на континенте ничего подобного не происходило, — а скорее от нормального действия фабричных условий и рынка труда. Создания соответствующей системы он добился главным образом с помощью законодательных актов, тогда как его британские братья по классу больше полагались на силу добровольной ассоциации — профессиональных союзов — и ее способность монополизировать рынок труда. Социальное страхование появилось на континенте гораздо раньше, чем в Англии. Данное различие легко объяснить особой политизацией континента и сравнительно ранним предоставлением избирательных прав трудящимся массам Европы. Если в экономическом плане реальное различие между принудительными и добровольными методами социальной защиты — законодательство против тред-юнионизма — нередко преувеличивается, то его политические последствия и в самом деле оказались чрезвычайно важными. На континенте профессиональные союзы были творением политических партий рабочего класса, в Англии же политическую партию рабочих создали профсоюзы. Континентальные профсоюзы стали в той или иной мере социалистическими, тогда как в Англии даже политический социализм сохранил по существу свой тред-юнионистский характер. А потому всеобщее избирательное право, которое в Англии способствовало укреплению единства нации, на континенте производило порой противоположное действие. И пожалуй, именно там, а не в Англии, сбылись предчувствия Питта и Пиля, Токвиля и Маколея, опасавшихся того, что народное правление может представить угрозу для экономической системы.

В экономическом же отношении английские и континентальные методы социальной защиты привели к почти одинаковым результатам. С их помощью удалось достигнуть намеченной

цели — разрушить рынок того фактора производства, который принято называть рабочей силой. Рынок этот мог выполнять свою функцию лишь при одном условии: заработная плата должна снижаться сообразно с падением цен. В социальном смысле данный постулат означал для рабочего крайнюю неустойчивость заработков, совершенное отсутствие каких-либо стандартов в сфере условий труда, унижительную готовность превратиться в вещь, которую могут перебрасывать и перемещать куда угодно, — словом, полную зависимость от капризов рынка. Мизес справедливо утверждал, что если бы рабочие «не вели себя, как члены профсоюза, а, умерив свои претензии, меняли свое местожительство и род занятий в соответствии с требованиями рынка труда, то в конце концов им удавалось бы находить себе работу». В этих словах резюмировано положение вещей при той экономической системе, которая основана на постулате товарного характера труда. В самом деле, товару не дано решать, где его выставят на продажу, для какой цели используют, по какой цене перейдет он к другому владельцу, каким образом его станут потреблять или уничтожат. «Никому еще не приходило в голову, — продолжает этот последовательный либерал, — что отсутствие заработной платы было бы в данном случае более удачным термином, нежели отсутствие работы, ведь то, чего ищет безработный человек, — это, в сущности, не работа как таковая, а вознаграждение за нее». Мизес был прав, хотя ему не следовало бы притязать здесь на оригинальность: за 50 лет до него епископ Уэтли сказал: «Когда человек просит дать ему работу, ему нужна не работа, а заработок». Тем не менее верно, что, рассуждая формально, «безработица в капиталистических странах объясняется тем фактом, что как правительства, так и профсоюзы ставят своей целью поддержание такого уровня заработной платы, который не соответствует реальной производительности труда». Ибо как вообще могла бы возникнуть безработица, если бы не «нежелание людей работать за ту плату, которую они могут получить на рынке труда за определенную работу, которую они способны выполнить?» Это ясно показывает, что на самом деле означает в устах работодателей требование мобильности рабочей силы и гибкости заработной платы, — то самое, что определили мы выше как рынок, в котором человеческий труд является товаром.

Прямой и естественной целью всех мер социальной защиты было уничтожить подобный институт и сделать невозможным его существование. Фактически рынку труда позволили сохранить свою главную функцию, но лишь при условии, что заработная плата и условия труда, соответствующие нормы и правила должны быть такими, чтобы защитить человеческую сущность этого мнимого товара, т. е. рабочей силы. Доказывать же, как это порой делается, будто социальное законодательство, фабричные законы, страхование по безработице и, самое главное, профессиональные союзы никак не повлияли на мобильность рабочей силы и гибкость заработной платы, значит по существу утверждать, что эти меры и институты совершенно не достигли своей цели, которая именно в том и состояла, чтобы вмешаться в действие закона спроса и предложения по отношению к человеческому труду и вывести его из сферы влияния рынка.

Глава 15

Рынок и природа

То, что мы называем землей, есть одна из природных стихий, теснейшим образом связанная с человеческими институтами. Обособить ее и превратить в рынок было, пожалуй, самой странной затеей из всех предприятий наших предков.

Традиционно земля и труд не отделяются друг от друга; труд представляет собой часть жизни, земля остается частью природы, жизнь и природа образуют внутренне структурированное целое. Таким образом, земля оказывается связанной с институтами

родства, соседства, ремесла и вероисповедания, иначе говоря, с племенем и храмом, с деревней, цехом и церковью. С другой стороны, Единый Большой Рынок есть такая система экономической жизни, которая включает в себя рынки для различных факторов производства. Поскольку же эти факторы неотделимы от элементов человеческих институтов, т. е. от самого человека и от природы, то легко понять, что рыночная экономика предполагает общество, институты которого должны подчиняться требованиям рыночного механизма.

Применительно к земле идея эта столь же утопична, как и в отношении труда. Экономическая функция — лишь одна из многих важных функций земли. Земля делает существование человека стабильным, на земле стоит его жилище, земля — условие его физической безопасности, земля — это ландшафт и времена года. Человека, живущего вне всякого контакта с землей, представить так же трудно, как и человека, появляющегося на свет без рук и без ног. Однако отделение земли от человека и переустройство общества таким образом, чтобы оно удовлетворяло потребностям рынка недвижимости, было важнейшим элементом утопической концепции рыночной экономики.

И вновь, именно в сфере современной колонизации, становится для нас вполне очевидным истинный смысл подобной авантюры. Нуждается ли колонист в земле как в территории, ради скрытых в ее недрах богатств, или просто желает заставить туземца производить больше продовольствия и сырья, чем это необходимо для жизни последнему, часто не имеет особого значения, как не играет большой роли и то, работает ли туземец под непосредственным надзором колониста или всего лишь под косвенным принуждением в той или иной его форме, ибо в любом случае вначале должен быть до основания разрушен весь социокультурный уклад туземной жизни.

Между современной колониальной ситуацией и положением Европы сто или двести лет назад существует большое сходство. Однако процесс рыночной мобилизации земли, который в экзотических регионах может происходить в сжатые сроки — за несколько лет или десятилетий — в государствах Западной Европы растягивался порой на несколько веков.

Вызов был брошен подъемом тех форм капитализма, которые не являлись чисто торговыми. Существовал аграрный капитализм, возникший в Англии при Тюдорах и требовавший индивидуального подхода к земле, в т. ч. огораживаний и конверсии. Развивался также капитализм промышленный, который — во Франции точно так же, как и в Англии, — был по преимуществу сельским и уже с начала XVIII в. нуждался в участках земли для строительства фабрик и рабочих поселков. И наконец, самым мощным фактором, хотя и затрагивавшим в большей степени использование земли, чем собственность на нее, стал рост в XIX в. промышленных городов с их практически беспредельными потребностями в продовольствии и сырье.

На первый, поверхностный, взгляд в ответах на эти вызовы не заметно особого сходства, и, однако, все они были стадиями единого процесса — процесса подчинения поверхности нашей планеты нуждам индустриального общества. Первым этапом на этом пути стала коммерциализация земли, мобилизовавшая феодальные доходы от нее. Вторым — резкое увеличение производства продовольствия и органического сырья для удовлетворения (в общенациональном масштабе) потребностей стремительно растущего промышленного населения. Третьим — распространение этой системы производства прибавочного продукта на заморские и колониальные территории. Последний шаг означал, что земля со всеми ее плодами полностью и окончательно включена в структуру саморегулирующегося мирового рынка.

Коммерциализация земли — это лишь другое название для процесса ликвидации феодализма, который начался в городских центрах Англии и континентальной Европы в XIV в., а завершен был примерно пять веков спустя в ходе европейских революций, уничтоживших последние остатки феодальной системы землепользования. Отделение

человека от земли означало разложение хозяйственного организма на его составные элементы с тем, чтобы каждый из них мог войти в ту часть новой системы, где он мог быть наиболее полезным. Поначалу новая система строилась рядом со старой, которую она пыталась поглотить и ассимилировать, поставив под свой контроль земли, все еще опутанные докапиталистическими узами. С феодальным выводом земли из сферы коммерции было покончено. «Целью данного акта было устранить все права и претензии на землю со стороны институтов соседства и родства, в особенности же — могущественной аристократии и церкви; притязания, изымавшие землю из сферы купли-продажи, и ипотеки». [79] Кое-что здесь было достигнуто через отдельные акты насилия и принуждения, кое-то — революциями сверху или снизу, кое-что — войнами и завоеваниями, кое-что — законами, кое-что — административным давлением, кое-что — добровольными действиями частных лиц, мелкими, постепенными шагами, в течение долгих промежутков времени. Удавалось ли быстро излечить социальный «перелом» или же он превращался в открытую рану на теле общества, зависело главным образом от того, какие меры принимались для регулирования данного процесса. Нередко правительства сами выступали инициаторами радикальных перемен, и они же находили действенные средства адаптации к их последствиям. Например, секуляризация церковных земель вплоть до эпохи итальянского Рисорджименто оставалась одной из основ современного государства, а также, между прочим, одним из главных способов упорядоченного перехода земли в руки частных владельцев.

Наиболее значительные меры на этом пути были осуществлены в ходе Французской революции и бентамистских реформ 1830-1840-х гг. «Самые благоприятные условия для процветания сельского хозяйства, — писал Бентам, — существуют там, где нет майората, неотчуждаемых имуществ, общинных земель, права выкупа, десятины...» Подобная свобода распоряжения собственностью, и прежде всего — собственностью земельной, составляла весьма существенный элемент бентамовской концепции личной свободы. Распространение этой свободы на ту или иную область было целью и следствием таких законодательных мер, как Акты о праве давности, Акт о наследовании, Акт о штрафах и возмещениях, Акт о недвижимом имуществе, общий Акт об огораживаниях 1801 г. и последовавшие за ним акты [80], а также акты о копигольде, которые принимались с 1841 до 1926 г. Во Франции же и на значительной части континента буржуазные формы собственности ввел Кодекс Наполеона, превративший землю в предмет купли-продажи, а процедуру залога — в юридическую сделку между частными лицами.

Вторым этапом, по времени частично совпадавшим с первым, стало подчинение земли нуждам стремительно растущего городского населения. Хотя землю нельзя мобилизовать физически, так можно поступить с ее продуктами, если средства перевозки и закон позволяют это сделать.

«Таким образом, мобильность товаров до известной степени компенсирует недостаточную межрегиональную мобильность факторов производства, или (что по существу то же самое) торговля сглаживает невыгоды и неудобства в географическом размещении производительных сил».[81] Подобный взгляд был совершенно чужд традиционным представлениям. «Ни в древности, ни в эпоху раннего средневековья — это следует особо подчеркнуть — товары повседневного потребления не были предметом регулярной купли-продажи».[82] Излишки зерна должны были, по тогдашним понятиям, служить продовольствием для данной местности, главным образом — для соседнего города; хлебные рынки вплоть до XV в. имели строго локальную организацию. Но рост городов побудил помещиков производить продукцию преимущественно для продажи на рынке, а рост столицы — в Англии — заставил правительство ослабить прежние жесткие ограничения хлебной торговли и позволить ей приобрести региональный, хотя еще отнюдь не национальный характер.

В конце концов стремительное увеличение населения промышленных городов во второй половине XIX в. полностью изменило ситуацию — сначала на уровне отдельных государств, а

затем и в масштабах всего мира.

В этом преобразовании и заключался истинный смысл свободы торговли. Мобилизация продуктов земледелия была распространена с близлежащей сельской местности на тропические и субтропические регионы — принцип промышленно-сельскохозяйственного разделения труда стал действовать по отношению ко всему земному шару. В итоге народы далеких стран оказались втянутыми в водоворот перемен, истоки которого были им неведомы, а европейские нации в повседневном своем существовании попали в зависимость от еще не упорядоченной и не гарантированной общечеловеческой интеграции. Так вместе со свободой торговли в человеческую жизнь вошли новые громадные факторы риска, порожденные феноменом планетарной взаимозависимости.

Защита общества от всеохватывающих социальных потрясений осуществлялась на столь же широком фронте, как и описанное выше наступление. Хотя общее право и законодательство порой ускоряли процесс перемен, в другие периоды они пытались его замедлить. Впрочем, общее право и право статутное далеко не всегда действовали в одном направлении.

Общее право в основном способствовало становлению рынка труда: впервые теория рабочей силы как товара была со всей решительностью сформулирована не экономистами, а юристами. В вопросе о союзах и «сговорах» рабочих общее право также поддерживало рынок труда, хотя это означало ограничение свободы ассоциаций для организованных рабочих.

Однако в сфере земельных отношений общее право от поощрения перемен перешло к противодействию им. В XVI–XVII вв. оно чаще защищало право собственника улучшать свою землю для повышения ее доходности, пусть даже это наносило серьезный ущерб жилищным условиям и занятости крестьянского населения. На континенте этот процесс мобилизации повлек за собой, как известно, рецепцию римского права, тогда как в Англии общее право сумело удержать свои позиции и ликвидировать разрыв между ограниченной средневековой собственностью и современной частной собственностью, не принося при этом в жертву жизненно важный для конституционных свобод принцип прецедентного права. Начиная уже с XVIII в. общее право в сфере земельных отношений выступало в роли защитника прошлого перед лицом модернизирующих тенденций в законодательстве. Но в конце концов бентамиты добились своего, и между 1830 и 1860 гг. свобода контрактов была распространена и на землю. Эту мощную тенденцию удалось остановить и повернуть в противоположную сторону лишь в 1870-х гг., когда общее направление законодательства радикально изменилось. Начался «коллективистский» период.

Инерция общего права была преднамеренно увеличена статутами, принятыми именно для того, чтобы защитить жилища и занятия сельских жителей от действия свободы контрактов. Предпринимались широкие усилия с целью сделать жилищные условия неимущих до известной степени соответствующими санитарно-гигиеническим требованиям: им выделяли земельные участки, предоставляя шанс вырваться из смрада трущоб, чтобы вновь дышать чистым воздухом природы. Несчастных ирландских арендаторов и обитателей лондонских трущоб вызволяли из железных тисков законов рынка парламентские акты, призванные уберечь их жилища от безжалостного джагернаута прогресса. На континенте же арендатора, крестьянина и сельскохозяйственного рабочего от самых мучительных последствий урбанизации спасали главным образом статутное право и меры исполнительной власти. Прусские консерваторы, такие, например, как Родбертус, юнкерский социализм которого оказал влияние на Маркса, были кровными братьями английских демократов-тори.

Очень скоро проблема защиты встала в отношении земледельческого населения целых стран и континентов. Свобода международной торговли, если ее ничем не ограничивают, с неизбежностью делает ненужными все более значительные компактные группы сельскохозяйственных производителей.[83] Этот неотвратимый процесс разрушения серьезно усугублялся паузами и остановками, свойственными развитию современных

средств транспорта, которые слишком дорого стоят, чтобы их можно было использовать в новых регионах планеты без твердой надежды на крупную прибыль. Как только громадные капиталовложения в строительство пароходов и железных дорог принесли свои плоды, открылся доступ к целым континентам, и на несчастную Европу обрушилась настоящая лавина зерна. Это полностью противоречило предсказаниям классиков. Рикардо, к примеру, возвел в ранг аксиомы положение о том, что самые плодородные земли заселяются первыми. Когда железные дороги открыли более плодородные земли в антиподах, аксиома эта была эффектным образом отвергнута и поднята на смех. Оказавшись перед угрозой полного уничтожения своего сельского общества, Центральная Европа вынуждена была защищать своих крестьян с помощью хлебных законов.

Но если высокоорганизованные государства Европы могли защитить себя от последствий свободы международной торговли, то лишенные государственной организации колониальные народы были бессильны это сделать. Протест против империализма являлся прежде всего попыткой экзотических народов добиться политического статуса, необходимого им для того, чтобы спастись от социальных потрясений, вызванных торговой политикой европейцев. Та система защиты, которую белый человек легко мог создать для себя благодаря суверенному статусу своих обществ, оставалась недостижимой для цветных до тех пор, пока у них отсутствовала ее необходимая предпосылка — независимое государство.

Торгово-промышленные классы активно поддерживали требование мобилизации земли. Кобден ошеломил английских лендлордов своим открытием того, что занятие сельским хозяйством есть «бизнес» и что банкрот должен убраться вон, освободив место другим. Как только стало очевидно, что благодаря свободе торговли дешевеют продукты питания, в лагерь ее сторонников перешел рабочий класс. Профсоюзы превратились в антиаграрные бастионы, а революционный социализм клеймил мировое крестьянство как сплошную реакционную массу. Международное разделение труда представляло собой, несомненно, прогрессивный принцип, а его противниками часто становились те, чьи суждения искажались групповыми материальными интересами или природной ограниченностью умственных способностей. Независимые и беспристрастные умы, отлично видевшие пороки неограниченной свободы торговли, были слишком немногочисленны, чтобы оказать сколько-нибудь серьезное воздействие на публику.

Однако последствия этих пороков не становились менее реальными оттого, что люди не осознавали их с полной ясностью. В сущности, огромное влияние, которым пользовались крупные землевладельцы в Западной Европе, а также сохранение в XIX в. феодальных порядков в Центральной и Восточной Европе легко объясняются жизненно важной защитной ролью этих сил в замедлении процесса мобилизации земли. Часто спрашивали: что позволило феодальной аристократии континента сохранить господствующее положение в буржуазном государстве и после того, как она лишилась военных, судебных и административных функций, обеспечивавших ее преобладание в прошлом? В качестве ответа на этот вопрос порой выдвигалась теория «пережитков», согласно которой формы и институты, утратившие свои функции, могут продолжать существование в силу исторической инерции. Правильнее было бы утверждать, что ни один институт не способен пережить свою функцию или функции, которые

могут не иметь ничего общего с функцией первоначальной. Так, феодализм и аграрный консерватизм могли сохранять свою силу до тех пор, пока они служили некоторой иной цели, целью же этой в данных исторических условиях было смягчить губительные последствия мобилизации земли. К этому времени фритредеры уже напрочь забыли о том, что земля есть часть территории страны и что территориальный характер государственного суверенитета — это результат не каких-то сентиментальных ассоциаций, а громадной важности реальный фактор, в том числе экономический. «В отличие от кочевника земледелец все свои усилия посвящает усовершенствованиям,

жестко привязанным к определенному месту. Без них человеческая жизнь неизбежно останется убогой и примитивной, не слишком отличающейся от существования животного. И сколь огромную роль сыграла эта определенность, эта связь в истории человечества! Всевозможные ее проявления — расчищенные и возделанные земли, дома и прочие постройки, средства сообщения, многообразное техническое оборудование, необходимое для производства, в том числе для промышленности и горного дела, жизненные удобства и усовершенствования, имеющие постоянный, „стационарный“ характер — все это образует прочную связь между любым человеческим сообществом и местом его обитания. Вещи эти нельзя придумать экспромтом, их приходится создавать медленно и постепенно, упорным трудом многих поколений, и общество не может себе позволить принести их в жертву и начать свою жизнь с чистого листа где-нибудь в другом месте. Отсюда — территориальный характер государственного суверенитета, совершенно неотделимый от наших политических представлений»[84]. В течение столетия эти очевидные истины служили предметом насмешек.

Аргументацию экономического порядка нетрудно было бы расширить, включив в нее условия безопасности государства, связанные с сохранностью земли и ее ресурсов, — такие, как жизненная сила и энергия населения, наличие достаточных запасов продовольствия, количество и качество материалов, необходимых для нужд обороны, и даже климат страны. На всех перечисленных условиях могут неблагоприятно отразиться вырубка лесов, эрозия почвы и пыльные бури; все они в конечном счете связаны с фактором земли, и ни одно из них не подчиняется рыночному механизму спроса и предложения. Социальная организация, удовлетворение жизненных нужд и самое существование которой оказались в полной зависимости от рыночных функций, естественно, склонна отнестись с доверием и надеждой к тем стоящим вне рыночной системы силам, которые способны защитить общие интересы социума, поставленные этой системой под угрозу. Подобный взгляд вполне соответствует нашему пониманию истинных причин влияния, оказываемого тем или иным классом: вместо того чтобы пытаться объяснить процессы, идущие вразрез с генеральной тенденцией эпохи, неким (по сути так и не объясненным) влиянием реакционных классов, мы объясняем влияние подобных классов тем фактом, что они, пусть даже «случайно», вследствие стечения обстоятельств, являются проводниками процессов, которые лишь по видимости противоречат интересам общества, но это лишь еще одно доказательство той истины, что из услуг, оказываемых ими обществу, разные классы извлекают далеко не одинаковую выгоду.

Наглядным примером тому стал Спинхемленд. Господствовавшие в английской деревне сквайры придумали способ замедлить рост заработной платы в сельской местности и затормозить сдвиги, угрожавшие катастрофой традиционному деревенскому укладу. В долгосрочной перспективе избранные ими методы не могли не привести к самым ужасным результатам. И однако, землевладельцы не смогли бы осуществлять свою политику, если бы она не помогала стране в целом выдержать страшную бурю промышленной революции.

На континенте аграрный протекционизм также являлся острой необходимостью. Однако наиболее активные интеллектуальные силы эпохи были увлечены авантюрой, которая изменила их угол зрения таким образом, что подлинный смысл аграрной проблемы остался ими незамеченным. В этих условиях та социальная группа, которая оказалась способной выступить выразителем поставленных под угрозу интересов деревни, смогла приобрести влияние, совершенно несоразмерное ее численности. Фактически протекционистскому контрдвижению удалось стабилизировать ситуацию в европейской деревне и уменьшить приток населения в города — подлинное бедствие тех времен. Реакция извлекла для себя выгоду из общественно полезной функции, которую выполнила она в сложившихся обстоятельствах. Роль, аналогичная той, которая позволила реакционным классам Европы сыграть на традиционных чувствах в борьбе за аграрные тарифы, в Америке примерно полвека спустя обусловила успех «Администрации Долины Теннесси» и других прогрессивных социальных мероприятий. Одни и те же потребности общества укрепляли

демократию в Новом Свете и усиливали влияние аристократии в Старом.

Противодействие мобилизации земли являлось социальной подоплекой той борьбы между либерализмом и реакцией, которая составила главное содержание политической истории континентальной Европы в XIX в. Военные и высшее духовенство выступали в этой борьбе союзниками землевладельческого класса, почти полностью утратившего свои более прямые функции в обществе. Теперь все эти классы готовы были поддержать любую реакционную попытку выхода из тупика, в который грозили завести общество рыночная экономика и ее естественное следствие, конституционная система, — ведь ни традиция, ни идеология не связывали их с принципами гражданской свободы и парламентского правления.

Короче говоря, экономический либерализм был крепко спаян с либеральным государством, тогда как землевладельческие классы вовсе не составляли с ним неразрывного единства, — это и стало на долгий срок источником их политического веса на континенте, который обусловил сложную борьбу противоположных тенденций в прусской политической жизни при Бисмарке, питал силы клерикального и милитаристского реванша во Франции, обеспечил феодальной аристократии влияние при императорском дворе Габсбургов, превратил церковь и армию в защиту и опору готовых рухнуть тронов. А поскольку этот союз сумел пережить критический срок в два человеческих поколения (установленный некогда Джоном Мейнардом Кейнсом в качестве реальной альтернативы для вечности), то и земля и земельная собственность стали теперь считаться несомненным признаком прирожденной и неискоренимой реакционности. Англия XVIII в. с ее тори-фритредерами и аграрными новаторами была забыта так же прочно, как и огораживатели эпохи Тюдоров с их революционными методами извлечения прибыли из земли; современный предрассудок о вековой отсталости деревни уничтожил в общественном сознании всякую память о французских и немецких помещиках-физиократах, этих восторженных поклонниках свободы торговли. Герберт Спенсер, для которого и одно поколение могло сойти за образчик вечности, попросту отождествил милитаризм с реакцией. Удивительная способность к социальному и техническому обновлению, продемонстрированная недавно японской, русской и нацистской армиями, оказалась бы для него совершенно непостижимой.

Подобные взгляды были всецело обусловлены событиями одной, вполне определенной эпохи. Колоссальные промышленные достижения рыночной экономики были куплены ценой громадного ущерба, нанесенного субстанции человеческого общества. В этих условиях феодальным классам представилась отличная возможность вернуть себе часть утраченного престижа, превратившись в певцов земли и заступников тех, кто на ней трудится. В литературном романтизме Природа заключила союз с Прошлым; в аграрном движении XIX в. феодализм попытался, и не без успеха, воскресить собственное прошлое, выступив в роли стража и блюстителя земли — естественной среды человека. Не будь угроза вполне реальной, данная стратегия не имела бы успеха.

Но авторитет армии и церкви рос еще и оттого, что они были способны к «защите правопорядка», который как раз теперь оказался весьма уязвимым, ведь господствующая буржуазия была не в состоянии сама выполнить это требование новой экономики. Рыночной экономике аллергия на мятежи и беспорядки свойственна в большей степени, чем любой иной известной нам экономической системе. В эпоху Тюдоров правительство видело в бунтах своего рода сигналы, оповещавшие его о недовольстве на местах; с полдюжины зачинщиков могли отправиться на виселицу, на том и кончались все неприятности. Возникновение финансового рынка повлекло за собой полный разрыв с подобной традицией; после 1797 г. беспорядки перестают быть обычным атрибутом лондонской жизни, их место постепенно занимают митинги и собрания, на которых, по крайней мере в принципе, руки уже не сжимаются в кулаки для драки, а поднимаются вверх для голосования.[85] Король Пруссии, провозгласивший, что сохранение общественного порядка есть первейший долг подданного, прославился этим парадоксом, но уже очень скоро парадокс превратился в банальность. В XIX в. нарушение общественного порядка, если в нем повинна была вооруженная толпа,

воспринималось как начало настоящего восстания и страшная угроза для государства; биржи охватывала паника, акции стремительно падали в цене. Стрельба на улицах столицы могла уничтожить значительную часть уставных капиталов нации. Тем не менее средние классы не отличались воинскими добродетелями, народная демократия прямо гордилась тем, что дает выход протесту масс, а на континенте буржуазия все еще хранила верность воспоминаниям своей революционной юности, когда она сама поднималась на баррикады в борьбе с тиранией аристократии. В итоге одно лишь крестьянство, менее всего зараженное либеральным вирусом, можно было счесть классом, способным грудью стать на защиту «правопорядка». Предполагалось, что одна из задач реакции — обеспечить, чтобы рабочий класс знал свое место и вел себя смирно, и рынки, таким образом, не охватывала паника. И хотя выполнять ее приходилось очень редко, способность крестьянства выступить в роли защитника прав собственности являлась важным преимуществом аграрного лагеря.

По-иному объяснить историю 1920-х гг. невозможно. Когда прежний общественный строй государств Центральной Европы, не выдержав тяжести войны и поражения, рухнул, только рабочий класс мог выполнить неотложную задачу — обеспечить дальнейшее функционирование общества. Сила вещей всюду заставила профсоюзы и социал-демократические партии взять власть в свои руки: Австрия, Венгрия и даже Германия были провозглашены республиками, хотя ни в одной из этих стран никогда не существовало активных республиканских партий. Но как только непосредственная угроза социального распада отошла в прошлое и услуги профсоюзов стали не нужны, буржуазия попыталась лишить рабочий класс всякого влияния на государственные дела. Это принято называть контрреволюционным периодом послевоенной истории. Фактически сколько-нибудь серьезной угрозы установления коммунистического режима никогда не существовало, так как рабочие были объединены в партии и союзы, занимавшие по отношению к коммунистам резко враждебную позицию. (В Венгрии большевистский эпизод был в буквальном смысле навязан стране, когда необходимость защиты от французского вторжения не оставила нации другого выбора.) Реальной опасностью был не большевизм, а пренебрежение законами рыночной экономики, которое могли проявить в чрезвычайных обстоятельствах профсоюзы и рабочие партии. Ведь в условиях рыночной экономики нарушения общественного порядка и сбои в нормальном функционировании торгово-промышленного механизма, в иных обстоятельствах безвредные, способны были превратиться в смертельную угрозу[86], ибо они могли вызвать крах экономической системы, от которой зависело общество в отношении хлеба насущного. Этим и объясняется удивительный переход от, казалось бы, неминуемой диктатуры промышленных рабочих к реальной диктатуре крестьянства. На всем протяжении 20-х гг. крестьянство диктовало экономическую политику в целом ряде государств, в которых обычно оно играло весьма скромную роль. Теперь же оно оказалось единственным классом, способным поддерживать правопорядок, в современных условиях чрезвычайно хрупкий и чувствительный.

Яростная борьба за аграрные интересы бросает свет на режим особого благоприствования, предоставленный в послевоенной Европе крестьянству по причинам политического характера. От движения Лаппо в Финляндии до австрийского «Хеймвера» крестьяне выступали поборниками рыночной системы, это и сделало их политически незаменимыми. Продовольственные трудности первых послевоенных лет, которыми пытались порой объяснить их гегемонию, не имели к этому особого отношения. Например, Австрия, для того чтобы обеспечить финансовые выгоды крестьянам, вынуждена была сохранить пошлины на зерно, снизив тем самым обычные нормы потребления, хотя и находилась в сильнейшей зависимости от импорта продовольствия. Интересы крестьянства нужно было защищать любой ценой, пусть даже аграрный протекционизм мог обернуться нищетой для городских жителей и непомерно высокими издержками производства в экспортных отраслях. Таким образом, класс крестьян, прежде не игравший заметной политической роли, приобрел вес, явно несоразмерный его экономическому значению. Страх перед большевизмом — вот та сила, которая сделала его политические позиции неприступными. И однако, этот страх, как

мы видели, не был страхом перед диктатурой рабочего класса — ничего, хотя бы отдаленно ее напоминающего, на тогдашнем историческом горизонте не вырисовывалось — скорее, это был ужас при мысли о том, что рыночную экономику непременно поразит паралич, если вовремя не устранить с политической сцены все те силы, которые в критических обстоятельствах могут пренебречь правилами рыночной игры. И пока крестьяне представляли собой единственный класс, способный выполнить подобную задачу, их престиж оставался чрезвычайно высоким, а городские средние классы были фактически их заложниками. Но как только укрепление государственной власти и (даже еще раньше) превращение низших слоев городских средних классов в штурмовые отряды фашизма освободили буржуазию от зависимости от крестьян, политическое влияние последних резко пошло на убыль. После того как «внутренний враг» в городах и на заводах был нейтрализован или усмирен, крестьянство оказалось низведенным до своего прежнего, весьма скромного, положения в индустриальном обществе.

Положение же крупных землевладельцев осталось неизменным. В их пользу действовал более устойчивый фактор — растущее значение сельскохозяйственной самодостаточности. Великая война втолковала обществу фундаментальные принципы стратегии, и наивно-бездумные надежды на мировой рынок сменились судорожно-истерическими усилиями всячески увеличить собственное производство продовольствия. «Реаграризация» Центральной Европы, толчком для которой послужил панический страх перед большевизмом, завершалась под знаком автаркии. К прежним аргументам относительно «внутреннего врага» теперь прибавился новый довод — «враг внешний». Грозные политические события даже самым недалеким людям открывали глаза на то, что перед лицом надвигающегося краха международного порядка собственно экономические соображения мало что значат, — либеральные же экономисты видели в этом, как всегда, романтические заблуждения, порожденные ложными экономическими теориями. Женева продолжала свои тщетные попытки убедить народы в том, что им нет никакой нужды отчаянно копить свои запасы, ибо преследующие их страхи совершенно беспочвенны, и что если бы только все стали действовать в полном согласии, то можно было бы восстановить свободу торговли на пользу всем и каждому. В духовной атмосфере той эпохи, отличавшейся поразительным легковерием, многие считали само собой разумеющимся, что разрешение экономической проблемы (что бы ни понималось под этим конкретно) не только ослабит угрозу войны, но и покончит с нею раз и навсегда. Столетний мир создал непреодолимую стену иллюзий, за которой невозможно было разглядеть действительные факты. Тогдашним авторам была свойственна какая-то удивительная невосприимчивость к реальности. А. Дж. Тойнби считал допотопным предрассудком национальное государство, Людвиг фон Мизес видел нелепую иллюзию в суверенитете, а Норман Анджелл объявил войну простой ошибкой в коммерческих расчетах. Понимание принципиальной важности политических проблем опустилось до небывало низкого уровня.

Битва за свободу торговли, которая в 1846 г. велась и была выиграна вокруг вопроса о хлебных законах, восемьдесят лет спустя началась вновь и по тому же поводу — на сей раз, однако, исход ее оказался иным. Мучительная проблема автаркии с самого начала преследовала рыночную экономику, а потому либеральные экономисты пытались заклясть дух войны и в своих аргументах исходили из наивного допущения о неразрушимости рыночной экономики. Никто не замечал, что все их доводы лишь демонстрируют, сколь громадному риску подвергает себя народ, всецело полагающийся в отношении своей безопасности на такой хрупкий институт, как саморегулирующийся рынок. Автаркическое движение 20-х было по существу пророческим: оно указало на необходимость адаптации к постепенному разрушению прежнего порядка. Великая война открыла людям глаза на опасность, и они вели себя соответственно, но поскольку действовали они десять лет спустя, связь между причиной и следствием не принималась ими в расчет как нечто несущественное. «Нужно ли защищаться от не существующих более угроз?» — вопрошали тогда многие. Эта порочная логика не только помешала им понять истинный смысл автаркии, но и, что гораздо

важнее, затуманила их взгляд на фашизм. На самом деле и автаркия и фашизм объяснялись следующим фактом: после того как массовое сознание получает сильное впечатление опасности, вызванный ею страх продолжает существовать в скрытой форме, пока причины его остаются неустранимыми.

Мы утверждали, что европейские народы так и не смогли избавиться от шока опыта войны, неожиданно столкнувшей их с теми опасностями, которые таит в себе всеобщая взаимозависимость. Тщетным оказалось возобновление торговых связей, напрасно бесчисленные международные конференции рисовали идиллические картины мира, а десятки правительств решительно высказывались в пользу принципа свободы торговли — ни один народ не мог забыть простую вещь: если он сам не будет владеть теми источниками продовольствия и сырья, которыми пользуется, или же доступ к ним не будет надежно гарантирован военными средствами, то ни твердая валюта, ни сколь угодно прочный кредит уже не смогут его спасти и он окажется совершенно незащищенным. Не могло быть ничего более логичного и естественного, чем та последовательность, с которой данная основополагающая идея формировала политику различных государств. Источник опасности не был устранен, а если так, то можно ли было всерьез рассчитывать на то, что страх исчезнет?

Жертвами подобного заблуждения стали те критики фашизма (составлявшие огромное большинство), которые видели в нем странную аномалию, полностью лишенную политического разумного основания. Муссолини, говорили они, заявляет, будто он отвел от Италии угрозу большевизма, тогда как статистика ясно показывает, что стачечная волна пошла на убыль более чем за год до похода на Рим. Вооруженные рабочие действительно заняли фабрики в 1921 г. Но разве было это достаточным основанием для того, чтобы разоружать их в 1923 г., когда они давно уже спустились со стен, на которых несли караул? Гитлер утверждал, будто он спас Германию от большевизма. Но ведь нетрудно продемонстрировать, что бурный рост безработицы, предшествовавший его канцлерству, сменился противоположной тенденцией еще до его прихода к власти. Утверждать, что он предотвратил то, чего в момент его прихода уже не существовало, значит вступать в противоречие с законом причины и следствия, который должен иметь силу и в политике.

Действительно, события первых послевоенных лет как в Италии, так и в Германии доказали, что большевизм не имел ни малейшего шанса на успех. Но они также с полной ясностью продемонстрировали, что в чрезвычайных обстоятельствах рабочий класс, его партии и профсоюзы способны пренебречь законами рынка, установившими свободу контрактов и священность частной собственности как высшие, непререкаемые абсолюты, — а подобное развитие событий неизбежно окажет самое пагубное воздействие на общество: исчезнут стимулы к инвестициям, станет невозможным накопление капитала, уровень заработной платы сделает нерентабельным бизнес, окажется под угрозой валюта, будет подорван иностранный кредит, ослабеет взаимное доверие, наступит полный паралич предпринимательской деятельности. Не призрачная угроза коммунистической революции, но тот неопровержимый факт, что рабочий класс в состоянии осуществить насильственное вмешательство в экономику с самыми губительными последствиями для нее, и породил скрытый страх, который в критической ситуации вырвался наружу в приступе фашистской паники.

Опасности, которые представляла рыночная экономика для человека и для природы, не поддаются четкому разграничению. Реакция на нее со стороны как рабочего класса, так и крестьянства вела к протекционизму, в первом случае — главным образом в виде социального законодательства и фабричных законов, во втором — в форме аграрных тарифов и земельных законов. Существовало, впрочем, и одно весьма важное различие: в чрезвычайных обстоятельствах фермеры и крестьяне Европы защищали рыночную систему, которую политика рабочего класса ставила под угрозу. Кризис системы, нестабильной по самой своей природе, был вызван действиями обоих крыльев протекционистского движения,

однако связанные с землей социальные слои обнаружили в этих условиях склонность к компромиссу с рыночной системой, тогда как широкий класс наемных работников не побоялся нарушить ее правила и открыто бросить ей вызов.

Глава 16

Рынок и организация производства

Даже само капиталистическое предприятие надо было защищать от неограниченного воздействия рыночного механизма. Этим признанием должно быть развеяно подозрение, которое сами термины «человек» и «природа» иногда пробуждают в искушенных умах, тяготеющих к тому, чтобы все разговоры о защите труда и земли воспринимать как результат влияния устаревших идей, а быть может, и просто как попытку замаскировать интересы крупных монополий.

В действительности как в случае с производственным предприятием, так и тогда, когда речь заходила о человеке и природе, опасность оставалась реальной и объективной. Потребность в защите обуславливалась тем, каким образом в условиях рыночной системы было организовано денежное снабжение. Централизованное банковское дело по существу представляло собой механизм, сформированный для оказания защиты, без которой рынок уничтожил бы своих собственных детей, т. е. самые разные деловые предприятия. Однако в конечном счете именно такая форма защиты самым непосредственным образом способствовала падению международной системы.

Если опасности, грозящие земле и труду в силу крайней неупорядоченности рынка, вполне очевидны, то угроза предприятию, кроющаяся в условиях существования денежной системы, не так заметна. Тем не менее если прибыли зависят от цен, тогда денежные операции, от которых зависит ценообразование, должны иметь жизненно важное значение для функционирования любой системы, направленной на получение прибыли. Если в пределах долгого промежутка времени изменения в продажной цене товара не должны сказываться на прибыли, поскольку цены будут соответственно подниматься и падать, то по отношению к короткому промежутку это не так, поскольку до фиксированного изменения цен на договорной основе должно наблюдаться определенное отставание. Среди таких цен есть и цена на труд, которая вместе со многими другими ценами вполне естественным образом фиксируется посредством договора. Следовательно, если по причинам, связанным с деньгами, уровень цен падал на протяжении значительного периода времени, предприятие находилось на грани закрытия, что сопровождалось распадом организации производства и основательным уничтожением капитала. Тревогу вселяли не низкие цены, а снижающиеся. Юм известен как основатель количественной теории денег с характерным для нее открытием, согласно которому предприятие не несет потерь, если количество денег уменьшилось вдвое, поскольку цены просто снизятся вдвое по сравнению со своим прежним уровнем. Он забыл, что предприятие может быть уничтожено в ходе этого процесса.

Легко понять, почему система товарных денег наподобие той, которую рыночный механизм стремится ввести без внешнего вмешательства, несовместима с промышленным производством. Товарные деньги — просто товар, который в силу каких-то обстоятельств функционирует как деньги, и поэтому его количество в принципе вообще не может возрасти, разве что в том случае, когда уменьшается количество товаров, не функционирующих как деньги. На практике товарные деньги — это обычно золото или серебро, количество которого может возрасти и за короткий промежуток времени, но не намного. Однако расширение производства и торговли, которое не сопровождается

увеличением количества денег, должно привести к падению уровня цен — мы имеем в виду как раз тот самый тип разрушительной дефляции. На недостаток денег постоянно и довольно сильно жаловались торговые сообщества XVII в. Бумажные деньги возникли на ранней стадии как средство защитить торговлю от вынужденных дефляций, сопровождавших использование металлических денег, когда объем предприятия возрастал. Никакая рыночная экономика не могла существовать без посредства этих искусственных денег.

Реальная проблема возникла вместе с потребностью в валютных курсах и, как следствие, в введении золотого стандарта, приблизительно в эпоху Наполеоновских войн. Стабильный товарообмен стал принципиально важным для самого существования английской экономики; Лондон превратился в финансовый центр расширявшейся мировой торговли. Однако именно товарные деньги могли служить для этой цели по той очевидной причине, что бумажные деньги, будь то деньги банковского оборота или прочие, не обеспеченные золотом, не могли циркулировать на чужой территории. Поэтому золотой стандарт — таково наименование системы международных товарных денег — вышел на первый план.

Однако для внутренних целей, как мы знаем, обеспеченные металлические деньги не годятся как раз потому, что они — товар и их количество не может расти как угодно. Количество наличного золота может за год вырасти на несколько процентов, но не может существенно увеличиться за несколько недель, что бывает необходимым для того, чтобы обеспечить неожиданное увеличение объема сделок. Из-за отсутствия бумажных денег предприятию приходится или сокращать производство, или продолжать работу при резком снижении цен, что ведет к резкому экономическому спаду и безработице.

В самом простейшем выражении проблема выглядела так: товарные деньги были принципиально важны для существования внешней торговли; бумажные деньги — для существования внутренней торговли. Насколько они согласовывались друг с другом?

В экономических условиях, характерных для XIX в., внешняя торговля и золотой стандарт обладали бесспорным авторитетом по отношению к потребностям внутреннего предпринимательства. Действие золотого стандарта требовало понижения уровня внутренних цен каждый раз, когда валютному курсу угрожало обесценивание. Поскольку дефляция осуществляется за счет ограничения кредита, отсюда следует, что действие товарных денег препятствует функционированию кредитной системы. Такая ситуация создавала постоянную угрозу предпринимательству, однако не могло быть и речи о том, чтобы вообще отказаться от бумажных денег и оставить только товарные, поскольку такое лекарство было бы хуже самой болезни.

Централизация банковского дела довольно сильно смягчила этот недостаток, свойственный кредитным деньгам. Благодаря централизации кредитных ресурсов в стране появилась возможность избежать полного беспорядка в предпринимательстве и сфере занятости, характерного при дефляции, и организовать дефляцию таким образом, чтобы погасить ее резко негативное воздействие и рассредоточить его по всей стране. Обычная функция банка заключалась в том, чтобы смягчить то непосредственное воздействие на обращение банкнот, которые вызывалось сокращением золотого запаса, а также воздействие на предпринимательство, вызванное уменьшением обращения самих банкнот.

Банк мог использовать различные методы. Краткосрочные кредиты помогали оправиться от краткосрочных потерь золота и избежать необходимости в ограничении кредитов вообще. Однако даже в том случае, когда это ограничение было неизбежным, что часто и случалось, банк выступал как своего рода буфер: повышение банковской ставки, а также кредитные операции на открытом рынке распространяли результаты рестрикций по всей стране, тем самым перекладывая их бремя на более сильные плечи.

Рассмотрим существенно важный пример одностороннего перевода платежей из страны в

страну, который, в частности, может возникнуть в результате изменения спроса на пищевые продукты в смысле предпочтения внутренних импортным. Золото, которое теперь надо послать за границу в качестве платежа за ввезенную продукцию, при других обстоятельствах было бы использовано для внутренних платежей, теперь же его отсутствие должно вызвать снижение уровня внутренних продаж и, следовательно, падение цен. Такой тип дефляции мы назовем «коммерческой», потому что он распространяется от одной фирмы к другой в соответствии с их случайными сделками. В конце концов распространение дефляции достигает экспортных фирм и таким образом затрагивает экспортного излишка, который и представляет «реальный трансферт». Однако вред и ущерб, нанесенный обществу в широком смысле, будет гораздо больше, чем тот, который неизбежно должен был затронуть этот экспортный излишек, так как всегда есть фирмы, экспортные возможности которых невелики и которым достаточно лишь незначительного снижения цен, чтобы они «пошли в атаку», и такое снижение может быть достигнуто прежде всего экономическими мерами путем постепенного расширения дефляции на все сообщество предпринимателей.

В этом и заключалась одна из функций центрального банка. Политика скидок и операций на открытом рынке, проводимая им в широком масштабе, снижала внутренние цены более или менее одинаково и давала возможность фирмам, «почти готовым к экспорту», возобновлять или увеличивать свои экспортные поставки, причем ликвидации подлежали только самые неэффективные фирмы. Таким образом «реальный трансферт» осуществлялся ценой внесения в экономическую систему гораздо меньших диспропорций, чем та, к которой пришлось бы прибегнуть, чтобы достичь того же экспортного излишка с помощью иррационального метода случайных и нередко катастрофических импульсов, передаваемых через узкие каналы «коммерческой дефляции».

Однако самым сильным из всех обвинений, касающихся золотого стандарта, стал тот факт, что, несмотря на все эти механизмы, направленные на смягчение последствий дефляции, в результате вновь и вновь наблюдались полная дезорганизация предпринимательской деятельности и, как следствие, массовая безработица.

Пример с деньгами представил вполне реальную аналогию той ситуации, которая сложилась по отношению к труду и земле. Использование товарной фикции применительно к каждому из этих случаев вело к их эффективному включению в рыночную экономику и в то же время создавало для общества серьезную угрозу. В случае с деньгами угроза нависала над производственным предприятием, существование которого зависело от любого падения уровня цен, вызванного использованием товарных денег. Таким образом, здесь надо было прибегать к защитным мерам, чтобы положить конец рыночному механизму самоуправления.

Централизация банковского оборота превращала автоматическое функционирование золотого стандарта к простой видимости. Она означала, что управление денежными потоками централизуется; саморегулирующийся механизм предоставления кредита заменялся управлением, даже если сам метод не всегда был осознанным и преднамеренным. Все больше и больше находила признание та мысль, что международный золотой стандарт может предоставить саморегуляции только в том случае, если отдельные страны оставляют идею централизации банковского оборота. Единственным последовательным сторонником чистого золотого стандарта, действительно оправдывавшим этот отчаянный шаг, был Людвиг фон Мизес; его совет, если бы к нему прислушались, превратил бы национальную экономику различных стран в руины.

Почти всей неразберихой, существовавшей в денежной теории, она была обязана разделению политики и экономики, что является яркой особенностью рыночного общества. Более века деньги рассматривались как чисто экономическая категория, как товар, используемый для нужд опосредованного товарообмена. Если золото было столь предпочтительным товаром, золотой стандарт продолжал действовать. (Определение «международный» по отношению к этому стандарту не имело смысла, поскольку для

экономиста не существовало народов; сделки совершались не между народами, а между отдельными лицами, политическая ориентация которых была такой же неважной, как и цвет их волос.) Англии XIX в. Рикардо внушал мысль о том, что термин «деньги» означает средство обмена, что банкноты созданы просто для удобства и польза от них заключается в том, что с ними легче обращаться, чем с золотом, а их ценность берет начало в уверенности, что, обладая ими, мы обладаем средством в любой момент получить сам товар, т. е. золото. Отсюда следовало, что национальный характер валют не имеет никакого значения, поскольку они — это всего лишь знаки, представляющие тот же самый товар. И если для правительства неразумно стремиться к тому, чтобы самому обладать золотом (поскольку распределение этого товара как всякого другого само регулируется на мировом рынке), еще неразумнее воображать, что знаки, несущие на себе признаки той или иной национальности, имеют какое-то значение для благополучия и процветания соответствующих стран.

Однако институциональное разделение политической и экономической сфер никогда не было полным и именно в вопросе валюты оно с необходимостью было незавершенным; государство, монетный двор которого, как казалось, только удостоверяет вес монет, на самом деле было гарантом ценности бумажных денег, которые оно принимало как оплату налогов и в других отношениях. Эти деньги

не были средством обмена, они были средством платежа; они не были товаром, но представляли собой покупательную способность; они были вовсе не какой-то полезностью сами по себе, она служили просто числовым выражением притязания на ту вещь, которую можно было приобрести. Ясно, что общество, в котором распределение зависело от обладания такими знаками покупательной способности, представляло собой образование, совершенно не связанное с рыночной экономикой.

Здесь мы, конечно, имеем дело не с какими-то реальными ситуациями, а с концептуальными моделями, которые используем для разъяснения. Никакую рыночную экономику нельзя отделить от политической сферы; напротив, она представляла собой тот пласт, который лежал в основе классической экономики, начиная с Давида Рикардо, и без которого понятия и посылки, характерные для последней, были непостижимыми. Согласно такой «схеме» общество состоит из индивидов, занимающихся меновой торговлей и обладающих перечнем товаров: различными изделиями, землей, трудом, а также их составляющими. Деньги — это просто один из товаров, который обменивается чаще других и, следовательно, приобретается с целью использования при обмене. Такое «общество», наверное, нереально, однако оно содержит те слагаемые для построения, с которых и начинала классическая экономика.

Экономика, в основе которой лежит принцип покупательной способности, дает даже менее полную картину действительности, однако некоторые ее особенности напоминают наше общество гораздо ярче, чем парадигма рыночной экономики. Представим «общество», в котором каждый индивид наделен определенной покупательной способностью, дающей ему возможность покупать товары, каждый вид которых имеет ярлык с указанием цены. Деньги в такой экономике товаром не являются, сами по себе они не имеют никакой полезности: единственная их польза — приобретать товары, к которым прикреплены ценники и которых очень много, как сегодня в наших магазинах.

Хотя в XIX в., когда социальные институты во многих существенных чертах сообразовывались с рыночной моделью, теория товарных денег далеко превосходила соперничающую с ней теорию, с XX в. концепция покупательной способности начинает неколебимо завоевывать популярность. С распадом золотого стандарта товарные деньги практически прекратили свое существование, и вполне естественно, что концепция покупательной способности денег пришла им на смену.

Переходя от механизмов и понятий к действующим в обществе социальным силам, важно понимать, что сами правящие классы поддерживали управление денежными потоками через

центральный банк. Такое управление, конечно, не рассматривалось как препятствие функционированию золотого стандарта, напротив, оно было частью тех правил игры, при которых и предполагалось это функционирование. Поскольку необходимость поддержания золотого стандарта не вызвала никаких сомнений и механизму централизованных банковских операций никогда не позволялось действовать так, чтобы страна лишилась золотого запаса (напротив, высшая директива банку заключалась в том, чтобы всегда и при любых условиях удерживать золото), казалось, что ничего принципиального не предполагалось. Но так было до тех пор, пока движение уровня цен предполагало самое большее 2–3 % от так называемых золотых точек. Как только движение внутреннего ценового уровня, необходимого для поддержания стабильного товарообмена, становилось гораздо большим, когда он прыгал на 10 %, ситуация полностью менялась. Такое падение уровня вело к разорению и нищете. Факт регулирования денежного обращения приобретал первостепенную важность, поскольку это означало, что методы банковской централизации являются вопросом политики, т. е. что здесь есть нечто, подлежащее решению политических деятелей. Действительно, важное значение централизации банковских операций заключалось в том, что тем самым регулирование денежного обращения перемещалось в сферу политики. Последствия могли быть только далеко идущими.

Они были двоякими. Внутри страны монетарная политика представляла собой лишь иную форму интервенционизма, и столкновения экономических классов обретали тенденцию кристаллизироваться вокруг этой проблемы, столь тесно связанной с проблемой золотого стандарта и сбалансированного бюджета. Внутренние конфликты 30-х гг., как мы увидим, нередко имели своим средоточием эту проблему, игравшую важную роль в усилении антидемократического движения.

В области внешнего товарообмена роль национальных валют была чрезвычайно важной, хотя в то время этот факт почти не признавался. Ведущей философией XIX в. были пацифизм и интернационализм; «в принципе», все образованные люди являлись свободными торговцами и, обладая квалификацией, которая сегодня кажется весьма скромной, они были таковыми и на практике. Отправная точка такой перспективы была, конечно же, экономической; подлинный идеализм во многом брал начало в сфере бартерного обмена и торговли: весьма парадоксальным образом эгоистические потребности человека придавали силу его самым великодушным порывам. Однако начиная с 70-х гг. обозначился эмоциональный сдвиг, который, правда, не привел к прорыву в господствующих идеях. Мир по-прежнему верил в интернационализм и взаимозависимость, хотя в своих действиях руководствовался националистическими побуждениями и установкой на самодостаточность. Либеральный национализм перерастал в национальный либерализм, с характерными для него тенденциями к протекционизму и империализму в области внешней экономики и монополистическому консерватизму у себя дома. Нигде это противоречие не было таким острым и в то же время не осознавалось так мало, как в сфере денежного обращения, так как догматическая вера в международный золотой стандарт нисколько не увядала, хотя в то же время была введена бумажная валюта, основанная на верховенстве различных централизованных банковских систем. Под эгидой принципов международного сотрудничества неосознанно возводились неприступные бастионы нового национализма в виде центральных эмиссионных банков.

По существу, новый национализм был следствием нового интернационализма. Международный золотой стандарт не был бы принят теми нациями, которым, как предполагалось, он должен служить, если бы они не были застрахованы от опасностей, которыми он угрожал сообществам, его придерживавшимся. Полностью монетаризованные сообщества не смогли бы выдержать разрушительных последствий резких перемен в уровне цен, обусловленных поддержанием стабильного товарообмена, если бы нарушение экономического равновесия не смягчалось политикой независимого центрального банка. Национальная бумажная валюта являлась определенным гарантом этой относительной

безопасности, поскольку позволяла центральному банку выступать в роли буфера между внутренней и внешней экономикой. Если платежному балансу угрожала неликвидность, резервы и внешние займы помогали преодолеть эту трудность; если бы понадобилось создать совершенно новый экономический баланс, предполагающий падение внутреннего уровня цен, ограничение кредита распространялось бы самым рациональным образом, упраздняя неэффективные предприятия и перекладывая бремя на плечи эффективных. Отсутствие такого механизма лишило бы любую развитую страну возможности ориентироваться на золотой стандарт, потому что это разрушительным образом сказалось бы на ее благосостоянии, будь то производство, доходы или занятость.

Если торговый класс отстаивал рыночную экономику, банкиры были прирожденными лидерами этого класса. Занятость и доходы зависели от прибыльности предприятия, но сама эта прибыльность зависела от стабильного товарообмена и обоснованных условий кредитования, а обо всем этом заботился банкир. Он свято верил в том, что оба момента нераздельны. Обоснованный бюджет и стабильные условия внутреннего кредитования предполагали стабильный внешний обмен; следовательно, он не мог быть стабильным, если внутренний кредит не был гарантированным, а финансовое хозяйство страны не находилось в равновесии. Одним словом, на банкире лежала двойная обязанность: обоснованное внутреннее финансирование и внешняя стабильность валюты. Вот почему, когда оба момента утратили значение, банкиры как класс были последними, кто это заметил. Нет ничего удивительного ни в том, что в 20-е гг. международные банки оказывали господствующее влияние, ни в том, что в 30-х гг. настала пора их заката. В 20-х золотой стандарт все еще рассматривали как неперемненное условие возврата к стабильности и процветанию и, следовательно, любое требование, выдвигавшееся банкирами как его профессиональными хранителями, не считалось слишком обременительным, если только давалось обещание обеспечить стабильность валютного курса; когда же после 1929 г. это стало невозможно, возникла острая необходимость в стабилизации внутреннего денежного курса, и здесь не было менее квалифицированного человека, чем банкир.

Ни в какой другой сфере кризис рыночной экономики не был таким острым, как в сфере денежного обращения. Аграрные тарифы, препятствовавшие импорту продукции зарубежных стран, привели к крушению свободной торговли; сужение и регулирование рынка труда ограничивало ведение переговоров до такого уровня, когда закон позволял выносить решение заинтересованным сторонам. Но ни в области трудовых отношений, ни в операциях с землей не произошло такого неожиданного и полного разрыва рыночного механизма, который совершился в области денежного обращения. На других рынках не произошло ничего такого, что можно было бы сравнить с упразднением золотого стандарта Великобританией 21 сентября 1931 г. или даже с меньшим по значению таким же событием, произошедшим в Америке в июне 1933 г. Хотя к этому времени Великая депрессия, начавшаяся в 1929 г., уничтожила основную часть мировой торговли, это не означало каких-либо перемен в методах и не повлияло на руководящие идеи. Однако окончательным крушением золотого стандарта было окончательное крушение самой рыночной экономики.

Экономический либерализм начал свой путь сто лет назад и был встречен движением протекционизма, который теперь ворвался в последний бастион рыночной экономики. Новый перечень руководящих идей пришел на смену стихии саморегулирующегося рынка. К изумлению большинства современников, неведомые силы харизматического лидерства и автаркистского изоляционизма заявили о себе и придали обществу новые формы.

Глава 17

Сбои в саморегулировании

За полвека (1879–1929) западные общества превратились в тесно переплетенные между собой образования, в рамках которых были скрыты мощные разрушительные силы. Непосредственным источником этого превращения была ослабевающая рыночная экономика. Поскольку общество изначально создавалось с тем, чтобы приспособливаться к потребностям рыночного механизма, любые функциональные сбои в работе такого механизма способствовали формированию кумулятивных сил в самом социальном организме.

Ослабевающая саморегуляция была следствием протекционизма. Конечно, в некотором смысле рынки всегда являются саморегулирующимися в силу того, что они стремятся создавать цены, которые оправдывают их собственное существование; как бы то ни было, но это остается очевидным для всех типов рынков — свободных и иных. Вместе с тем, как мы уже показали, свободная рыночная система предполагает нечто другое, весьма отличное, а именно рынки средств производства — рабочей силы, земли и финансов. Поскольку работа таких рынков угрожает обществу потенциальным разрушением, действия по самозащите сообщества направлялись на предотвращение их формирования или на ограничение их уже ставшего независимым существования.

Америка использовалась экономистами-либералами в качестве убедительного доказательства способности рыночной экономики к функционированию. В течение целого столетия рабочая сила, земля и деньги свободно отчуждались в Штатах; еще не возникли потребности в мерах по социальной защите, и, несмотря на установленные таможенные тарифы, индустриальная жизнь беспрепятственно протекала, не испытывая на себе правительственного вмешательства.

Объяснение происходившему, конечно же, оказывается простым: все дело было в свободной рабочей силе, земле и деньгах. Вплоть до 1890-х гг. граница была открыта и освоение свободных земель продолжалось; вплоть до Первой мировой войны приток дешевой рабочей силы не прекращался; вплоть до конца столетия не существовало необходимости поддерживать внешний рынок стабильным. Свободный приток земли, рабочей силы и денег не прекращался, вследствие чего саморегулирующаяся рыночная система отсутствовала. До тех пор пока преобладали подобные условия, ни человек, ни природа, ни предпринимательство не нуждались в том виде защиты, которую в состоянии обеспечить правительственное вмешательство.

Как только эти условия перестали существовать, вступили в действие меры социальной защиты. Когда низшие разряды рабочего класса уже нельзя было без труда пополнять за счет бездонного источника иммиграции, а верхние его слои уже не могли с легкостью превращаться в фермеров; когда недостаток свободных земель и природных ресурсов заставил использовать их более экономно; когда введен был золотой стандарт, чтобы вывести денежное обращение из сферы политики и связать внутреннюю торговлю с торговлей мировой, тогда Соединенные Штаты догнали Европу, повторив путь, проделанный ею за предшествовавшие сто лет: появилась система защиты земли и тех, кто на ней трудится; профсоюзы и законодательство обеспечили социальные гарантии для рабочих; возникла центральная банковская система, причем все это — в самых широких масштабах. Первым этапом стал валютный протекционизм: учреждение Федеральной резервной системы имело своей целью согласовать требования золотого стандарта с региональными условиями; затем последовали протекционистские меры в отношении труда и земли. Десяти лет процветания в 1920-х оказалось достаточно, чтобы вызвать столь жестокий кризис, что в ходе его творцы Нового курса принялись обносить труд и землю такими мощными стенами, каких никогда не знала Европа. Так Америка представила поразительное доказательство, как прямое, так и косвенное, нашего тезиса о том, что социальная защита является непрямым дополнением к якобы саморегулирующемуся рынку.

В то же время протекционизм всюду создавал твердый панцирь для образующегося социального организма. Новое целое отливалось в национальное, но в остальном оно было мало похоже на своих предшественников, беззаботные нации прошлого. Средством самоидентификации для этого нового, «ракообразного», типа нации служили национальные валюты, охраняемые особым видом суверенитета, как никогда прежде бдительного и абсолютного. Кроме того, роль валют ярко высвечивалась извне, ведь именно на их основе строился международный золотой стандарт, главный инструмент мировой экономики. И если теперь, по всеобщему признанию, миром правили деньги, то на деньгах этих стояло национальное клеймо.

Особый упор, сделанный нами на проблеме наций и валют, был бы совершенно непонятен тогдашним либералам, так и не заметившим, по своему обыкновению, что же на самом деле представляет собой тот мир, в котором они живут. Если в нациях они видели анархизм, то национальные валюты казались им чем-то вовсе не заслуживающим внимания. По разные стороны государственных границ разные клочки бумаги назывались по-разному, однако ни один уважающий себя экономист либеральной эпохи не сомневался в том, что данное обстоятельство есть лишь бессмысленный пережиток прошлого. В самом деле, не было ничего проще, как перевести одну валюту в другую с помощью валютного рынка — механизма, который не может давать сбоев, ибо он, к великому счастью, выведен из-под контроля государств и политиков. Западная Европа переживала тогда эпоху нового Просвещения, и среди придуманных им пугал видное место занимала «трайбалистская» концепция нации, мнимый суверенитет которой казался либералам плодом убогого местечкового мышления. Вплоть до 1930-х гг. любой экономический справочник с полной уверенностью сообщал читателям, что деньги — это лишь средство обмена, а следовательно, нечто само по себе не имеющее реального существования. Рыночное сознание в своей слепоте оказывалось равно невосприимчивым к феноменам нации и денег; и в том, и в другом отношении фритредер являлся номиналистом.

Связь между этими двумя моментами говорила о многом, но тогда она осталась незамеченной. Время от времени раздавались критические голоса в адрес фритредерских доктрин, точно так же, как и ортодоксальных теорий денег, однако едва ли кто-либо понимал, что эти две группы теорий формулируют одно и то же, только в разных терминах, и что если одна из них ложна, то другая не может быть истинной. Уильям Каннингем и Адольф Вагнер выявили космополитические заблуждения фритредерства, но никак не увязали их с проблемой денег; с другой стороны, Маклеод и Джезелл подвергали критике классические теории денег, сохраняя при этом верность космополитическим взглядам на торговлю. Писатели либерального Просвещения совершенно проглядели важнейшую роль валют в формировании национальных государств как главных экономических и политических субъектов эпохи — точно так же, как предшественники в XVIII в. не заметили существования истории. Подобных принципов держались самые выдающиеся экономисты — от Рикардо до Визера, от Джона Стюарта Милля до Маршаля и Викселя, обычные же представители образованных классов усвоили твердое убеждение, что озабоченность экономическими проблемами отдельных наций или интерес к их валютам есть верный признак постыдной интеллектуальной отсталости. Того, кто соединил бы эти заблуждения в чудовищный тезис о том, что национальные валюты играют первостепенную роль в институциональном механизме нашей цивилизации, сочли бы автором бессмысленного и совершенно неостроумного парадокса.

В действительности новое национальное государство и новая национальная валюта были неотделимы друг от друга. Именно валюта приводила в движение механизм национальной и международной экономических систем, именно она привнесла в общую картину черты, обусловившие ту поразительную быстроту, с которой механизм этот вышел из строя. Денежная система, представлявшая собой фундамент кредита, стала основным жизненным нервом как национальной, так и мировой экономики.

Протекционистское движение развивалось в трех направлениях. Каждый из трех факторов — земля, труд и деньги — играл собственную роль, но если земля и труд были связаны с определенными, пусть даже весьма широкими социальными слоями, такими как рабочие или крестьянство, то валютный протекционизм являлся в значительной мере общенациональным фактором, нередко сплавливающим различные интересы в одно целое. Хотя монетарная политика также могла не только объединять, но и разделять, объективно денежная система была самой мощной из всех экономических сил, способствовавших сплочению нации.

Труд и земля были связаны, прежде всего, с социальным законодательством и хлебными пошлинами соответственно. Фермеры, как правило, протестовали против ложившегося на них бремени, благодаря которому выигрывали рабочие и повышалась заработная плата; тогда как рабочие постоянно возмущались малейшим ростом цен на продовольствие. Но как только вошли в силу хлебные законы и законы о труде (в Германии — с начала 80-х гг.), стало трудно устранить одно, оставив в прежнем виде другое. Еще более тесной была связь между сельскохозяйственными и промышленными тарифами. С тех пор как Бисмарк сделал популярной идею всеохватывающего протекционизма (1879), политический союз землевладельцев и промышленников с целью сохранения тех и других тарифов превратился в характерную особенность германской политической жизни; взаимные услуги в сфере тарифной политики стали столь же обычным делом, как и создание картелей для защиты от тарифов частных интересов.

Протекционизм внутренний и внешний, социальный и национальный обнаруживали тенденцию к слиянию.[87] Рост стоимости жизни, вызванный хлебными законами, побуждал фабрикантов требовать введения покровительственных тарифов, которые они почти всегда использовали как инструмент картельной политики. Профсоюзы, естественно, добивались повышения заработной платы, чтобы компенсировать рост стоимости жизни, и им нечего было возразить против таких таможенных пошлин, которые позволили бы хозяевам выплачивать своим рабочим резко подскочившую зарплату. Но поскольку бухгалтерия социального законодательства основывалась на уровне заработной платы, определявшейся тарифами, то нельзя было всерьез рассчитывать, что предприниматели согласится нести бремя подобного законодательства, если им не будет в дальнейшем гарантирована защита их собственных интересов. Это, между прочим, и послужило той (весьма скудной) фактической базой, которая была использована в качестве предлога для обвинений в коллективистском заговоре как якобы главной причине протекционистского движения. В данном случае, однако, за причину принимается следствие. Протекционистское движение зародилось стихийно, источники его были разнообразными и далекими друг от друга, но, однажды возникнув и набрав ход, оно, разумеется, не могло не привести к появлению параллельных интересов у различных социальных групп, которые всячески стремились его поддержать и продолжить.

Более важным фактором, чем близость интересов, являлось единообразное распространение тех реальных условий, которые создавались совместным действием подобных мер. Если жизнь в разных странах была неодинаковой, а именно так дело всегда и обстояло, то различие это можно было теперь объяснить вполне определенными законодательными и административными актами протекционистского характера, ибо условия производства и труда зависели теперь в основном от тарифов, налогообложения и социальных законов. Еще до того как Соединенные Штаты и британские доминионы стали ограничивать иммиграцию, количество эмигрантов из Соединенного Королевства, несмотря на свирепствовавшую там безработицу, резко пошло на убыль, и причиной этого, по общему мнению, явилось улучшение социального климата в метрополии.

Но если таможенные тарифы и социальные законы создавали искусственный климат, то денежная политика формировала то, что мы вправе назвать искусственными погодными условиями, которые изменялись буквально каждый день, прямо затрагивая при этом важнейшие интересы каждого члена общества. По своей интегрирующей силе денежная

политика намного превосходила прочие виды протекционизма с их громоздким и неповоротливым аппаратом, ибо влияние монетарной защиты всегда было активным и всякий раз — иным. То, о чем напряженно размышляли предприниматель, рабочий или домохозяйка; то, над чем ломали голову фермеры, оценивая виды на будущий урожай, родители, озабоченные жизненными перспективами своих детей, или влюбленные пары, желавшие вступить в брак; то, о чем думали все эти люди, пытаясь понять, что же им готовит будущее, — все это более прямым и непосредственным образом определялось денежной политикой центрального банка, нежели каким-либо иным фактором. И если это было верно в условиях стабильной валюты, то в тысячу раз более верным это становилось тогда, когда валюта утрачивала стабильность и нужно было принимать роковое решение об инфляции или о дефляции. В политическом смысле «тождество личности» каждой нации обеспечивало ее правительство, в экономической же сфере функцию эту выполнял центральный банк.

На международном уровне денежная система приобрела еще большее значение. Свобода денег стала результатом ограничений торговли — это похоже на парадокс, но ведь чем больше создавалось преград для движения через государственные границы людей и товаров, тем надежнее нужно было обеспечивать свободу платежей. Короткие деньги в течение часа переводились в любую точку земного шара; формы международных платежей с участием правительств или частных лиц и корпораций были строго упорядочены по единому образцу; отказ от уплаты внешних долгов или попытки жульничества в сфере бюджетных гарантий, даже со стороны правительств отсталых стран, считались теперь чудовищным грехом, карой же за него служило отлучение недостойных от кредита и низвержение их во тьму внешнюю. Во всем, что затрагивало мировую финансовую систему, всюду были установлены сходные порядки и институты — такие, как представительные органы и писанные конституции, определяющие их полномочия и регулирующие публикацию бюджетов, обнародование законов, ратификацию договоров, взятие на себя финансовых обязательств, правила публичной бухгалтерии, права иностранцев, юрисдикцию судов, место платежей по векселям и тем самым, косвенно, — статус эмиссионного банка, иностранных держателей облигаций, всякого рода кредиторов. Это, в свою очередь, предполагало единообразие в использовании бумажных и металлических денег, в работе почтовых ведомств, в деятельности банков и бирж. Ни одно правительство (кроме, может быть, самых могущественных) не могло себе позволить нарушить денежные табу. В международном плане нация и ее валюта составляли единое целое, и ни одна нация не сумела бы просуществовать сколько-нибудь длительный срок вне международной финансовой системы.

В отличие от людей и товаров деньги оставались свободными от всех стеснений, продолжая развивать свою удивительную способность обеспечивать ведение коммерческих дел на любом расстоянии и в любое время. Чем труднее становилось перемещать в пространстве реальные вещи, тем легче было отправлять требования на них. В то время как торговля товарами и услугами переживала спад, а ее баланс испытывал опасные колебания, платежный баланс почти автоматически поддерживался с помощью летавших по всему миру краткосрочных займов, а также операций с ценными бумагами, практически никак не связанных с видимой торговлей. Все более высокие барьеры, воздвигавшиеся на пути обмена товарами, никак не отражались на долгах, платежах и финансовых требованиях; стремительно растущая гибкость и универсальность международного финансового механизма до известной степени компенсировала постоянное сужение каналов мировой торговли. Когда же, к началу 30-х гг., каналы эти пересохли до размеров жидкого ручейка, краткосрочные международные займы приобрели неслыханную прежде мобильность. Пока функционировал механизм движения международного капитала и краткосрочных кредитов, любой дисбаланс в действительной торговле можно было устранить бухгалтерскими методами. Движение кредитов позволяло предотвратить социальные потрясения, экономическое равновесие восстанавливалось финансовыми средствами.

Крайней мерой, к которой вынуждали обращаться сбои в саморегулировании рынка, являлось политическое вмешательство. Когда в конце очередного экономического цикла вещи не возвращались на круги своя и прежний уровень занятости не восстанавливался сам собою, когда импорт более не стимулировал экспорт, когда инструкции о банковских резервных фондах угрожали бизнесу паникой, когда иностранные должники отказывались платить, правительствам приходилось реагировать на перенапряжение системы. В критической ситуации общество отстаивало свое единство посредством вмешательства в экономику.

То, насколько глубоким становилось вынужденное вмешательство государства, зависело от политического строя данной страны и от масштаба постигших ее экономических бедствий. Пока право голоса принадлежало ограниченному кругу лиц и лишь немногие пользовались политическим влиянием, интервенционизм оставался менее острой проблемой, чем после того, как всеобщее избирательное право превратило государство в орган правящих миллионов — тех самых миллионов, которые в экономической сфере часто должны были из последних сил нести тяжкое бремя управляемых. И пока рабочих мест хватало для всех, пока доходы были надежно обеспеченными, производство — непрерывным, жизненный уровень — сносным, а цены — стабильными, интервенционизм, естественно, не являлся такой безотлагательной потребностью, какой стал он после того, как затяжные кризисы превратили промышленность в арену тщетных усилий и в гору бездействующих станков.

На международном уровне политические методы также использовались в качестве дополнения к несовершенному механизму саморегулирования рынка. Рикардianская теория торговли и денежного обращения легкомысленно игнорировала объективные различия в статусе между отдельными странами, обусловленные разными производственными и экспортными возможностями, неодинаковым уровнем развития торговли, судоходства и банковского дела. Согласно либеральной доктрине, Великобритания представляла собой обычный атом в универсуме торговли, занимавший в нем точно такое же положение, как Дания или Гватемала. В действительности, однако, мир насчитывал ограниченное число стран, которые делились на страны-должники и страны-кредиторы, страны-экспортеры и страны практически самодостаточные, страны с диверсифицированным экспортом и те, которые в отношении импорта и иностранных займов полностью зависели от продажи одного-единственного товара, например пшеницы или кофе. Подобными различиями можно было пренебрегать в теории, но их последствия нельзя было с таким же успехом игнорировать на практике. Нередко заморские государства оказывались не в силах выполнять свои обязательства по внешним долгам, либо обесценивались их валюты, ставя под угрозу их платежеспособность; порой они принимали решение восстановить равновесие политическими средствами и посягали на собственность иностранных инвесторов. Ни в одном из подобных случаев нельзя было полагаться на процессы экономического самоизлечения, хотя, согласно классической доктрине, именно эти процессы и должны были обеспечить возвращение денег кредиторам, восстановить валюту и гарантировать иностранцев от сходных неприятностей в будущем. Для того, однако, требовалось, чтобы страны, о которых идет речь, представляли собой более или менее равноправных участников системы международного разделения труда, что явно не соответствовало действительности. Было бы глупо ожидать, что любая страна с обесценившейся валютой автоматически увеличит свой экспорт и таким образом восстановит свой платежный баланс или что потребность в иностранных капиталах сама по себе вынудит ее возместить убытки иностранцам и вновь приступить к выполнению своих долговых обязательств. Резкое увеличение продажи кофе или селитры способно было сбить цены на рынке до катастрофического уровня, и потому отказ от выплаты по кабальным займам часто казался более предпочтительным вариантом, чем обесценение национальной валюты. Механизм мирового рынка не мог себе позволить идти на подобный риск — тотчас же высылались канонерки, и объявившее дефолт правительство, независимо от того, жульничало оно или нет, оказывалось перед выбором: бомбардировка или расплата с кредиторами. Другого способа принудить к платежу, предотвратить крупные убытки и поддержать

функционирование системы попросту не существовало. Подобные средства шли в ход и тогда, когда нужно было помочь колониальным народам прийти к мысли о великой пользе торговли — если теоретически неопровержимый аргумент о взаимной выгоде почему-то не сразу доходил до сознания туземцев или же они вовсе отказывались его понимать. Еще более очевидной нужда в интервенционистских методах была в тех случаях, когда данный регион оказывался богатым запасами сырья, крайне необходимого для европейской промышленности, а никакая предустановленная гармония не обеспечила появление неодолимой тяги к европейским изделиям у местных жителей, чьи естественные потребности уже успели принять совершенно иной характер. При «саморегулирующейся» системе подобные затруднения, разумеется, не должны были возникать. Но чем чаще выплата долгов производилась лишь под угрозой вооруженной интервенции; чем чаще торговые пути оставались открытыми лишь благодаря присутствию канонерок; чем чаще «купец шел за флагом», а флот шел туда, куда посылали его правительства, обратившиеся к политике захватов, тем очевиднее становился тот факт, что для поддержания равновесия в мировой экономике приходится использовать политические инструменты.

Глава 18

Гибельное перенапряжение

Однотипность основных институциональных структур обусловила тот замечательный факт, что масштабные процессы, охватившие за полвека (1879–1929) громадные пространства земного шара, характеризовались, если брать их общую схему, поразительным внутренним сходством.

Бесконечное разнообразие действующих лиц и конкретных условий, умонстроений и исторических предпосылок придавало местный колорит бурным событиям, протекавшим во многих странах, выдвигая в разное время на первый план те или иные явления, и все же на большей части нашей планеты существовала одна и та же цивилизация. Эта близость означала нечто большее, чем культурную общность народов, использующих сходные орудия, предающихся сходным развлечениям и сходным образом вознаграждающих за труд. Скорее, данное сходство относилось к роли конкретных событий в историческом контексте человеческой жизни, к тому компоненту коллективного бытия, который связан с определенной эпохой. Анализ типичных проблем и кризисных явлений должен во многом вскрыть нам механизм, обусловивший удивительное единство общей модели, по которой развивалась в данный период история.

Кризисные тенденции эпохи несложно классифицировать по основным институциональным сферам. Самые разнообразные симптомы неустойчивости во внутриэкономической области, такие как спад производства, снижение занятости и доходов, будут представлены здесь типичным бедствием

безработицы. Во внутренней политике имела место борьба социальных сил, загонявшая нацию в тупик; символом ее у нас послужит

классовая напряженность. Трудности в сфере международной экономики, связанные с системой т. н. платежного баланса и включавшие в себя такие явления, как сокращение экспорта, неблагоприятные условия для торговли, нехватку импортируемого сырья и потери на иностранных инвестициях, мы включаем в одну группу с точки зрения характерного признака кризиса в этой области, а именно

давления на валюту. Наконец, различные проявления международной политической

напряженности мы подводим под рубрику

империалистического соперничества.

А теперь представим себе страну, которую в ходе экономического кризиса поражает безработица. Легко понять, что любые экономические меры, на которые могут пойти банки с целью создания рабочих мест, будут ограничены жестким требованием стабильности валютного курса. Банки не смогут расширить или продолжить кредитование промышленности, не обратившись к центральному банку, который откажется их в этом поддержать, поскольку безопасность национальной валюты требует прямо противоположной политики. С другой стороны, если напряжение распространится из сферы промышленности на государство (профсоюзы могут заставить связанные с ним политические партии поднять данный вопрос в парламенте), то размер пособий по безработице и масштабы общественных работ будут строго лимитированы требованиями бюджетного равновесия, еще одной необходимой предпосылкой стабильности валюты. Следовательно, золотой стандарт послужит столь же серьезным препятствием для деятельности казначейства, как и для работы эмиссионного банка, а законодательная власть столкнется с теми же ограничениями, что и промышленность.

В пределах отдельной страны груз безработицы могут, разумеется, нести либо сфера промышленности, либо сфера государственная. Если в данном конкретном случае кризис был преодолен посредством дефляционного давления на заработную плату, то тогда можно сказать, что основное бремя пало на промышленность. Если же этой болезненной меры удалось избежать с помощью общественных работ, субсидируемых за счет налога на наследство, то главная тяжесть легла на политическую сферу (точно так же обстоит дело и тогда, когда правительство вынуждает профсоюзы согласиться на снижение заработной платы вопреки уже существующим правам рабочих). В первом случае (дефляционное давление на заработную плату) напряжение не выходит за рамки рыночной сферы и выражается в сдвигах в уровне доходов разных групп, обусловленных изменением цен; во втором случае (общественные работы или ограничение деятельности профсоюзов) имеют место изменения в правовом статусе или в налогообложении, которые затрагивают главным образом политические позиции соответствующих групп.

Далее, напряжение, вызванное безработицей, могло выйти за пределы нации и отразиться на ее внешнеторговых связях. Это могло произойти независимо от того, какие именно методы — политические или экономические — использовались для борьбы с безработицей. При системе золотого стандарта (а мы постоянно исходим из того, что она продолжает действовать) любая правительственная мера, порождавшая бюджетный дефицит, способна была послужить толчком к обесценению валюты; если же безработицу пытались побороть расширением банковских кредитов, то рост внутренних цен отрицательно сказывался на экспорте и тем самым наносил ущерб платежному балансу. В любом случае торговля резко сокращалась и страна чувствовала давление на свою валюту.

Кроме того, созданное безработицей напряжение могло становиться причиной внешних конфликтов. В случае со слабыми странами это порой самым губительным образом сказывалось на их международных позициях. Их статус понижался, их права и интересы не принимались в расчет, им навязывали иностранный контроль, их национальные устремления терпели крах. В случае же с сильными государствами давление внутреннего кризиса могло вылиться в борьбу за внешние рынки, колонии, сферы влияния и иные формы империалистического соперничества.

Таким образом, порождаемое рынком напряжение циркулировало между рынком и другими главными институциональными областями; в зависимости от конкретных обстоятельств оно порой затрагивало работу правительственной сферы, а иногда отражалось на функционировании золотого стандарта или системы равновесия сил. Каждая из этих сфер

была до известной степени независимой и стремилась восстановить собственное равновесие; когда же это не удавалось, дисбаланс всякий раз распространялся и на прочие области. Именно относительная автономия каждой сферы и приводила к тому, что кризисные явления накапливались, напряжение усиливалось, разрешаясь в конце концов более или менее однотипными по характеру взрывами. В воображении своем XIX в. увлеченно строил либеральную утопию, тогда как в действительной жизни он вполне доверился известному числу конкретных институтов, механизм которых всецело определял ход событий.

Пожалуй, самое близкое к реальности описание сложившейся ситуации мы находим в риторическом вопросе одного экономиста, который — в 1933 г.! — гневно обрушился на протекционистскую политику

«подавляющего большинства правительств». Может ли, вопрошал он, быть правильной та политика, которую все специалисты единодушно осуждают как совершенно ошибочную, вопиющим образом ложную и прямо противоречащую всем принципам экономической теории? И решительно отвечал: «Нет, не может».[88] А впрочем, напрасно стали бы мы искать в либеральных писаниях что-либо похожее на объяснение очевидных фактов. Нескончаемый поток брани в адрес правительств и государственных деятелей, чье невежество, властолюбие, близорукость, алчность и жалкие предрассудки и были якобы причиной протекционистской политики, последовательно проводимой в «подавляющем большинстве» стран, — вот и все, что можно было там найти. Мы почти не встречаем даже попыток привести по данному вопросу хоть какие-то разумные доводы. Никогда еще со времен схоластики, с ее полнейшим пренебрежением к эмпирическим фактам, чистой воды предрассудков не выступал в столь грозном «научнообразном» облачении и с такой пугающей откровенностью. Единственным ответом, который свидетельствовал все же об известных умственных усилиях, было создание мифа об империалистическом безумии, в придачу к уже существующему мифу о протекционистском заговоре.

Либеральная аргументация (насколько ее вообще можно ясно сформулировать) сводилась к утверждению о том, что примерно в начале 1880-х гг. в западных странах разыгрались империалистические страсти, которые своей эмоциональной апелляцией к племенным предрассудкам обратили в ничто великие труды ученых-экономистов. Эта основанная на чувствах политика постепенно набирала силу и в конце концов привела в Первой мировой войне. После Великой войны силы Просвещения вновь получили шанс восстановить царство разума, но неожиданный всплеск империализма, главным образом в новых небольших государствах, а впоследствии также и в странах, «ничего не имеющих», таких как Германия, Италия и Япония, опрокинул колесницу прогресса. «Хитрое животное», политик, сумело взять верх над интеллектуальными твердынями рода человеческого — Женевой, Уолл-стритом и лондонским Сити.

В этом образчике популярной политической теологии империализм символизирует неискоренимую греховность человеческой природы. Считается само собой разумеющимся, что государства и империи обладают врожденными империалистическими повадками; что они готовы пожирать своих соседей без всяких угрызений совести. Вторая часть данного тезиса верна, первая же — нет. Если империализму — там и тогда, где и когда он действительно появляется — не нужны рациональные или моральные оправдания для экспансии, то утверждение, будто государства и империи постоянно и при всех обстоятельствах стремятся к захватам, противоречит фактам. Территориальные образования далеко не всегда бывают охвачены жадой расширения своих пределов, и нет такой силы, которая бы с железной необходимостью принуждала города, государства или империи вести себя подобным образом. Доказывать же обратное значит ошибочно возводить некоторые типичные ситуации в ранг общего закона. Фактически современный капитализм, вопреки распространенному предрассудку, начался длительным периодом «сосредоточения в себе», и лишь на позднем этапе его истории произошел поворот к империализму.

Начало антиимпериалистическому движению положил Адам Смит, предвосхитивший таким образом не только американскую революцию, но и «Маленькую Англию» следующего века. Причины разрыва с прежней политикой были экономическими: из-за бурного развития рынков, толчком к которому послужила Семилетняя война, империи вышли из моды. Географические открытия в сочетании со сравнительной медленностью транспортных средств способствовали созданию поселений в заморских странах, но возросшая скорость перевозок превратила колонии в дорогостоящую роскошь. Другим неблагоприятным для колониальной политики фактором явилось то, что экспорт стал играть более важную роль, чем импорт; идеал рынка, выгодного для покупателя, сменился стремлением к рынку, конъюнктура которого выгодна для продавца, а цели этой можно было теперь достичь весьма простым способом — продавая товары дешевле, чем конкуренты (в число коих в конечном счете попадали и сами колонисты). Когда Англия потеряла свои колонии на Атлантическом побережье, Канаде стоило больших трудов добиться того, чтобы ее оставили в Британской империи (1837); даже Дизраэли выступал за отказ от южноафриканских владений; Оранжевая республика тщетно ходатайствовала о присоединении к империи, а некоторым островам в Тихом океане, которые сегодня считаются важнейшими стратегическими пунктами, упорно отказывали в приеме. Фритредеры и протекционисты, либералы и рьяные тори разделяли общее убеждение в том, что колонии представляют собой сомнительное приобретение, которое в будущем непременно превратится в политическую и финансовую обузу. На всякого, кто в столетний промежуток между 1780 и 1880 гг. пытался говорить о колониях, смотрели как на приверженца

ancien regime. Средние классы сурово осуждали войну и завоевания как династические козни и весьма благоволили пацифизму (первым, кто провозгласил, что

laissez-faire подобают лавры мира, был Франсуа Кенэ). Англии подражали Франция и Германия. Первая существенно замедлила темпы своей экспансии, и даже сам ее империализм стал теперь в большей степени континентальным, нежели колониальным. Бисмарк надменно отказался пожертвовать ради Балкан хотя бы одной человеческой жизнью и употребил все свое влияние в деле антиколониальной пропаганды. Такой была позиция правительств в ту самую эпоху, когда капиталистические компании подчиняли себе целые континенты, когда по требованию нетерпеливых ланкаширских экспортеров была ликвидирована Ост-Индская компания и безымянные розничные торговцы пришли в Индии на смену блистательным фигурам Уоррена Гастингса и Клайва. Правительства стояли от всего этого в стороне. Каннинг поднял на смех самую мысль о вмешательстве в интересах азартных инвесторов и заморских спекулянтов. Принцип отделения политики от экономики распространился теперь и на международные дела. Если королева Елизавета очень не любила проводить слишком строгое различие между собственными доходами и доходами английских каперов, то Гладстон назвал бы возмутительной клеветой утверждение, будто британская внешняя политика поставлена на службу тем, кто вкладывает свои капиталы за границей. Идея слияния государственной власти с коммерческими интересами была чужда XIX в.; напротив, государственные деятели ранне-викторианской эпохи провозглашали независимость политики от экономики важнейшим правилом поведения на международной арене. Лишь в немногих, притом четко определенных случаях дипломатические представители обязаны были выступать в защиту частных интересов своих соотечественников; тайные же попытки выйти за эти рамки публично отрицались, а будучи доказанными, влекли за собой соответствующие взыскания. Принцип невмешательства государства в дела частного бизнеса соблюдался не только внутри страны, но и за ее пределами. Правительства не должны были вмешиваться в частную торговлю, а министерства иностранных дел не обязаны были рассматривать интересы частных лиц за границей иначе, как с широкой, общегосударственной точки зрения. Подавляющее большинство капиталов помещалось в сельское хозяйство, причем в собственной стране; в заграничных инвестициях по-прежнему видели авантюру, если же инвестор полностью терял вложенные деньги (что происходило не так уж редко), то скандальные условия процентных

займов считались достаточной компенсацией понесенных им убытков.

Перемены наступили внезапно, и на сей раз — синхронно во всех ведущих западных странах. Если процесс внутреннего развития Англии Германия, например, повторила лишь с опозданием в полвека, то внешние события мирового значения по необходимости затрагивали все торгующие страны одинаковым образом. Подобным событием стало ускорение темпов и рост объемов международной торговли, а также всеобщая мобилизация земли, которую предполагали перевозки зерна и сельскохозяйственного сырья из одного региона планеты в другой, осуществлявшиеся в громадных масштабах и по невысокой стоимости. Это экономическое землетрясение нанесло страшный удар по десяткам миллионов людей в сельской Европе. Буквально за несколько лет свободная торговля ушла в прошлое, и дальнейшая экспансия рыночной экономики происходила уже в совершенно новых условиях.

Условия же эти определялись описанным выше «двойным процессом». Системе международной торговли, которая распространялась теперь с резко возросшей скоростью, противодействовали протекционистские институты, призванные ограничить повсеместное влияние рынка. Аграрный кризис и Великая депрессия 1873–1886 гг. подорвали веру в экономическое самоизлечение. Отныне основные институты рыночной экономики вводилась, как правило, лишь в сочетании с протекционистскими мерами — тем более, что с конца 1870-х — начала 1880-х гг. нации превращались в органическое целое, которое могло жестоко пострадать из-за потрясений, обусловленных любого рода поспешной адаптацией к требованиям внешней торговли и валютного курса. А потому обычным дополнением к важнейшему средству распространения рыночной экономики, золотому стандарту, служило параллельное принятие типичных для той эпохи защитных мер, таких как социальное законодательство и таможенные пошлины.

И в этом вопросе традиционная либеральная версия коллективистского заговора также не соответствовала действительности. Система свободной торговли и золотого стандарта не была бездумно разрушена своекорыстными сторонниками тарифов и мягкосердечными творцами социальных законов; напротив, само пришествие золотого стандарта ускорило распространение этих протекционистских институтов, которые оказывались тем более желанными и необходимыми, чем более обременительными становились фиксированные валютные курсы. С этого времени тарифы, фабричные законы и активная колониальная политика стали необходимыми условиями стабильности валюты. (Великобритания с ее огромным промышленным превосходством была исключением, подтверждавшим правило.) Только при наличии этих предпосылок можно было без риска вводить институты рыночной экономики. Там же, где подобные институты навязывались беспомощному народу при полном отсутствии защитных механизмов (как это происходило в колониальных и полуколониальных регионах), неизбежным следствием были ужасающие страдания.

Перед нами разгадка кажущегося парадокса империализма — экономически необъяснимого и потому якобы иррационального отказа различных стран торговать друг с другом без всяких ограничений и их настойчивого стремления к захвату заморских и колониальных рынков. Объяснялось это очень просто: боязнь последствий, похожих на те, которых не могли предотвратить слабые народы, — вот что заставляло их действовать подобным образом. Единственное различие состояло в том, что если несчастное население какой-нибудь тропической колонии ввергалось в бездну абсолютной нищеты и деградации, часто оказываясь на грани физического вымирания, то упомянутый отказ западных стран вызван был страхом перед меньшими опасностями (хотя и достаточно реальными, чтобы их пытались избежать практически любыми возможными средствами). То, что угроза, как в случае с колониями, не являлась по своей природе экономической, значения не имело: не было никаких оснований (кроме предрассудка) оценивать масштаб социальных бедствий чисто экономическими мерками. В самом деле, рассчитывать на то, что бич безработицы, резкие сдвиги в хозяйственном укладе и в структуре занятости, вместе с порожденными ими

моральными и психологическими муками, оставят общество равнодушным — только потому, что собственно экономические последствия всего этого в долгосрочной перспективе могут оказаться незначительными, — было бы совершенно нелепо.

Пассивными реципиентами напряжения нации становились так же часто, как и активными его инициаторами. Если какое-то внешнее событие ложилось тяжелым бременем на страну, ее внутренний механизм продолжал функционировать привычным образом, перемещая нагрузку из экономической сферы в политическую и наоборот. Для некоторых стран Центральной Европы поражение в войне создало в высшей степени искусственные условия, в том числе жестокое давление извне в виде репараций. Более десяти лет важнейшим фактором, определявшим внутреннюю обстановку в Германии, было то обстоятельство, что внешнее бремя попеременно падало на промышленность и государство, иначе говоря, на заработную плату и доходы, с одной стороны, на социальные гарантии и налоги — с другой. Ношу репараций должна была нести нация в целом, и внутреннее положение изменялось соответственно тому, каким образом страна, т. е. правительство вместе с бизнесом, брались за эту работу. А значит, национальная солидарность была крепко связана с золотым стандартом, который превращал поддержание внешнего курса валюты в императив. «План Дауэса» был разработан именно для того, чтобы защитить германскую валюту; «план Янга» также предусматривал данное условие в качестве обязательного. Если не принимать в расчет необходимость поддерживать стоимость рейхсмарки, то внутренняя история Германии в этот период останется для нас непонятной. Коллективная ответственность за валюту создавала чрезвычайно жесткие рамки, внутри которых бизнес и партии, промышленность и государство приспосабливались к бремени. Но ведь то, что побежденная Германия вынуждена была принять в результате военного поражения, все народы вплоть до Великой войны терпели добровольно — мы говорим об искусственной интеграции их стран под давлением принципа стабильности валют. Только совершенная покорность перед непреложными законами рынка могла объяснить гордое смирение, с которым несли они этот крест.

Нам могут возразить, что представленная здесь схема есть результат последовательного свехупрощения. Рыночная экономика не сорвалась с места в один день; три рынка — это не лошади в русской тройке, чтобы скакать с одинаковой скоростью; протекционизм не оказывал сходного воздействия на все рынки и т. д. Все это, конечно, верно, но только совершенно не относится к сути вопроса.

Разумеется, экономический либерализм лишь создал новый механизм из более или менее развитых рынков; он унифицировал различные типы существующих рынков и координировал их функции в рамках единого целого. Ясно и то, что отделение рабочей силы от земли, точно так же, как и развитие рынков денег и кредита, уже продвинулось к тому времени достаточно далеко. В каждый данный момент настоящее было тесно связано с прошлым, и никакого разрыва в ходе этого процесса обнаружить невозможно.

И все же перемены институционального порядка — такова уж их природа — начали оказывать свое воздействие резко и внезапно. Критической стадией было создание рынка труда в Англии, когда рабочих под угрозой голодной смерти заставили подчиниться системе наемного труда. Как только был сделан этот решительный шаг, заработал механизм саморегулирования рынка. Его действие на общество оказалось столь сильным и разрушительным, что почти тотчас же, причем без всяких предварительных изменений во взглядах и теориях, началась мощная протекционистская реакция.

Далее, несмотря на весьма несходную природу и происхождение, рынки различных факторов производства развивались теперь параллельно. По-другому, впрочем, едва ли могло быть. Защита человека, природы и производственной организации означала вмешательство в рынки труда и земли, точно так же как и рынок средств обмена, денег, и, таким образом,

ipso facto отрицательно сказывалась на саморегулировании рыночной системы. Поскольку основной задачей этого вмешательства было восстановить нормальное существование человека и окружающей его среды, сообщить им известную устойчивость, то оно по необходимости ставило своей целью уменьшить мобильность рабочей силы и гибкость заработной платы, сделав доходы стабильными, процесс производства — непрерывным, организовав государственный контроль за ресурсами нации, а также систему управления валютами с тем, чтобы предотвратить чреватые тяжелыми последствиями колебания уровня цен.

Депрессия 1873–1886 гг. и аграрный кризис 70-х еще более увеличили напряжение. В начале депрессии Европа переживала период расцвета свободной торговли. Только что образованная Германская империя навязала Франции взаимное предоставление режима наиболее благоприятствуемой нации, взяла на себя обязательство снять таможенные тарифы на чугун и приняла золотой стандарт. К концу депрессии Германия окружила себя стеной протекционистских тарифов, создала всеобщую систему социального страхования и вела агрессивную колониальную политику. Совершенно ясно, что пруссачество (некогда — пионер свободной торговли) несло ответственность за этот переход к протекционизму в столь же малой степени, как и за обращение к «коллективизму». Соединенные Штаты установили еще более высокие тарифы, чем Германский рейх, и вели на свой манер столь же «коллективистскую» политику: они широко субсидировали долгосрочные программы железнодорожного строительства и создавали прямо-таки слоноподобные по своим размерам тресты.

Все западные страны, независимо от национального характера и прежней истории, шли по одному пути.[89] С введением золотого стандарта начал осуществляться неслыханный по своей смелости грандиозный рыночный проект, который предполагал полную независимость рынков от национальных правительств. Мировая торговля означала теперь, что организацию жизни на нашей планете всецело определяет механизм саморегулирующегося рынка, охватывающего труд, землю и деньги, а золотой стандарт стоит на страже этого колоссального автомата. Народы и государства были всего лишь куклами в этом представлении, совершенно неспособными влиять на его сценарий. От безработицы и нестабильности они защищались с помощью центральных банков и таможенных тарифов, дополнением к которым служили законы об иммигрантах. Указанные средства призваны были противодействовать разрушительному влиянию свободной торговли и фиксированных валют, и в той мере, в какой подобной цели удавалось достигнуть, они нарушали работу этих механизмов. Хотя каждое ограничение приносило выгоду определенным группам, чьи сверхприбыли или непомерно высокие зарплаты ложились бременем на всех остальных граждан, часто неоправданной являлась лишь

тяжесть бремени, а не сама протекционистская политика. В целом же имело место общее снижение цен, от которого выигрывали все без исключения.

Являлись ли те или иные защитные меры оправданными или нет, последствия актов вмешательства обнаруживали внутреннюю слабость мировой рыночной системы. Импортные тарифы, введенные в одной стране, препятствовали экспорту другой, вынуждая ее искать для себя рынки в политически незащищенных регионах. Экономический империализм представлял собой, в сущности, борьбу между великими державами за привилегию торговли на политически незащищенных рынках. Экспортное давление усиливали яростные схватки за сырьевые ресурсы, вызванные лихорадочным развитием промышленности. Правительства поддерживали своих граждан, занятых коммерческой деятельностью в отсталых странах. Торговля устремлялась вслед за военным флотом, флот шел в кильватере торговли. Державы, оказавшиеся все более зависимыми от все более шаткой системы мировой экономики, тяготели к империализму и полусознательно готовились к автаркии. И однако, строжайшее сохранение целостности международного золотого стандарта оставалось императивом. Это и послужило одной из институциональных причин краха.

Сходное противоречие давало о себе знать и внутри государственных границ. Протекционизм способствовал превращению конкурентных рынков в рынки монопольные. Все в меньшей степени рынки представляли собой автономные и автоматические механизмы, состоящие из конкурирующих атомов, все в большей степени на смену индивидам приходили ассоциации — люди и капиталы, объединенные в неконкурирующие группы. Экономическая адаптация происходила медленно и с большим трудом, саморегулирование рынков сталкивалось с серьезными препятствиями. В результате не приспособленные к новым условиям структуры цен и издержек производства затягивали кризисы, устаревшее оборудование задерживало ликвидацию нерентабельных предприятий, неадаптированный уровень цен и доходов порождал социальную напряженность. О каком бы рынке не шла речь — о рынке земли, труда и денег, — напряжение выходило за пределы экономической сферы, и равновесие нужно было восстанавливать политическими средствами. Тем не менее принцип институционального отделения политики от экономики по-прежнему являлся основой рыночного общества и его приходилось соблюдать, несмотря на любые конфликты. Это стало еще одним источником губительных перегрузок.

Наш рассказ близится к завершению, и, однако, нам еще предстоит изложить значительную часть наших аргументов. Ведь даже если нам удалось доказать с полной очевидностью, что основным толчком к трансформации послужил крах рыночной утопии, на нас по-прежнему лежит обязанность продемонстрировать, каким образом данная причина направляла ход реальных исторических событий.

В некотором смысле подобное предприятие можно считать неосуществимым, поскольку человеческая история не определяется каким-то одним отдельно взятым фактором. Тем не менее в потоке истории, при всем его богатстве и разнообразии, можно обнаружить повторяющиеся ситуации и альтернативы, которые объясняют очевидное сходство в структуре событий данной эпохи. И если мы способны до известной степени истолковать закономерности, управляющие в типичных условиях глубинными течениями и противоречиями, то мы уже можем не беспокоиться о всякого рода непредсказуемых завихрениях на поверхности.

В XIX в. подобные условия задавались механизмом саморегулирующегося рынка, требованиям которого должна была соответствовать организация национальной и международной жизни. Из этого механизма вытекали две специфические черты цивилизации — ее строгий детерминизм и ее экономический характер. Тогдашнее мировоззрение склонно было связывать их воедино, полагая, что детерминизм обусловлен природой экономической мотивации, согласно которой индивид должен неукоснительно преследовать собственные денежные интересы. На самом же деле никакой необходимой связи между ними не существовало. Пресловутый «детерминизм», столь заметный во многих деталях, был всего лишь результатом действия механизма рыночного общества с его вполне предсказуемыми альтернативами, жесткость которых ошибочно предписывалась силе материальных побуждений. Бухгалтерию «спроса-предложения-цены» можно, вообще говоря, использовать где угодно, какими бы ни были реальные мотивы конкретных человеческих индивидов, экономические же мотивы

персе на большинство людей оказывали, как известно, гораздо меньшее влияние, чем так называемые эмоциональные мотивы.

Человечество оказалось не во власти новых мотивов, но в тисках новых механизмов. Вкратце этот процесс можно описать так. Напряжение возникло в зоне рынка, оттуда оно распространилось на политическую сферу, охватив таким образом все общество. Но внутри отдельных стран оно оставалось скрытым до тех пор, пока продолжала функционировать мировая экономика. Лишь тогда, когда рухнул последний из ее институтов — золотой стандарт, нараставшее внутри государств напряжение смогло, наконец, вырваться на поверхность. Какими бы несходными ни были реакции различных государств на новую

ситуацию, по сути они представляли собой попытку приспособиться к исчезновению традиционной мировой экономики; когда же последняя окончательно распалась, вместе с ней пошла на дно и сама рыночная цивилизация. Это объясняет нам тот почти невероятный факт, что рыночную цивилизацию разрушило слепое действие бездушных институтов — тех самых механизмов, единственным назначением которых было обеспечивать автоматический рост материального благосостояния.

Но как конкретно то, что было неизбежным, происходило в действительности? Как принимало оно форму политических событий, составляющих ядро истории? На этом, последнем этапе крушения рыночной экономики решающую роль сыграл классовый конфликт.

Часть III

Ход трансформации

Глава 19

Власть народа и рыночная экономика

Когда в 1920-х гг. прежний мировой порядок потерпел крах, на поверхность вновь всплыли почти забытые к тому времени вопросы, служившие предметом ожесточенных споров еще в эпоху раннего капитализма, и прежде всего — проблема народного правления.

Фашистское наступление на народную демократию лишь заново поставило вопрос о политическом интернационализме, преследовавший рыночную экономику на всем протяжении ее истории, ибо данный вопрос был не более чем иной формулировкой ключевой проблемы отделения экономики от политики.

Применительно к труду проблема интервенционизма впервые достигла критической остроты под действием Спинхемленда и Нового закона о бедных, с одной стороны, Парламентской реформы и чартистского движения — с другой. Применительно к земле и деньгам интервенционизм сыграл ничуть не меньшую роль, пусть даже столкновения здесь были столь драматическими. На континенте сходные трудности в сфере труда, земли и денег возникли позднее, вследствие чего соответствующие конфликты происходили в сфере, более современной в индустриальном отношении, зато менее сплоченной социально. Отделение экономики от политики всюду явилось результатом однотипного процесса, отправными точками которого, как в Англии, так и на континенте, были создание конкурентного рынка труда и демократизация государственного строя.

В Спинхемленде справедливо видят превентивный акт вмешательства, воспрепятствовавший формированию рынка труда. Сражение за индустриальную Англию было впервые дано — и в тот раз проиграно — на поле Спинхемленда. В ходе этой борьбы классические экономисты придумали само словечко «интервенционизм», Спинхемленд же был заклеен как искусственное вмешательство в рыночную систему (в действительности еще не существовавшую). На шатком фундаменте условий, созданном Законом о бедных, Таунсенд, Мальтус и Рикардо воздвигли здание классической политэкономии — самого грозного теоретического орудия разрушения, которое когда-либо обращалось против отживших свой век порядков. И однако, в течение еще примерно 30 лет система пособий защищала

английскую деревню от притягательной силы высоких городских заработков. К середине 1820-х гг. Хаскиссон и Пиль расширили возможности для внешней торговли, был разрешен экспорт оборудования, снят запрет на вывоз шерсти, отменены ограничения в сфере морских перевозок, облегчена эмиграция; в то же время был формально аннулирован Статут о ремесленниках в пунктах о сроке ученичества и об установлении заработной платы мировыми судьями, после чего были отменены законы против рабочих союзов. Тем не менее развращающий Закон Спинхемленда продолжал распространяться от графства к графству, отбивая всякую охоту к честному труду и превращая само понятие «самостоятельного рабочего» в бессмыслицу. Время для рынка труда уже пришло, но «закон» сквайров препятствовал его рождению.

Реформированный парламент тотчас же решил покончить с системой пособий. Новый закон о бедных, практически осуществивший это намерение, называют самым важным актом социального законодательства, когда-либо принятым Палатой общин. Между тем в основе своей данный билль явился лишь отменой Спинхемленда. Ничто не доказывает с большей убедительностью, что простое отсутствие вмешательства в рынок труда было признано к этому времени важнейшим фактом, который должен определять весь будущий общественный строй. Об экономических источниках напряженности сказано достаточно.

Что же касается политических ее причин, то Парламентская реформа 1832 г. обеспечила мирную революцию. Поправка к Закону о бедных 1834 г. изменила социальную структуру страны, совершенно по-новому интерпретировав некоторые важнейшие феномены английской жизни. Новый Закон о бедных упразднил общую категорию

бедных, «честных бедняков», или «трудящихся бедняков», — термины, против которых яростно восставал Эдмунд Берк. Прежние

бедняки были теперь подразделены на физически беспомощных пауперов, чье место было в работном доме, и самостоятельных наемных рабочих, которые зарабатывали на жизнь продажей своего труда. Это создало совершенно новую категорию бедных, а именно безработных, впервые открыто выступивших на социальной сцене. Если пауперам из соображений гуманности следовало помогать, то безработным — в интересах промышленности — помогать

не следовало. То обстоятельство, что участь безработного не была его собственной виной, значения не имело. Суть вопроса заключалась не в том, мог бы он или нет найти работу, если бы действительно постарался, а в том, что если не поставить его перед реальной угрозой голода, с единственной альтернативой в виде ненавистного работного дома, то вся система наемного труда рухнет и общество будет ввергнуто в бездну хаоса и нищеты. Никто и не думал отрицать, что это означает наказание невиновных. Изощренная жестокость в том как раз и состояла, что целью освобождения работника — целью, признававшейся вполне открыто, — было сделать угрозу голодной смерти действенной. Подобный шаг объясняет то мрачное, безысходное отчаяние, которым дышат сочинения классических экономистов. Но чтобы покрепче запереть клетку рынка труда, в которую были теперь загнаны «лишние» люди, правительство заставило принять своего рода «ордонанс о самоотречении», смысл которого, если воспользоваться словами Хэрриет Мартино, сводился к следующему: всякая помощь невинным жертвам есть со стороны правительства «нарушение прав народа».

Когда чартисты потребовали открыть перед неимущими и обездоленными ворота государства, отделение экономики от политики уже перестало быть чисто теоретической проблемой, превратившись в непреложный принцип существующей общественной системы. Было бы чистейшим безумием передать практическое осуществление Нового закона о бедных, с его научными методами душевных пыток, представителям того самого народа, для которого они и предназначались. И лорд Маколей был вполне логичен и последователен, когда в одной из самых блестящих речей, когда-либо звучавших из уст выдающихся

либералов, потребовал от Палаты общин безоговорочного отклонения чартистской петиции во имя права собственности, фундамента всей человеческой цивилизации. Сэр Роберт Пиль называл Хартию преступным посягательством на конституцию. Чем безжалостнее рынок труда уродовал жизнь рабочих, тем настойчивее домогались они права голоса. Требование народного правления было политическим источником напряженности.

В этих условиях понятие конституционализма приобрело совершенно новый смысл. Прежде конституционные гарантии против незаконных покушений на право собственности призваны были служить защитой единственно лишь от деспотических посягательств сверху. Скажем, мысль Локка не шла дальше интересов земельной и торговой собственности; он стремился лишь к тому, чтобы исключить возможность таких актов произвола со стороны короны, как секуляризация при Карле II. Идеальным, по его мнению, примером отделения правительства от коммерции стала хартия, выданная в 1694 г. независимому Английскому банку. Торговый капитал взял верх в своем поединке с короной.

Сто лет спустя защищать нужно было уже не торговую, а промышленную собственность, и не от короны, а от народа. Лишь по недоразумению понятия XVII в. можно было применять к реалиям XIX столетия. Принцип разделения властей, изобретенный Монтескье в промежутке между этими эпохами (1748), использовался теперь для того, чтобы лишить народ всякой власти над условиями его собственного экономического существования. Американская конституция, разработанная в стране фермеров и ремесленников представителями элиты, сумевшей усвоить грозные уроки индустриального развития Англии, полностью вывела экономическую сферу за рамки конституционной юрисдикции, обеспечив тем самым частной собственности максимально возможную степень защиты, и создала единственное в мире рыночное общество, утвержденное на прочном фундаменте закона. Несмотря на всеобщее право голоса, американские избиратели были совершенно бессильны перед собственниками. [90]

В Англии же неписаным конституционным законом стал принцип, согласно которому рабочий класс не должен иметь права голоса. Чартистских вождей бросали в тюрьмы, их сторонники, исчислявшиеся миллионами, служили предметом издевательских насмешек со стороны законодателей, представлявших небольшую часть населения, и даже простое требование избирательных прав нередко расценивалось властями как преступное деяние. Не было заметно никаких признаков духа компромисса и согласия, якобы столь характерного для британской политической жизни, на самом же деле являющегося позднейшей выдумкой. Лишь после того, как рабочий класс пережил «голодные сороковые» и новое послушное поколение смогло пожать плоды золотого века капитализма; лишь после того, как верхушка квалифицированных рабочих создала собственные профсоюзы и отделилась от темной массы задавленных нуждой работяг; лишь после того, как рабочие окончательно смирились с порядками, которые должен был навязать Новый закон о бедных, — лишь тогда наиболее высокооплачиваемый их слой был допущен к участию в «советах народных». Чартисты боролись за право остановить рыночную мельницу, безжалостно перемалывавшую жизни простых людей, но простые люди получили права только тогда, когда ужасный процесс адаптации был завершен. В Англии и за ее пределами все без исключения воинствующие либералы, от Маколея до Мизеса, от Спенсера до Самнера, высказывали твердое убеждение в том, что народная демократия означает страшную угрозу для капитализма.

Конфликты и проблемы, порожденные рабочим вопросом, повторились в сфере вопроса валютного. И здесь 1790-е гг. послужили предвестником 1920-х гг. Бентам был первым, кто понял, что инфляция и дефляция являются посягательствами на право собственности: инфляция — как налог на бизнес, дефляция — как препятствие для него.[91] С тех пор труд и деньги, безработица и инфляция относились в политическом смысле к одной категории. Коббетт осуждал золотой стандарт вместе с Новым законом о бедных; Рикардо защищал тот и другой, притом чрезвычайно сходными аргументами: труд точно так же, как и деньги, является товаром, и правительство не вправе вмешиваться в какую-либо из этих сфер.

Банкиры, возражавшие против введения золотого стандарта, например Аствуд из Бирмингема, оказывались по одну сторону баррикад с социалистами вроде Оуэна. А через сто лет Мизес по-прежнему твердил, что труд и деньги должны заботить правительство не больше, чем любой другой обращающийся на рынке товар. В английской Америке XVIII в. дешевые деньги представляли собой аналог Спинхемленда, иначе говоря, экономически развращающую уступку, сделанную правительством под напором шумных требований народа. Французская революция и ее ассигнаты показали, что народ способен совершенно уничтожить собственную валюту, а история американских штатов ничуть не помогла рассеять это подозрение. Берк отождествлял американскую демократию с валютными неурядицами, а Гамильтон страшился инфляции не меньше, чем политических раздоров. Но если в Америке XIX в. перебранка популистской партии и «партии доллара» с магнатами Уолл-стрита имели эндемический характер, то в Европе обвинения в инфляционистской политике стали действенным аргументом против демократических властей лишь в 1920-е гг., причем с далеко идущими политическими последствиями.

Социальная защита и вмешательство в денежное обращение часто представляли собой не просто сходные, но совершенно тождественные проблемы. С момента установления золотого стандарта рост уровня заработной платы подвергал валюту опасности не меньше, чем прямая инфляция: и тот и другая могли привести к сокращению экспорта, а в конечном счете — к снижению курса. Эта простая и понятная связь между двумя основными видами интервенционизма стала в 1920-х гг. осью всей политической жизни. Партии, озабоченные безопасностью валюты, протестовали против угрожающего бюджетного дефицита так же активно, как и против политики дешевых денег, выступая таким образом против «казначейской инфляции» не в меньшей степени, чем против «инфляции кредитной», или, если выразить это в терминах более конкретных, они осуждали бремя социальной защиты

и высокие зарплаты, деятельность профсоюзов

и рабочих партий. Важна была не форма, а суть, и кто же мог усомниться, что не ограниченные никакими условиями пособия по безработице способны вздуть цены — причем с теми же ужасными последствиями для валютного курса? Гладстон сделал бюджет совестью британской нации, в государствах менее крупных стабильность валюты могла занять место стабильности бюджета в качестве высшего приоритета, но результаты всюду были чрезвычайно схожими. Что бы ни приходилось сокращать — заработную плату или социальные расходы, — последствия отказа от подобного шага, вытекавшие из действия рыночного механизма, были неотвратимыми. С точки зрения нашего анализа Национальное правительство 1931 г. в Великобритании выполнило (в более скромных масштабах) ту же роль, что и американский Новый курс. В обоих случаях мы имеем дело с мерами по приспособлению отдельных стран к всеобщей трансформации. Британия, однако, находилась в более выгодном положении, будучи свободной от таких осложняющих факторов, как острые внутренние конфликты и резкие идеологические сдвиги, а потому характерные черты процесса проявились здесь с большей ясностью.

Начиная с 1925 г. позиции британской валюты были весьма непрочными. Возвращение к золотому стандарту не сопровождалось соответствующей корректировкой уровня цен, заметно превышавших мировые. Лишь немногие сознавали абсурдность того курса, который начали проводить общими усилиями правительство и центральный банк, партии и профсоюзы. Сноуден, канцлер казначейства в первом лейбористском правительстве (1924), был фанатиком золотого стандарта, каких свет не видывал, однако он не смог понять, что, взяв на себя задачу восстановления фунта, он поставил свою партию перед выбором: либо пойти на снижение заработной платы, либо отказаться от власти. Семь лет спустя лейбористы — под давлением самого Сноудена — вынуждены были сделать и то и другое. К осени 1931 г. непрерывное изнуряющее воздействие кризиса начало сказываться на фунте стерлингов. Напрасно крах Всеобщей забастовки 1926 г. стал, казалось бы, гарантией против дальнейшего увеличения уровня зарплаты: он не смог предотвратить рост финансового

бремени социальных расходов и прежде всего — пособий по безработице, получение которых не ограничивалось какими-либо условиями. Не было особой нужды в «грабеже» со стороны банкиров (хотя сам грабёж имел место) для того, чтобы нация ясно усвоила следующую альтернативу: твердая валюта и здоровый бюджет — рост социальных выплат и обесценение валюты, независимо от того, что служит причиной последнего — высокие зарплаты и падение экспорта или просто превышение расходов над доходами. Иными словами, вопрос стоял так: либо сокращение социальной сферы, либо падение валютного курса. А поскольку лейбористы не способны были решиться ни на то, ни на другое — сокращение противоречило политике профсоюзов, а отказ от золотого стандарта был бы сочтен кощунством, — то лейбористов отпихнули от власти, после чего традиционные партии урезали социальные расходы и в конце концов отказались от золотого стандарта. С практикой выплаты пособий по безработице всем подряд было покончено, появилась специальная система «проверки нуждаемости». В то же время важные изменения претерпели политические традиции страны. Двухпартийная система временно перестала функционировать, и восстанавливать ее особенно не спешили. Двенадцать лет спустя она по-прежнему пребывала в упадке, причем ничто не предвещало ее скорого возрождения. Без каких-либо катастрофических потерь для своего благосостояния или свободы Англия, отказавшись на время от золотого стандарта, сделала решающий шаг на пути трансформации. В годы Второй мировой войны к этому прибавились изменения в методах либерального капитализма. Эти последние, однако, не мыслились как постоянные и потому не могли вывести страну из опасной зоны.

Аналогичный механизм действовал во всех развитых странах Европы, и результаты оказались примерно одинаковыми. Представители рабочих партий должны были выйти из состава кабинетов, чтобы «спасти валюту»; в Австрии это произошло в 1923 г., во Франции и в Бельгии — в 1926, в Германии — в 1931. Такие политики, как Зайпель, Франки, Пуанкаре и Брюннинг устранили их из правительства, урезали социальные расходы и попытались сломить сопротивление профсоюзов корректировкой заработной платы. Всякий раз угрозе подвергалась валюта, и столь же неизменно источником опасности объявляли непомерно высокие зарплаты и несбалансированный бюджет. Едва ли подобное упрощение свидетельствует о полном понимании множества связанных с этим феноменом проблем, относившихся практически ко всем сферам экономической и финансовой политики, в т. ч. к внешней торговле, сельскому хозяйству и промышленности. Тем не менее чем тщательнее анализируем мы эти проблемы, тем яснее убеждаемся, что именно валюта и бюджет фокусировали в себе в конечном счете важнейшие противоречия между работодателями и наемными работниками; прочие же слои населения поддерживали то одну, то другую из этих основных социальных групп.

Еще одним примером может послужить так называемый эксперимент Блюма (1936). Социалисты вошли в правительство, но при условии, что на вывоз золота не будет наложен запрет. Французский Новый курс не имел никаких шансов на успех, поскольку у правительства были связаны руки в ключевом вопросе — вопросе валюты. Данный аргумент следует считать решающим, ибо во Франции, как и в Англии, после того как рабочие партии удалось сделать безвредными, буржуазные партии преспокойно отказались от дальнейшей защиты золотого стандарта. Приведенные примеры демонстрируют, сколь парализующее действие оказывал на политику народных правительств постулат твердой валюты.

Тому же, пусть и по-другому, учил опыт Америки. Невозможно было приступить к осуществлению Нового курса, не отказавшись прежде от золотого стандарта, хотя внешние торговые связи особого значения в данном случае не имели. При системе золотого стандарта задача сохранения стабильных валютных курсов и нормального кредита, от которых в большой степени зависит состояние государственных финансов, неизбежно ложится на руководителей финансового рынка. А значит, банковская система получает возможность заблокировать любые негодные ей шаги во внутри-экономической сфере, независимо от

того, насколько разумны и основательны ее возражения. В переводе на язык политики это означает, что в вопросах кредита и денежного обращения правительства должны следовать советам банкиров, которые одни могут знать, не поставит ли та или иная финансовая мера под угрозу рынок капиталов и валютный курс. То, что в данном случае социальный протекционизм не завел общество в тупик, объяснялось тем обстоятельством, что Соединенные Штаты вовремя отказались от золотого стандарта. Ибо хотя чисто технические выгоды от этой меры были незначительными (а доводы в ее пользу, выдвигавшиеся администрацией, как это слишком часто бывает, — довольно слабыми), в результате подобного шага Уолл-стрит лишился политического влияния. Финансовый рынок правил с помощью паники. Закат Уолл-стрита в 30-х гг. спас Соединенные Штаты от социальной катастрофы европейского типа.

И однако, только в Соединенных Штатах, с их независимостью от мировой торговли и чрезвычайно прочными валютными позициями, золотой стандарт мог оставаться преимущественно внутривалютной проблемой. В других странах отказ от него влек за собой ни больше ни меньше как выход из системы мировой экономики. Единственным исключением здесь стала, вероятно, Великобритания, чья доля в мировой торговле была столь значительной, что она оказалась в состоянии определять принципы работы международной финансовой системы и таким образом в немалой степени перекладывать бремя золотого стандарта на чужие плечи. В таких государствах, как Германия, Франция, Бельгия и Австрия, ни одного из этих условий не существовало. Для них крах валюты означал разрыв связей с внешним миром и тем самым принесение в жертву отраслей, зависящих от импортного сырья, а также дезорганизацию внешней торговли, определявшей уровень занятости, — причем все это без какого-либо шанса принудить к аналогичному обесценению валюты своих поставщиков, избежав таким образом (как сделала это Великобритания) внутренних последствий падения стоимости собственной валюты в золотом эквиваленте.

Валютный курс представлял собой плечо рычага, чрезвычайно эффективно воздействовавшего на уровень заработной платы. Пока валютный вопрос не доводил дело до кризиса, проблема заработной платы увеличивала скрытое напряжение. Но то, к чему законы рынка часто не могли принудить упорствующих наемных работников, механизм внешнего валютного курса выполнял с полнейшим успехом. Валютный индикатор делал для всех очевидным пагубное влияние интервенционистской политики профсоюзов на рыночный механизм (неустранимые внутренние слабости которого, в т. ч. наличие экономических циклов, считались теперь чем-то само собой разумеющимся).

В самом деле, нельзя найти лучшей иллюстрации утопичности рыночного общества, чем те нелепости, к которым фикция рабочей силы как товара с необходимостью приводила его членов. Забастовка, обычное оружие рабочих в борьбе за выгодные условия найма, все чаще воспринималась как безответственное прекращение общественно полезного труда, которое в то же самое время уменьшало социальный дивиденд, служивший в конечном счете источником формирования заработной платы. Забастовки солидарности вызывали возмущение, а всеобщие стачки рассматривались как угроза для самого существования социального организма. Забастовки в жизненно важных отраслях и в сфере коммунального хозяйства, по сути, превращали граждан в заложников, ставя перед ними при этом головоломную проблему истинных функций рынка труда. Считалось, что труд должен находить свою цену на рынке и что всякая другая цена, кроме установленной подобным путем, противоречит законам экономики. Пока труд соблюдает эти законы, он будет вести себя как элемент в системе предложения того, чем он и является, а именно товара «рабочей силы», и, естественно, не станет продавать себя ниже той цены, которую все еще способен дать за нее покупатель. Из данного принципа, если рассуждать вполне последовательно, вытекает, что главная обязанность рабочих — без конца бастовать. Подобное утверждение шокирует своей полнейшей нелепостью, а между тем оно представляет собой не более чем логический вывод из товарной теории труда. Причина вопиющего противоречия между

теорией и практикой состоит, конечно же, в том, что труд в действительности не является товаром и что если бы рабочие воздерживались от продажи своего труда исключительно ради того, чтобы выяснить его точную цену (подобно тому, как в сходных обстоятельствах сознательно уменьшается предложение всех других товаров), то уже очень скоро общество погибло бы из-за отсутствия средств к существованию. Характерно, что либеральные экономисты крайне редко или даже почти никогда не упоминают этот аргумент при обсуждении проблемы забастовок.

Но вернемся к реальности. Забастовка как метод установления заработной платы означала бы катастрофу для любого общества, а тем более нашего, которое так гордится своей утилитарной рациональностью. При системе частного предпринимательства рабочий не имеет фактически никаких гарантий занятости, что означает серьезный удар по его социальному статусу. Прибавим к этому угрозу массовой безработицы, и жизненно важная в культурном и моральном плане роль профсоюзов в деле поддержания минимальных жизненных стандартов большинства народа станет для нас вполне очевидной. Очевидным, однако, является и то, что любой метод вмешательства, гарантирующий социальную защиту рабочим, неизбежно создает препятствия для функционирования саморегулирующегося рыночного механизма и в конечном счете сокращает тот самый фонд потребительских товаров, который обеспечивает их зарплатой.

Так, в силу непреложной внутренней необходимости, перед человечеством вновь встали основные проблемы рыночного общества — интервенционизм и валюта. В 20-х гг. они превратились в центральный вопрос политической жизни. Несходные ответы на него определяли сущность экономического либерализма и социалистического интервенционизма.

Экономический либерализм прилагал величайшие усилия с целью восстановить саморегулирование системы, покончив со всякого рода интервенционистскими методами, стеснявшими свободу рынков земли, труда и денег. Он взял на себя поразительно смелую задачу — в критической обстановке решить вековую проблему, связанную с тремя фундаментальными принципами свободной торговли, свободного рынка труда и свободно функционирующего золотого стандарта. По сути, он стал инициатором героической попытки возродить мировую торговлю, устранить, насколько возможно, все препятствия для мобильности рабочей силы и воссоздать твердые валюты. Последняя цель признавалась самой важной, ведь если бы доверие к валюте не было восстановлено, рыночный механизм не смог бы заработать, а в таком случае глупо было бы ожидать, что правительства воздержатся от защиты своих народов всеми доступными им средствами. Понятно, что этими средствами являлись, прежде всего, тарифы и социальные законы, призванные обеспечить пищу и работу, иначе говоря, это был тот самый вид интервенционизма, который выводил из строя саморегулирующуюся систему.

Существовала еще одна, более непосредственная причина ставить задачу возрождения международной финансовой системы на первое место: несмотря на дезорганизацию рынков и нестабильность валют, международный кредит играл все более важную роль. До Великой войны движения международного капитала (кроме связанных с долгосрочными инвестициями) по сути лишь способствовали поддержанию платежного баланса, но даже в этой своей функции они строго ограничивались экономическими соображениями. Кредитом пользовались только те, кто казался заслуживающим доверия в коммерческом отношении. Теперь же ситуация полностью изменилась: долги, например репарации, возникали в силу политических причин, займы предоставлялись по мотивам наполовину политического свойства — чтобы сделать возможными репарационные платежи. Но займы предоставлялись также и по причинам, связанным с экономической политикой, например, с целью стабилизации мировых цен или восстановления золотого стандарта. Кредитный механизм использовался относительно здоровой частью мировой экономики для того, чтобы ликвидировать разрывы в относительно дезорганизованных ее частях, независимо от реального состояния производства и торговли. С помощью, как тогда думали, всемогущего

механизма международного кредита в целом ряде стран искусственно восстанавливалось равновесие в сфере платежного баланса, бюджета и валюты. В основе самого этого механизма лежала надежда на возвращение к стабильным валютам, что опять же означало возврат к золотому стандарту. Эластичная лента изумительной прочности помогала создавать видимость единства в распадающейся экономической системе, но ее способность выдерживать растущее напряжение зависела от своевременного возврата к золотому стандарту.

Успехи, достигнутые Женевой на этом пути, в каком-то смысле можно назвать выдающимися. И если бы поставленная задача не была абсолютно неосуществимой по самой своей сути, то ее наверняка удалось бы выполнить, столь умелыми и целенаправленными были соответствующие усилия. В сложившейся же тогда реальной ситуации нельзя было придумать ничего более пагубного по своим результатам, чем вмешательство Женевы. Казалось, ему всякий раз сопутствует почти полный успех, но именно по этой причине оно катастрофически усугубляло последствия конечного краха. С 1923 г., когда за считанные месяцы была обращена в ничто германская марка, и до начала 1930 г., когда все важнейшие мировые валюты вернулись к золотому стандарту, Женева использовала международный кредитный механизм для того, чтобы перекладывать бремя не полностью стабилизированных экономик Восточной Европы на плечи западных держав-победительниц, а затем — на еще более широкие плечи Соединенных Штатов Америки.[92] Крах наступил в Америке в ходе обычного экономического цикла, но когда это случилось, финансовая сеть, созданная Женевой и англо-американской банковской системой, увлекла в бездну кризиса экономику всей планеты.

Но и это еще не все. В 20-е гг. Женева категорически требовала полного подчинения социальных вопросов интересам восстановления валюты. Высшей целью была объявлена дефляция, внутренние институты должны были адаптироваться к этой ситуации в меру своих возможностей. Даже восстановление свободных внутренних рынков и либерального государства рекомендовалось на время отложить, ибо, по словам Комиссии по золотому стандарту, дефляция не смогла «затронуть известные виды товаров и услуг, а следовательно, не сумела создать новое устойчивое равновесие». На правительства возлагалась обязанность вмешиваться в экономику с целью снижения цен на монопольные товары и согласованных расценок заработной платы, а также уменьшения рент. Идеалом дефляционистов стала «свободная экономика при сильном правительстве», но если выражение «сильное правительство» следовало понимать буквально, как чрезвычайные полномочия и временную отмену гражданских прав и свобод, то «свободная экономика» означала на практике нечто противоположное прямому смыслу этих слов, а именно государственное регулирование цен и зарплат (хотя целью последнего открыто провозглашалось восстановление свободы валют и внутренних рынков). Приоритет валюты повлек за собой, по сути, принесение ей в жертву свободных рынков и свободных правительств — двух столпов либерального капитализма. Таким образом, политика Женевы означала перемену цели, но не средств: если инфляционистские правительства, сурово ее осуждавшие, подчиняли стабильность валюты стабильности доходов и занятости, то дефляционистские правительства, приведенные Женевой к власти, столь же часто прибегали к вмешательству в экономику для того, чтобы подчинить стабильность доходов и занятости стабильности валюты. В 1932 г. в докладе Комиссии Лиги Наций по золотому стандарту было объявлено, что вновь давшая о себе знать валютная нестабильность свела на нет важнейшее финансовое достижение последнего десятилетия. В докладе, однако, умалчивалось о том, что в ходе этих тщетных дефляционистских усилий свободные рынки так и

не были восстановлены, тогда как свободные правительства

были принесены в жертву. В теории экономические либералы в равной мере являлись противниками интервенционизма и инфляции, на практике же они сделали выбор между

между ними, поставив идеал твердой валюты выше идеала невмешательства в экономику. Поступив так, они подчинились внутренней логике саморегулирующегося рынка. И тем не менее подобный курс способствовал расширению масштабов кризиса, он возлагал на финансы непосильное бремя громадных экономических потрясений, а кроме того нагромождал проблемы отдельных национальных экономик — пока под их тяжестью крах последних остатков международного разделения труда не стал совершенно неизбежным. Упорство, с которым экономические либералы во имя своих дефляционистских идеалов поддерживали в это переломное десятилетие авторитарный интервенционизм, лишь привело к фатальному ослаблению демократических сил, которые при ином развитии событий смогли бы, вероятно, предотвратить фашистскую катастрофу. Великобритания же и Соединенные Штаты — господа, а не слуги валюты, — вовремя отказавшись от золотого стандарта, сумели избежать этой опасности.

Социализм есть в своей основе внутренне присущее индустриальной цивилизации стремление к выходу за рамки саморегулирующегося рынка путем целенаправленного подчинения его демократическому обществу. Данная позиция вполне естественна для промышленных рабочих, которые не видят, почему производство нельзя было бы регулировать непосредственно, а рынки сделать не более чем полезным, но подчиненным элементом свободного общества. С точки зрения социума как целого социализм есть лишь продолжение той попытки превратить общество в систему исключительно человеческих, личностных связей, которая в Западной Европе всегда ассоциировалась с христианской традицией. И напротив, с точки зрения экономической системы социализм представляет собой полный разрыв с ближайшим прошлым, поскольку он порывает с попытками сделать денежные доходы индивида единственным стимулом к производственной деятельности и не признает права частных лиц по своей воле распоряжаться факторами производства. Именно это обстоятельство, в конечном счете, и затрудняет реформирование капиталистической экономики социалистическими партиями, даже если последние твердо решили не посягать на существующую систему собственности. Ведь одна лишь мысль о том, что они в принципе способны на это пойти, подрывает ту уверенность, которая является жизненно важной для либеральной экономики, а именно абсолютную уверенность в нерушимости прав собственника. Реальное содержание этих прав может изменять законодательная власть, но вера в их формальную нерушимость и непрерывность совершенно необходима для функционирования рыночной системы.

После Великой войны произошли две важные перемены, существенно отразившиеся на позициях социализма. Во-первых, рыночная система обнаружила свою непрочность, оказавшись на пороге почти полного краха, — слабость, о которой не подозревали даже ее критики. Во-вторых, в России была построена социалистическая экономика, означавшая радикально новый путь. И хотя конкретные условия, в которых был предпринят этот смелый эксперимент, делали его непригодным для западных стран, само существование Советской России оказывало громадное влияние. Конечно, Россия двинулась к социализму, не имея развитой промышленности, грамотного населения и демократических традиций, т. е. всего того, что по западным понятиям являлось необходимыми предпосылками социалистического строя. Эти особенности сделали ее методы и решения неприемлемыми для других стран, однако ничуть не помешали социализму превратиться в мировую силу. Рабочие партии континентальной Европы всегда держались в теории социалистических взглядов, и неудивительно, что любая реформа, которую желали они осуществить, внушала подозрения на предмет того, что она якобы должна послужить социалистическим целям. В спокойные времена подобные подозрения были беспочвенными: партии рабочего класса стремились в целом к реформе капитализма, а не к революционному его свержению. Но в критической ситуации дело обстояло иначе. Тогда, если бы нормальные методы оказались недостаточными, в ход могли быть пущены аномальные, крайние средства, а в случае с рабочими партиями это могло означать попрание прав собственности. Перед лицом надвигающейся реальной опасности рабочие партии могли решиться на такие меры, которые

были бы по своей сути социалистическими или показались бы таковыми воинствующим сторонникам частного предпринимательства. А уже одного намека на это было бы достаточно, чтобы ввергнуть рынки в полный хаос и вызвать всеобщую панику.

В подобных условиях рутинный конфликт интересов работодателей и наемных работников принял фатальный характер. Если противоречия экономических интересов обычно завершались компромиссом, то отделение экономической сферы от сферы политической привело к тому, что эти столкновения стали угрожать катастрофическими последствиями всему обществу. Работодатели являлись хозяевами заводов и шахт, а значит, несли прямую ответственность за процесс производства (совершенно независимо от их личной заинтересованности в получении прибыли). В принципе их стремление обеспечить бесперебойную работу промышленности должно было гарантировать им всеобщую поддержку. С другой стороны, наемные работники составляли значительную часть населения, а их интересы также в немалой степени совпадали с интересами общества в целом. Они были единственным классом, способным защитить интересы потребителей, граждан, человеческих существ как таковых, а при системе всеобщего избирательного права сама их численность обеспечивала им преобладание в промышленной сфере. Но ведь законодательная власть, как и промышленность, имела в обществе некие глобальные функции, несводимые к интересам отдельных групп. Члены законодательных органов призваны были выражать общую волю нации, определять главные направления государственной политики, принимать долгосрочные программы, относящиеся к внутренним и внешним делам. Никакое сложное общество не могло обойтись без нормально функционирующей законодательной и исполнительной власти. Столкновение групповых интересов, парализующее органы промышленности или государства — или же те и другие разом, — создавало непосредственную опасность для общества.

Именно это и произошло в 20-е гг. Рабочие окапывались в парламенте, где их численность сообщала им внушительный политический вес; капиталисты превращали в свою крепость промышленность, надеясь таким образом диктовать свою волю стране. Народные представители отвечали на это яростным вмешательством в бизнес, совершенно игнорируя реальные условия конкретных отраслей хозяйства. Промышленные магнаты подстрекали граждан к неповиновению ими же свободно избранным правителям, демократические органы вели жестокую войну против индустриальной системы, от которой прямо зависело существование всех и каждого. В конце концов наступал момент, когда и экономическая и политическая системы оказывались перед угрозой полного паралича. Охваченный страхом народ отдавал власть в руки тех, кто готов был предложить простой и понятный выход, соглашаясь заплатить за него любую цену, — это означало, что пришло время для фашистского решения.

Глава 20

История под грузом социальных перемен

Если когда-либо существовало политическое движение, ставшее ответом на объективные потребности исторической ситуации, а не являвшееся следствием случайных причин, то это — фашизм. В то же время порочный, дегенеративный характер фашистского решения проблемы был вполне очевиден. Фашизм предлагал выход из институционального тупика, однотипного по природе во многих странах, но подобное лечебное средство, будучи испытано, всюду привело бы от болезни к смерти. Именно так гибнут цивилизации.

Фашистский выход из того

impasse [93], в котором оказался либеральный капитализм, можно описать как реформу рыночной экономики за счет ликвидации всех демократических институтов как в производственной, так и в политической сферах. Стоявшая на пороге краха экономическая система должна была таким образом обрести новые жизненные силы; самим же народам предстояло пройти через перевоспитание, имевшее целью лишить личность естественных человеческих свойств и сделать ее неспособной к функционированию в качестве самостоятельного, ответственного элемента государственного организма.[94] Это перевоспитание предполагало усвоение догматов новой политической религии, отвергавшей идею человеческого братства в любых ее формах, и достигалось через акт массового обращения, к которому упорствующих принуждали пытками, поставленными на вполне научную основу.

Появление подобного движения в индустриальных государствах и даже некоторых слабо развитых в промышленном отношении странах не следовало бы объяснять местными причинами, особенностями национального характера или предпосылками прежней истории, как это столь упорно делали современники фашизма. Последний так же мало связан с Великой войной, как и с Версальским договором, с юнкерским милитаризмом — как и с итальянским темпераментом. Фашистские движения возникали в побежденных странах, например в Болгарии, и в странах-победительницах вроде Югославии, в странах северного темперамента — Финляндии, Норвегии, и в странах темперамента южного — Италии и Испании, в странах арийской расы — Англии, Ирландии, Бельгии, и в странах неарийских — Японии, Венгрии, Палестине, в странах традиционно католических — Португалии и протестантских — Голландии, в странах старой культуры — Франции, более новой — Соединенных Штатах и государствах Латинской Америки, в милитаристских по духу обществах — Пруссии, и в обществах гражданских — Австрии. В действительности не существовало таких исторических предпосылок — религиозных, культурных или национальных, — которые бы надежно гарантировали данной стране иммунитет к фашизму, коль скоро объективные условия для его зарождения уже возникли.

Более того, существовало поразительное несоответствие между материальной, «количественной» силой фашизма и достигавшимися им политическими результатами. Сам термин «движение» сбивал с толку, поскольку он подразумевал некий вид личного участия, вступление в конкретную массовую организацию. Но фашизм как раз и характерен своей независимостью от подобных феноменов «массовости». Хотя обычно фашизм и искал массовой поддержки, потенциальная его мощь определялась не числом сторонников, но весом высокопоставленных лиц, чьим расположением пользовались фашистские вожди и на чье влияние в обществе они могли опереться, гарантируя таким образом успех переворота.

В странах, приближающихся к фазе фашизма, обнаруживались характерные симптомы, среди которых наличие «фашистского движения» в собственном смысле отнюдь не являлось безусловно необходимым. Признаками, по меньшей мере, столь же существенными, были широкое распространение иррационалистических философских учений и расистских эстетических теорий, антикапиталистическая демагогия, неортодоксальные взгляды на бытовую мораль, критика многопартийной системы, наконец, всеобщее пренебрежение к «режиму» или как там еще именовалось в данной стране существующее демократическое устройство. Среди чрезвычайно разнообразных предвестников фашизма мы находим так называемую универсалистскую философию Отмара Шпанна в Австрии, поэзию Стефана Георге и космогонический романтизм Людвига Клагеса в Германии, эротический витализм Д. Г. Лоуренса в Англии, политическую мифологию Жоржа Сореля во Франции. Гитлера в конечном счете привела к власти феодальная по своим симпатиям клика, стоявшая вокруг президента Гинден-бурга, точно так же как для Муссолини и Примо де Ривера дорогу к высшим государственным постам открыли их монархи. Между тем за Гитлером стояло довольно мощное движение, за Муссолини — весьма незначительное, а за Примо де Ривера — вообще никакого. Ни в одном случае не произошло подлинной революции,

ниспровергающей установленную власть: тактика фашистов всякий раз сводилась к бутафорскому мятежу с молчаливого согласия властей, утверждавших при этом, будто им приходится уступать насилию. Таковы общие контуры весьма сложной картины, в которой следовало бы найти место для таких столь непохожих фигур, как католический внепартийный демагог в промышленном Детройте, «Кингфиш» в отсталой Луизиане, армейские заговорщики в Японии или антисоветские вредители на Украине. Начиная с 1930-х гг. фашизм был всегда наличной политической возможностью, почти спонтанной эмоциональной реакцией в каждом индустриальном обществе. И его, пожалуй, лучше было бы называть не «движением» («movement»), а «сдвигом» («move»), чтобы точнее обозначить безличную, глубинную природу кризиса, внешние симптомы которого нередко оказывались весьма неясными и противоречивыми. Часто люди не были уверены в том, являются ли фашистскими по своей сути та или иная пьеса или политическая речь, философская теория или модное веяние в искусстве, проповедь или манифестация, поэма или партийная программа. Общепринятых критериев фашизма не существовало, как не было в самом фашизме каких-либо общеобязательных доктрин. Однако важным признаком всех его организованных форм являлась та внезапность, с которой они возникали, а затем исчезали — но лишь с тем, чтобы после неопределенно долгого периода «латентного» существования вновь стремительно вырваться на поверхность. Все это вполне соответствует образу социальной силы, которая переживает подъемы и спады в зависимости от конкретной исторической ситуации.

То, что мы, для краткости, называли «фашистской ситуацией», есть не что иное, как типичный случай легкой и полной победы фашизма. Совершенно неожиданно, как бы в одно мгновение перестают существовать мощные политические и профессиональные организации рабочего класса и других убежденных сторонников конституционных свобод, а мелкие фашистские группы сметают со своего пути все, что прежде, казалось, обладало неодолимой силой — демократические правительства, партии, профсоюзы. И если справедливо, что для «революционной ситуации» характерен психологический и моральный крах всех сил сопротивления, достигающий таких масштабов, что кучка плохо вооруженных бунтовщиков оказывается способной взять штурмом якобы неприступные твердыни

реакции, то «фашистская ситуация» есть ее полная аналогия, с той лишь разницей, что в данном случае штурму подвергаются бастионы —

демократии и конституционных свобод, оказывающиеся на поверку столь же поразительным образом беззащитными. В июле 1932 г. законное социал-демократическое правительство Пруссии, окопавшееся в резиденции легитимной власти, капитулировало перед одной лишь угрозой неконституционного насилия со стороны фон Папена. Примерно через полгода Гитлер без боя занял господствующие высоты в государстве, откуда тотчас же повел революционное наступление с целью полностью уничтожить все институты и конституционные партии Веймарской республики. Воображать, будто сила движения порождала подобные ситуации, не замечая, что как раз ситуация в данном случае и создала движение, значит совершенно не принимать важнейшего урока, преподанного нам историей последних десятилетий.

Корни фашизма, как и социализма, — в рыночном обществе, которое перестало нормально функционировать. А потому он превратился в мировое, вселенское по масштабам и универсальное по своим приложениям явление; он вышел за рамки собственно экономической сферы, породив всеобщую трансформацию отчетливо социального типа. Он проник во все области человеческой деятельности — политику, экономику, культуру, философию, искусство, религию. До известной степени фашизм сочетался с течениями, характерными для данного времени и места, однако мы ничего не поймем в истории этой эпохи, если не проведем четкого различия между глубинным фашистским «сдвигом» и поверхностными, переходящими тенденциями, с которыми взаимодействовал он в тех или иных странах.

В Европе 20-х гг. на первом плане фигурировали две подобные тенденции, заслонявшие собой не столь отчетливую, но гораздо более всеобъемлющую социальную модель фашизма, — контрреволюция и стремление к пересмотру итогов Первой мировой войны (nationalist revisionism). Непосредственным толчком для них послужили Версальский мир и послевоенные революции. Эти тенденции были строго обусловлены исторической ситуацией и имели собственные, вполне конкретные цели, тем не менее их легко смешивали с фашизмом.

Контрреволюция представляет собой естественный обратный ход политического маятника к прежнему положению вещей, которое подверглось резкому насильственному изменению. Подобные сдвиги типичны для Европы, по крайней мере, с эпохи Английской республики, и с социальными процессами своего времени они имеют весьма отдаленную связь. В 1920-х гг. возникло немало ситуаций такого типа, поскольку перевороты, уничтожившие добрую дюжину монархий в Центральной и Восточной Европе, объяснялись отчасти «обратным потоком», вызванным военной катастрофой, но отнюдь не поступательным движением демократии. Контрреволюция выполняла главным образом политическую работу, выпадавшую, естественно, на долю тех классов и групп, которые чего-то лишились — династий, аристократии, церкви, капитанов тяжелой промышленности, и связанных с ними партий. Союзы же и конфликты между консерваторами и фашистами касались тогда преимущественно степени участия последних в общем контрреволюционном предприятии. Фашизм был революционным течением, направленным столько же против консерватизма, сколько и против конкурирующей с ним революционной силы — социализма. Но это не мешало фашистам искать политического влияния, предлагая свои услуги контрреволюции. Напротив, они притязали на ведущую роль, ссылаясь главным образом на «бессилие» консерватизма выполнить свою задачу, задачу неизбежную, коль скоро социализм следовало остановить. Консерваторы, разумеется, стремились присвоить себе всю честь контрреволюции и, например, в Германии совершили ее собственными силами. Они лишили партии рабочего класса власти и влияния, не уступив при этом фашистам. Подобным же образом в Австрии христианские социалисты — консервативная партия — в значительной степени обезоружили рабочее движение (1927), не сделав никаких уступок «революционерам справа». Даже там, где участие фашистов в контрреволюции было неизбежным, к власти пришли «сильные» правительства, отбросившие фашизм на политические задворки. Так произошло в Эстонии (1929), Финляндии (1932), Латвии (1934). Псевдолиберальные режимы сломили на время мощь фашизма в Венгрии (1922) и Болгарии (1926). И лишь в Италии консерваторы не смогли восстановить «трудовую дисциплину в промышленности», не предоставив при этом фашистам шанса захватить власть.

В странах, потерпевших военное поражение, а также и в «морально» побежденной Италии чрезвычайную остроту приобрел национально-государственный вопрос. Перед ними стояла задача, актуальность которой невозможно было отрицать. Больше всего по побежденным странам ударило вечное разоружение: в условиях, когда единственной основой международного права, порядка и мира служил баланс сил, некоторые государства были сделаны совершенно беззащитными, причем без всякой надежды на то, что старую систему международных отношений может сменить новая. Лига Наций представляла собой в лучшем случае усовершенствованный вариант той же системы равновесия сил, но в действительности не достигала даже уровня прежнего Европейского концерта, ибо теперь отсутствовала главная предпосылка равновесия — повсеместное распространение военной силы. Зарождающееся фашистское движение почти всюду ставило себя на службу национально-государственному делу: без этого «случайного заработка» оно едва ли сумело бы выжить.

И однако, национальный вопрос фашизм использовал лишь как временное подручное средство; в других случаях он охотно играл на изоляционистских и пацифистских чувствах. В Англии и Соединенных Штатах он был связан с политикой «умиротворения», в Австрии

«Хеймвер» сотрудничал с различными католическими пацифистами, а католический фашизм был принципиально антинационалистическим. Хью Лонг не нуждался в пограничном конфликте между штатами Техас или Миссисипи, чтобы положить начало фашистскому движению в Батон-Руж, штат Луизиана. Сходные движения в Норвегии и Голландии являлись не националистическими настолько, что доходили до государственной измены: «квислингом», вероятно, можно было назвать настоящего фашиста, но уж никак не настоящего патриота.

В борьбе за политическую власть фашизм обладает полной возможностью либо игнорировать местные проблемы, либо использовать их в собственных интересах. Цель его — социальная по своей сути — выходит за рамки политики и экономики. Политическую религию фашизм ставит на службу процессу социальной дегенерации. Пока фашизм еще только добивается власти, он исключает из своего репертуара лишь очень немногие эмоции; одержав победу, он оставляет для своего оркестра крайне ограниченный набор мотивов, хотя опять же чрезвычайно характерных. Не проведя тщательного различия между этой псевдонетерпимостью на пути к власти и подлинной нетерпимостью фашизма у власти, мы едва ли сможем уловить тонкое, но решающее различие между показным национализмом некоторых фашистских движений до переворота и специфически имперским антинационализмом, к которому пришли они после переворота.[95]

Консерваторы, как правило, собственными силами с успехом осуществляли внутреннюю контрреволюцию, но они редко оказывались способны разрешить международные проблемы своих стран. В 1940 г. Брюнинг утверждал, что вопрос о германских репарациях и разоружении ему удалось урегулировать до того, как «окружавшая Гинденбурга клика», не желая, чтобы ему, Брюнингу, досталась вся слава, решила его устранить и передать власть нацистам.[96] Так это или нет, представляется несущественным, ибо вопрос о равноправном статусе Германии не сводился к специальной проблеме разоружения, как это подразумевал Брюнинг, но включал в себя столь же жизненно важный вопрос демилитаризации; кроме того было практически невозможно игнорировать ту силу, которую черпала германская дипломатия в существовании массового нацистского движения, активно поддерживавшего радикальную националистическую политику. События убедительно доказали, что Германия на могла добиться равноправного статуса, не сделав вначале революционного шага, и именно в этом свете становится очевидной чудовищная вина нацизма, толкнувшего свободную и равноправную Германию на путь преступлений. И в Германии, и в Италии фашизм смог захватить власть лишь потому, что сумел использовать в качестве рычага нерешенные национально-государственные проблемы, тогда как во Франции и Великобритании антипатриотизм фашизма решающим образом ослабил его влияние. Только в небольших и по необходимости зависимых странах дух раболепия перед иностранной державой мог стать козырем в руках фашизма.

Европейский фашизм 20-х гг., как мы убедились, лишь по стечению обстоятельств связан с национальными и контрреволюционными тенденциями. Это пример симбиоза самостоятельных по своим истокам движений, которые усиливали друг друга и создавали впечатление сущностной близости, будучи в действительности внутренне отличными по природе.

Фактически роль фашизма определялась одним-единственным фактором — состоянием рыночной системы.

В 1917–1923 гг. правительства иногда обращались к помощи фашизма для восстановления порядка: чтобы привести в движение рыночную систему, большего не требовалось. Фашизм так и не вышел из зачаточной формы.

В 1924–1929 гг., когда восстановление рыночной системы казалось надежно гарантированным, фашизм как политическая сила совершенно исчез с исторической сцены.

После 1930 г. рыночную экономику поразил всеобщий кризис — за несколько лет фашизм превратился в мировую силу.

Первый период, 1917–1923 гг., едва ли дал что-то большее, нежели сам термин «фашизм». В некоторых европейских странах — таких как Финляндия, Литва, Эстония, Латвия, Польша, Румыния, Болгария, Греция и Венгрия, произошли аграрные или социалистические революции, тогда как в других государствах, например, в Италии, Германии и Австрии, индустриальный рабочий класс добился политического влияния. В конечном счете контрреволюции восстановили внутреннее равновесие сил. В большинстве стран крестьянство выступило против городских рабочих, в некоторых странах у истоков фашизма стояли офицеры и дворяне, которые вели за собой крестьянство, в других же, как, например, в Италии, фашистские отряды составили мелкие буржуа и безработные. Всюду требовали только одного — порядка, вопрос о радикальной реформе нигде не поднимался, иными словами, не было заметно никаких симптомов фашистской революции. Фашистскими эти движения были лишь по форме, т. е. лишь постольку, поскольку банды, состоявшие из гражданских лиц, так называемые «безответственные элементы», прибегали к насилию, пользуясь попустительством властей. Антидемократическая философия фашизма уже появилась на свет, но еще не стала фактором политики. В 1920 г., накануне II Конгресса Коминтерна, Троцкий выступил с пространством докладом о положении в Италии, но о фашизме даже не упомянул, хотя

fasci [97] уже существовали к тому моменту некоторое время. Прошло еще десять с лишним лет, прежде чем итальянский фашизм, уже давно утвердившийся у власти в стране, создал нечто вроде особой социальной системы.

Начиная с 1924 г. Европа и Соединенные Штаты стали ареной бурного подъема деловой активности, в шуме которого утонули все сомнения в прочности рыночной системы. Капитализм был провозглашен возродившимся, с фашизмом и большевизмом покончили всюду, кроме нескольких периферийных регионов. Коминтерн открыто признал факт укрепления капиталистической системы, Муссолини восхвалял либеральный капитализм, все крупные страны, кроме Великобритании, были на подъеме. Соединенные Штаты переживали эпоху неслыханного процветания, почти так же блестяще шли дела и в Европе. Гитлеровский путч был подавлен, Франция вывела войска из Рура, чудесным образом возродилась рейхсмарка, план Да-уэса сделал репарационный вопрос независимым от политики, на горизонте уже виднелись контуры Локарно, а Германия вступала в свои семь «тучных лет». К концу 1926 г. золотой стандарт царствовал всюду — от Москвы до Лиссабона.

Только в третий период — после 1929 г. — обнаружилась истинная сущность фашизма. Стал очевиден тупик, в который зашла рыночная экономика. Прежде фашизм был лишь одной из особенностей итальянской авторитарной государственной системы, в остальном не слишком отличавшейся от более традиционных форм правления. Теперь же фашизм заявил о себе как об альтернативном решении ключевых проблем индустриального общества. Революцию общеевропейского масштаба возглавила Германия, а фашистский выбор дал ей энергию для борьбы за мировое господство, охватившую вскоре пять континентов. Заработавший механизм социальных перемен сдвинул с места историю.

Крушению мирового порядка положило начало одно второстепенное, но отнюдь не случайное событие. Крах на Уолл-стрит принял громадные размеры, за ним последовало решение Англии отказаться от золотого стандарта, а еще два года спустя — аналогичный шаг со стороны Соединенных Штатов. Параллельно прекратила свою работу Конференция по разоружению, а в 1934 г. Германия вышла из Лиги Наций.

Эти громадной важности события открыли эпоху радикальных сдвигов в системе международных отношений. Три державы — Япония, Германия и Италия — восстали против принципа

status quo, саботируя ветшающие институты поддержания мира. В то же время перестала действовать система мировой экономики. Англо-саксы, по крайней мере, на некоторый срок отказались от ими же созданного золотого стандарта, под предлогом дефолта прекратились выплаты по иностранным долгам, рынки капитала и мировая торговля пришли в упадок. Политическая и экономическая системы тогдашнего мира распадались одновременно.

Столь же радикальные сдвиги происходили внутри самих государств.

Двухпартийные политические системы оказались подмяты однопартийными правительствами, а в некоторых случаях так называемыми «национальными» правительствами. Впрочем, внешнее сходство между диктаторскими режимами и странами, сохранившими демократическое общественное мнение, лишь доказывало величайшую важность институтов, обеспечивающих свободу дискуссии и принятия решений. Россия обратилась к социализму в форме диктатуры. Либеральный капитализм исчез в странах, готовившихся к войне — Германии, Японии, Италии, а также, хотя и в меньшей степени, — в Соединенных Штатах и Великобритании. Но возникающие режимы — фашизм, социализм, Новый курс — были сходны лишь в том, что отвергали принципы

laissez-faire.

Когда история сдвинулась таким образом с места под действием толчка, внешнего по отношению ко всем государствам, отдельные страны ответили на ее вызов по-разному, в зависимости от того, какие цели они перед собой ставили. Некоторые упорно не желали изменений, другие сами прошли долгий путь им навстречу, третьи остались к ним безразличны. К тому же они искали выход в разных направлениях. Но с точки зрения рыночной экономики эти, нередко коренным образом различающиеся решения, представляли собой реализацию заданного набора альтернатив.

Среди тех, кто решил воспользоваться всеобщим кризисом в собственных интересах, была группа недовольных существовавшим порядком держав, перед которыми крах системы политического равновесия, даже в ее ослабленной форме — Лиге Наций, открывал, казалось, изумительные перспективы. Теперь Германия стремилась ускорить гибель традиционной мировой экономики, все еще служившей опорой международного порядка; она всячески способствовала ее крушению, рассчитывая получить фору перед своими конкурентами. Германия умышленно обрывала связи с международным рынком капитала, системой товарного и валютного обмена, чтобы в тот момент, когда она сочтет удобным отвергнуть свои политические обязательства, ее зависимость от внешнего мира была как можно меньшей. Она добивалась экономической автаркии, чтобы обеспечить свободу действий, необходимую для ее далеко идущих политических планов. Она растранижила свой золотой запас, подорвала свой кредит за границей произвольным отказом от долговых обязательств и даже испортила на некоторое время благоприятный внешнеторговый баланс. Ей легко удавалось маскировать свои истинные цели, ибо ни Уолл-стрит, ни лондонский Сити, ни Женева не подозревали о том, что нацисты делают ставку на полный распад унаследованной от XIX в. экономической системы. Сэр Джон Саймон и Монтегю Норман твердо верили, что Шахт в конце концов восстановит ортодоксальную экономику в Германии, которая теперь несвободна в своих действиях, но вскоре — стоит только оказать ей финансовую поддержку — непременно вернется в лоно единоверцев. Подобными иллюзиями тешили себя на Даунинг-стрит вплоть до Мюнхена и даже после него. И если Германии в реализации ее тайных планов очень помогло умение приспособиться к распаду традиционной экономической системы, то Англию приверженность этой системе поставила в крайне невыгодное положение.

Хотя Англия и отказалась на время от золотого стандарта, ее экономика и финансы по-прежнему основывались на принципах стабильных торговых связей и твердой валюты. Отсюда — неизбежная ограниченность ее возможностей в области перевооружения. Если

германская автаркия стала результатом военных и политических расчетов, проистекавших из намерения предвосхитить всеобщую трансформацию и использовать ее в своих интересах, то внешняя политика и стратегия Британии были связаны ее консервативными финансовыми идеями. Стратегия ограниченной войны отражала представление об «островной торговой лавочке», полагающей себя в безопасности до тех пор, пока флот ее достаточно силен, чтобы обеспечить поставку продовольствия, которое она может купить в заморских странах за свои твердые деньги. Гитлер уже был у власти, когда в 1933 г. Дафф Купер, твердолобый консерватор, требовал сократить утвержденный в 1932 г. военный бюджет — как принятый «перед лицом государственного банкротства, которое, как тогда думали, представляет гораздо большую опасность, чем даже отсутствие эффективных вооруженных сил». Через три с лишним года лорд Галифакс утверждал, что мира можно добиться соответствующими экономическими средствами и что не следует допускать вмешательства в торговлю, ибо оно способно затруднить их использование. В самый год Мюнхена Галифакс и Чемберлен по-прежнему формулировали политику в терминах «борьбы с демоном нестабильности валюты», негласно одобряя традиционные американские займы Германии. И даже после того как Гитлер перешел Рубикон и оккупировал Прагу, лорд Саймон оправдывал в палате общин участие Монтегю Нормана в передаче Гитлеру чехословацких золотых резервов. Саймон свято верил, что целостность золотого стандарта, восстановлению коего служило все искусство этого государственного мужа, важнее любых иных соображений. Современники полагали, что действия Саймона объясняются упрямым следованием политике «умиротворения». В действительности же это было очередное приношение духу золотого стандарта, который по-прежнему определял взгляды крупнейших фигур лондонского Сити на все вопросы политики и стратегии. А в ту самую неделю, когда вспыхнула война, Форин-офис, отвечая на устное обращение Гитлера к Чемберлену, сформулировал британскую политику в терминах традиционных американских займов для Германии.[98] Экономика золотого стандарта стала главной причиной неподготовленности Англии к войне.

Германия же пользовалась вначале выгодами тех, кто убивает обреченное на смерть. Преимущество ее сохранялось до тех пор, пока развал обветшавшей экономической системы XIX в. позволял ей опережать других. Уничтожение либерального капитализма, золотого стандарта и национального суверенитета некоторых государств явилось побочным следствием ее мародерских набегов. Приспосабливаясь к изоляции, которой она же вполне сознательно добивалась, а затем во время походов за рабами Германия выработала варианты решений некоторых проблем трансформации.

Однако важнейшим ее политическим козырем было то, что она смогла заставить другие государства вступить в антибольшевистский блок. Она извлекла наибольшие выгоды из трансформации, взяв на себя инициативу в таком способе решения проблем рыночной экономики, который, как долго казалось, гарантировал безусловное согласие имущих классов, и даже не только их одних. Если исходить из либерального и марксистского постулата о главенстве экономических классовых интересов, то Гитлер был обречен на успех. И однако, в конечном счете стало ясно, что социальное целое — нация играет еще большую роль, чем экономическое целое — класс.

Подъем России также был связан с ее ролью во всеобщей трансформации. В 1917–1929 гг. страх перед большевизмом был лишь страхом беспорядка, который может роковым образом помешать восстановлению рыночной экономики, способной функционировать только в условиях безусловного взаимного доверия. В последующее десятилетие социализм стал в России реальностью. Коллективизация крестьянских хозяйств означала замену рыночной экономики кооперативными методами в отношении важнейшего экономического фактора — земли. Россия, которая прежде была лишь центром революционной агитации против капиталистического мира, превратилась теперь в представителя новой системы, способной заменить рыночную экономику.

Обычно не замечают того, что большевики, хотя и были пламенными социалистами, упорно

отказывались «вводить в России социализм». Их марксистские убеждения сами по себе должны были исключить подобную попытку в отсталой аграрной стране. Если отвлечься от «военного коммунизма» 1920 г. — эпизода, всецело обусловленного исключительными обстоятельствами, — большевистские вожди твердо держались взгляда, что мировая революция должна начаться в индустриальной Западной Европе. Социализм в отдельной стране показался бы им противоречием в терминах, когда же он стал реальностью, старые большевики почти все до единого решительно его отвергли. И однако, именно подобный отход от теоретических принципов и увенчался поразительным успехом.

Оглядываясь на четверть века русской истории, мы приходим к следующему выводу: то, что именуется Русской революцией, состояло, в сущности, из двух самостоятельных революций, первая из которых воплотила традиционные западноевропейские идеалы, вторая же стала частью совершенно нового процесса 30-х гг. Революция 1917–1924 гг. была

последним из европейских политических переворотов, воспроизводивших модель Английской республики и Французской революции; революция, начавшаяся около 1930 г. с коллективизации крестьянства, явилась

первым из грандиозных социальных изменений, преобразовавших наш мир в 30-х гг. В самом деле, первая Русская революция — законная наследница идеалов 1789 г. — покончила с абсолютизмом, феодальным землевладением и национальным гнетом; вторая революция установила социалистическую экономику. В конечном счете первая революция осталась событием русской истории — она завершила долгий процесс развития форм западной цивилизации на русской почве, — тогда как вторая составляла часть процесса всеобщей трансформации, происходившего одновременно во многих странах. На первый взгляд, Россия 20-х гг. стояла в стороне от Европы и в одиночку искала собственного спасения. Более тщательный анализ опровергает эту видимость, ибо среди факторов, заставивших Россию в период между двумя революциями сделать новый выбор, был и кризис мирового порядка. К 1924 г. о «военном коммунизме» уже забыли, Россия восстановила свободный внутренний рынок зерна, сохраняя при этом государственный контроль над внешней торговлей и ключевыми отраслями промышленности. Теперь она упорно стремилась увеличить свою внешнюю торговлю, зависевшую преимущественно от экспорта хлеба, леса, мехов и других сырьевых материалов, цены на которые резко упали в ходе аграрной депрессии, предшествовавшей общему кризису в торговле. Неспособность России развивать экспортную торговлю на выгодных условиях ограничивала ее возможности в импорте машин и оборудования, а следовательно, и в создании национальной промышленности; это, в свою очередь, неблагоприятно повлияло на условия товарообмена между городом и деревней (т. н. «ножницы»), обостряя вражду крестьянства к власти городских рабочих. Таким образом, дезинтеграция мировой экономики усилила давление на паллиативные меры решения аграрного вопроса в России и ускорила создание колхозов. В том же направлении действовала и неспособность традиционной европейской политической системы обеспечить безопасность отдельных государств, ибо она стимулировала потребность в вооружениях, увеличивая тяготы мучительной индустриализации. Отсутствие системы политического равновесия образца XIX в., равно как и неспособность мирового рынка поглотить русскую сельскохозяйственную продукцию, вынудило Россию вступить на путь экономической самодостаточности. Социализм в отдельной стране был порожден неспособностью рыночной экономики обеспечить экономические связи между всеми странами; то, что казалось русской автаркией, было лишь кончиной капиталистического интернационализма.

Распад прежнего мирового порядка освободил энергию истории — путь к этому был проложен внутренними тенденциями рыночного общества.

Цивилизация XIX в. была разрушена не нашествиями внешних или внутренних варваров; ее жизненные силы были подорваны не опустошениями Первой мировой войны, не социалистическими восстаниями пролетариата и не фашистским мятежом мелкой буржуазии. Ее крах не был вызван действием каких-то экономических законов, вроде мнимых законов перепроизводства, недостаточного потребления или падением нормы прибыли. Она распалась вследствие причин совершенно иного характера, а именно различных мер, принимавшихся обществом как раз для того, чтобы избежать полного уничтожения, которым грозил ему механизм саморегулирующегося рынка. Если отвлечься от исключительных условий, существовавших в Северной Америке во времена открытой границы, то придется признать, что конфликт между рынком и элементарными требованиями упорядоченной социальной жизни всецело обусловил динамику эпохи, породив основные виды перегрузок и перенапряжений, которые, в конце концов, и разрушили это общество. Внешние войны лишь ускорили его гибель.

После ста лет слепой погони за «улучшениями» человек принялся восстанавливать свое «жилище». И если мы не хотим, чтобы индустриализм совершенно уничтожил

homo sapiens, мы должны подчинить его требованиям человеческой природы. Рыночное общество заслуживает критики не потому, что оно основывалось на экономике — последняя представляет собой в известном смысле необходимый фундамент любого общества, — а за то, что в основе его экономики лежал принцип эгоизма. Подобная организация экономической жизни является совершенно неестественной и необычной — в строго эмпирическом смысле чего-то

исключительного и уникального. Мыслители XIX в. исходили из предположения, что в своей экономической деятельности человек, как правило, следует тому, что они называли экономической целесообразностью, и что любой его поступок, противоречащий этому принципу, есть результат внешнего вмешательства. Отсюда вытекало, что рынки являются естественным институтом, который, стоит только оставить человека в покое, возникает стихийно, само собой. А значит, не может быть ничего более нормального и естественного, чем экономическая система, состоящая из рынков и подчиненная единственно лишь контролю рыночных цен, а человеческое общество, основанное на такого рода рынках, есть по этой самой причине высшая цель всякого прогресса. И что бы мы ни думали о желательности или нежелательности появления подобного общества с моральной точки зрения, его практическая возможность — это считалось самоочевидным — коренится в неизменных свойствах человеческой природы.

На самом же деле, как нам теперь известно, поведение человека, как в первобытном состоянии, так и на протяжении всей истории цивилизации, представляло собой почти полную противоположность тому, что подразумевается в данной теории. Тезис Фрэнка Х. Найта о том, что «ни один специфически человеческий мотив поведения не является экономическим», справедлив не только в отношении социального бытия в целом, но даже собственно экономической жизни в частности. Склонность к обмену, которую с такой уверенностью положил в основу своего изображения первобытного человека Адам Смит, вовсе не представляет собой распространенную, типичную тенденцию в хозяйственной деятельности человеческих существ, а напротив, есть нечто в высшей степени редкое и исключительное. Данные современной антропологии опровергают эти искусственные рационалистические построения; мало того, реальная история торговли и рынков совершенно отлична от той картины, из которой исходили в своих учениях, где все было так гладко и гармонично, социологи XIX в. Экономическая история свидетельствует о том, что возникновение национальных рынков никоим образом не явилось следствием постепенного и

спонтанного освобождения экономической сферы от правительственного контроля.

И как раз наоборот: рынок стал результатом сознательного, а часто насильственного вмешательства со стороны правительств, которые буквально навязывали рыночную систему обществу, преследуя при этом отнюдь не экономические цели. А саморегулирующийся рынок XIX в. при ближайшем рассмотрении обнаруживает полное несходство даже со своим непосредственным предшественником, поскольку механизм его регулирования опирался на принцип экономического эгоизма.

Врожденный порок общества XIX в. состоял не в том, что оно являлось индустриальным, а в том, что оно было рыночным. Индустриальная цивилизация будет по-прежнему существовать и тогда, когда утопический эксперимент саморегулирующегося рынка уже успеет превратиться не более чем в ужасное воспоминание.

Однако подведение под индустриальную цивилизацию нового, нерыночного, фундамента многим кажется слишком дерзким и рискованным планом, чтобы рассуждать о нем всерьез. Они страшатся институционального вакуума или даже чего-то худшего — утраты свободы. Но разве эти опасности нельзя устранить?

Большая часть самых мучительных страданий, неизбежных в переходный период, уже позади. Мы уже успели пережить самое страшное: социальные и экономические потрясения нашего века, трагические превратности депрессии, колебания валют, массовую безработицу, резкие изменения социального статуса, грандиозное крушение исторических государств. Сами того не сознавая, мы платили цену трансформации. Как бы далеко ни стояло человечество от полной своей адаптации к феномену машинного производства, какие бы серьезные перемены ни ожидали нас в будущем, возврат к прошлому является теперь столь же невыносимым, как и перенесение наших проблем на другую планету. Вместо того чтобы уничтожить демонические силы агрессии и завоевания, подобного рода тщетная попытка лишь позволила бы этим силам уцелеть и сохраниться, даже после их полного военного поражения. Неправое дело получило бы таким образом преимущество, решающее в политике: оно стало бы выражать нечто возможное — в противоположность тем целям, которых невозможно добиться, какими бы прекрасными ни были они сами по себе.

Но крах традиционной системы вовсе не оставил нас в полном вакууме. Не в первый раз в человеческой истории паллиативные средства могут послужить зародышем важных и долговременных институтов.

Внутри государств мы наблюдаем ныне следующий процесс: экономическая система перестает диктовать законы обществу; напротив, общество утверждает свой примат над этой системой. Это может достигаться бесконечно разнообразными методами — демократическими и аристократическими, конституционными и авторитарными, или даже такими средствами, которые сейчас мы совершенно не в силах предвидеть. Будущее одних стран может уже теперь стать настоящим других; некоторые страны могут все еще воплощать прошлое остальных наций. Но конечный итог всюду окажется сходным: рыночная система перестанет быть саморегулирующейся, даже в теории, ибо она уже не будет включать в себя труд, землю и деньги.

Изъятие труда из сферы рынка означает столь же радикальную трансформацию, какой явилось в свое время создание конкурентного рынка труда. За исключением некоторых подчиненных и второстепенных моментов контракт о найме работника утрачивает характер частного соглашения. Не одни лишь условия труда на фабрике, продолжительность рабочего дня и формы договора, но и сам базовый уровень заработной платы определяется вне рынка; функции, которые отводятся таким образом профсоюзам, государству и прочим публичным органам, зависят не только от характера этих институтов, но также и от фактической организации управления производством. Хотя разница в оплате труда различных категорий

работников продолжает, что совершенно неизбежно (и вполне разумно), играть существенную роль в экономической системе, иные мотивы, помимо непосредственно связанных с денежными доходами, могут оказаться гораздо более важными, чем финансовый аспект труда.

Вывести факторы производства — землю, труд и деньги — земли с определенными институтами, такими как крестьянское хозяйство, кооператив, фабрика, мелкая административная единица, школа, церковь, парк, заповедник и так далее. Каким бы распространенным ни оставалось индивидуальное владение фермами, в договорах на владение землей речь может идти лишь о второстепенных деталях, поскольку принципиальные вопросы изъяты из юрисдикции рынка. То же самое относится к основным видам продовольствия и органического сырья, так как рынок лишен возможности устанавливать цены на них. Если же для огромного множества изделий конкурентные рынки продолжают функционировать, то на общественный строй это должно влиять ничуть не больше, чем вне рыночное установление цен на труд, землю и деньги влияет на функцию ценообразования применительно к разнообразным видам продукции. Ясно, что в результате этих мер сам институт собственности претерпевает глубокие изменения, ибо теперь уже нет никакой нужды позволять расти до бесконечности доходам от права собственности для того только, чтобы обеспечить в данном обществе использование его ресурсов, производство и занятость.

Отстранение рынка от контроля над деньгами происходит в наши дни во всех странах. Создание системы депозитов уже позволило в значительной мере осуществить эту задачу, пусть и не ставившуюся сознательно, однако кризис золотого стандарта в 20-е гг. показал, что связь между товарными деньгами и бумажными деньгами вовсе не была разорвана. С момента появления во всех крупных государствах «функциональных финансов» управление инвестициями и регулирование банковского процента стали делом правительств.

Следовательно, вывод основных факторов производства — земли, труда и денег — за пределы рынка является неким единым, однотипным актом лишь с точки зрения самого рынка, который обращался с ними так, как если бы они представляли собой товары. С точки зрения реалий человеческого существования то, что восстанавливается через отказ от товарной функции, относится ко всем сферам социальной жизни. Распад единообразной рыночной экономики уже теперь приводит фактически к возникновению множества новых общественных структур. К тому же конец рыночного общества вовсе не означает отсутствия самих рынков. Последние продолжают самыми разными способами и путями обеспечивать свободу потребления, сигнализировать об изменении спроса, влиять на доходы производителей, наконец, служить инструментом учета — но совершенно утрачивают функцию органа экономического саморегулирования.

Общество XIX в. жестко ограничивалось экономикой не только в методах внутренней политики, но и в международных делах. Сфера стабильных валют совпадала с царством цивилизации. Пока золотой стандарт и превратившиеся по сути в простой логический вывод из него конституционные режимы нормально функционировали, мир сохранялся с помощью механизма равновесия сил. Данный механизм работал при содействии тех великих держав, прежде всего Великобритании, которые были центром мировой финансовой системы и упорно добивались установления представительного правления в менее развитых странах. Это было необходимо для контроля над финансами и валютами стран-должников, а следовательно, и над их бюджетами, обеспечить которые могли единственно лишь ответственные правительства. Подобные аргументы, как правило, не осознавались государственными деятелями с полной ясностью, но только потому, что требования золотого стандарта считались самоочевидными. Единая для всего мира модель финансовых и представительных институтов была результатом жестких законов тогдашней экономической системы. Эта ситуация обусловила особую роль, которую играли в международной жизни XIX в. два принципа, а именно принцип анархического суверенитета и «оправданного»

вмешательства в дела других стран. По видимости несовместимые, они, однако, находились между собой в тесной связи. Суверенитет, разумеется, был чисто политическим термином, ибо в условиях золотого стандарта и нерегулируемой внешней торговли правительства не располагали полномочиями в сфере международной экономики. Они не могли, да и не желали связывать свои страны какими-либо обязательствами в финансовых вопросах — такова была формально-юридическая позиция. В действительности же только те страны, денежная система которых контролировалась центральными банками, считались суверенными государствами. Этот абсолютный и неограниченный национальный денежный суверенитет могущественные западные страны совмещали с его полной противоположностью — безжалостным и неослабным давлением, целью которого было распространить структуру рыночной экономики и рыночного общества на другие территории. В результате к концу XIX в. народы нашей планеты были в институциональном плане унифицированы в неслыханной прежде степени.

Система эта создавала неудобства и затруднения как по причине своей сложности, так и ввиду своей универсальности. Анархический суверенитет, как это с поразительной очевидностью доказала история Лиги Наций, служил препятствием для любых эффективных форм международного сотрудничества; а принудительное единообразие внутренних порядков постоянно угрожало свободе выбора путей национального развития, особенно в отсталых странах, а порой даже в достаточно развитых, но финансово слабых. Экономическое сотрудничество ограничивалось частными институтами, столь же хаотичными, бессистемными и неэффективными, как свободная торговля, тогда как о реальном сотрудничестве между народами, то есть между правительствами, невозможно было и мечтать.

Сложившаяся ситуация способна поставить перед внешней политикой две, казалось бы, несовместимые задачи: она потребует гораздо более тесного сотрудничества между дружественными странами, чем то, которое можно было вообразить в условиях государственного суверенитета XIX в.; но в то же самое время существование регулируемых рынков заставит национальные правительства относиться к любому внешнему вмешательству с большей настороженностью, чем когда-либо прежде. Однако с исчезновением автоматического механизма золотого стандарта правительства смогут отбросить самый неудобный элемент абсолютного суверенитета — отказ от сотрудничества в сфере международной экономики. В то же время появится возможность относиться с терпимостью к стремлению других стран строить свои внутренние институты по собственному разумению, что позволит человечеству возвыситься над пагубной догмой XIX в. о необходимости безусловного единообразия внутренних систем в рамках мировой экономики. Уже сейчас можно видеть, как на развалинах старого мира возникает фундамент мира нового — экономическое сотрудничество правительств и свобода отдельных стран устраивать свою жизнь по собственной воле. При системе свободной торговли с ее путами и ограничениями и то и другое было просто немыслимым, что заранее исключало множество форм сотрудничества между ними. И если в эпоху рыночной экономики и золотого стандарта в идее федерации справедливо видели кошмар жестокой централизации и принудительного единообразия, то конец рыночной экономики может означать совмещение внутренней самостоятельности с эффективным сотрудничеством.

Проблема свободы встает перед нами на двух совершенно несходных уровнях. Первый задан балансом между ростом одних и ограничением других свобод, и каких-либо принципиально новых вопросов здесь не возникает. На втором уровне, как мы убедимся, сама возможность свободы оказывается под угрозой.

На первом уровне невозможно обнаружить сколько-нибудь устойчивого равновесия между приобретенными и утраченными свободами. Обреченное исчезнуть, право работодателя нанимать и выгонять работника по собственной воле являлось логическим следствием рынка труда не в меньшей мере, чем столь же отжившее право работника отказываться от работы

без объяснения причин. Подобного рода права, означающие чистый произвол, будут признаваться не больше, чем право собственника земли злоупотреблять ею. В международной сфере абсолютный суверенитет также нередко означал свободу для одних и рабство для других. Регулирование, в конечном счете, и расширяет и ограничивает свободу. Здесь возникают серьезные и сложные вопросы политического характера, но смысл свободы как таковой проблемой не становится.

Между тем на более глубоком уровне сама возможность свободы кажется сегодня далеко не очевидной. Ответ на этот мучительный вопрос должно дать содержание настоящей книги.

Вплотную приблизившись, как можно было подумать, к достижению внутренне несостоятельных идеалов, таких как общество, в котором отсутствуют власть и принуждение, и мир, где нет места применению силы, рыночная экономика породила несбыточные надежды. Возникшее таким образом иллюзионистское отношение к реальности постулировало возможность общества, управляемого единственно лишь человеческими желаниями, тогда как неустрашимые альтернативы социального бытия и даже фундаментальный факт неизбежности самого общества выпали из поля зрения. Институциональное отделение политики от экономики предполагало отрицание важности политической сферы, ибо экономику отождествляли с контрактными отношениями — якобы единственным подлинным царством свободы. Все прочее было объявлено аномалией и злоупотреблением.

Отвергнув либеральную утопию, мы оказались лицом к лицу с реальностью. Власть и стоимость являются ее необходимыми элементами, и ни один индивид не способен самоустраниться от контакта и взаимодействия с ним. Функция власти — обеспечивать единство и согласованность, необходимые для выживания данной группы; ее основной источник — наличные убеждения, а кто может совершенно обойтись без тех или иных убеждений? Функция экономической стоимости — гарантировать полезность производимых товаров; это своего рода печать, скрепляющая разделение труда в обществе. Ее источник — человеческие потребности и недостаток тех или иных вещей, а можно ли ожидать, что человек не станет желать чего-то больше, чем другого? Но любое убеждение или желание с неизбежностью делают его причастным к созданию власти и возникновению стоимости. Иной результат здесь просто немыслим.

Власть и стоимость образуют исходную парадигму социальной действительности, которая не есть продукт человеческой воли. Рыночное сознание способно было сохранять свою иллюзию свободы лишь потому, что не желало видеть более важных последствий индивидуальных поступков. Но ведь способ функционирования институциональных механизмов не зависит от наших желаний. Рыночная система — это мнимое царство свободы — состоит из своевольных винтиков, действия которых, однако, подчинены столь же строгим правилам, как законы геометрии. В обществе, образующем единый организм, истина эта становится вполне очевидной, а иллюзия свободы исчезает. Именно на этом уровне проблема свободы и должна найти свое решение.

В условиях нынешнего кризиса первостепенная роль ценностей определяется самой сложившейся ситуацией. Экономическая концепция общества отомрет вместе с дихотомией политики и экономики, которую она отражала; только в экономическом обществе либерального типа концепция групповых интересов и групп давления могла получить моральное оправдание. Но любая концепция, основанная на идее общества как целого, выражает понятие человеческой жизни, а следовательно, является идеологической по определению. Утверждая примат идеалов в нынешней трансформации, мы лишь защищаем постулат единства общества как центральный момент кризиса.

Различия между фашизмом, социализмом и любыми иными соперничающими мировоззрениями не являются сегодня по преимуществу экономическими. Даже там, где они

исповедуют тождественные экономические взгляды, они не только не совпадают, но, по сути, представляют собой воплощение противоположных принципов. И главное, в чем они расходятся, это, опять же, их отношение к свободе. Предшествовавшие нынешней катастрофе события и сама катастрофа заставили нас осознать реальность общества так же ясно, как осознаем мы реальность смерти. Основной вопрос, разделяющий людей, заключается теперь лишь в следующем: можно ли в свете этого нового знания отстаивать идею свободы; существует ли вообще свобода в сложном обществе или это всего лишь коварное искушение, способное погубить человека и все плоды его трудов?

Мы упомянули то, что составляет, на наш взгляд, фундаментальные характеристики духовного мира западного человека: знание о смерти, знание о свободе и знание об обществе. Первое, согласно еврейскому преданию, было открыто людям в истории из Ветхого Завета. Второе было дано западному человеку через открытие абсолютной уникальности личности в учении Христа, каким оно известно по Новому Завету. Третье откровение достигло нас через жизнь в индустриальном обществе. Оно является составной частью сознания современного человека.

Первым, кто понял в индустриальную эпоху, что христианство отрицает реальность общества, был Роберт Оуэн. Он назвал это «индивидуализацией человека церковью» и, кажется, думал, что лишь в кооперативном государстве можно будет преодолеть пропасть между человеком и «всем тем, что есть по-настоящему ценного в христианстве». Оуэну дано было осознать, что человечество уже перерастает духовные горизонты христианства, ибо та свобода, которая открылась людям через проповедь Христа, неприложима к индустриальному обществу. Социализм Роберта Оуэна выражал стремление человека к свободе в подобном обществе. Началась постхристианская эра западной цивилизации.

Фашизм ответил на реальность общества по-своему: он отверг второе откровение, отбросил христианское открытие индивидуальности человека и универсальности человечества. Это радикальное отречение от свободы есть коренная причина его порочного, дегенеративного характера. И если мы не хотим, чтобы индустриальная цивилизация погибла или встала на путь, ведущий к вырождению, нам следует признать абсолютную необходимость фундаментальной перестройки человеческого сознания. Только так можно спасти свободу. Открытие общества есть подлинный якорь спасения для свободы. Человеческое сознание родилось из ограничений, которым подчинился человек. Он принял реальность смерти и на этом построил свою телесную жизнь; он смирился с тем, что есть нечто большее, чем телесная смерть, и на этой истине утвердил свою свободу; в наше время он столкнулся с реальностью общества, которая отнимает у него подобную свободу. Примирившись с этой реальностью, как когда-то — с фактом смерти, он обретает духовную зрелость, а с ней — способность жить в индустриальном обществе как человеческое существо. Ибо это последнее ограничение также несет с собой новое прозрение: лишившись прежней свободы, мы постигаем, что она была простой иллюзией, тогда как свобода, завоеванная нами теперь, реальна. Таков наш нынешний удел. Роберт Оуэн сказал однажды в минуту вдохновения: «Если обнаружится, что какие-либо причины зла неустранимы с помощью новых возможностей, которыми вскоре будет обладать человечество, то люди поймут, что причины эти необходимы и неизбежны, и все глупые ребяческие жалобы на этот счет умолкнут». Таков смысл свободы в сложном обществе.

Примечания к источникам

Равновесие сил как политика, как исторический закон, как принцип и система

1. Политика равновесия сил. Равновесие сил как

политика есть английская национальная традиция. Она имеет чисто прагматический характер, связанный с реальными фактами, а не отвлеченными теориями, и ее не следует смешивать ни с

принципом, ни с

системой равновесия сил. Эта политика была обусловлена географическим положением Англии — острова, который находился близ континентального побережья, занятого организованными политическими образованиями. «В эпоху своего становления английская школа дипломатии, от Уолси до Сесила, проводила политику

равновесия сил как единственный для Англии шанс обеспечить безопасность перед лицом формировавшихся тогда крупных континентальных государств», — пишет Тревельян. Курс этот прочно утвердился при Тюдорах; впоследствии его придерживались сэр Уильям Темпл, Каннинг, Пальмер-стон и сэр Эдуард Грей. Он почти на два столетия опередил появление системы равновесия сил на континенте и в своем развитии был совершенно независим от континентальных источников доктрины равновесия сил как принципа, выдвигавшегося Фенелоном или Ваттелем. Тем не менее формирование подобной системы весьма содействовало английской внешней политике, так как оно в конечном счете облегчало Англии задачу организации союзов против любой державы, занимавшей ведущее положение на континенте. По этой причине британские государственные деятели склонны были поддерживать представление о том, что английская политика равновесия сил является, по сути, простым выражением принципа равновесия сил и что, следуя подобной политике, Англия лишь выполняет свою функцию в основанной на этом принципе системе. Нельзя, однако, сказать, что они преднамеренно затушевывали различие между собственно английской политикой и любым принципом, способным помочь ее осуществлению. Сэр Эдуард Грей в своей книге «Двадцать пять лет» писал: «Великобритания не выступает в теории против преобладания какой-либо сильной группы государств в Европе, пока есть основания думать, что оно служит делу мира и стабильности. И поначалу Англия, как правило, бывает готова поддерживать подобную политическую комбинацию. Лишь тогда, когда доминирующая держава становится на путь агрессии и Англия чувствует, что ее собственные интересы оказываются под угрозой, лишь тогда, движимая инстинктом самообороны, если не продуманным принципом политики, она постоянно переходит к чему-то такому, что можно более или менее точно охарактеризовать как политику равновесия сил».

Таким образом, Англия содействовала становлению на континенте системы равновесия сил и поддерживала ее принципы, руководствуясь собственными законными интересами. Подобный курс был элементом ее политики. Путаница, порожденная этим частичным совпадением двух в основе своей различных значений термина «равновесие сил», с очевидностью выступает в следующих цитатах. В 1787 г. Фокс гневно вопрошал правительство: «Неужели Англия более не способна поддерживать европейское равновесие и к ней уже нельзя прибегать за помощью как к главному защитнику европейских свобод?» Роль гаранта системы равновесия сил в Европе он требовал признать законной миссией Англии. А четыре года спустя Берк характеризовал эту систему как «публичное право Европы», действующее, как он думал, уже в течение двух столетий. Подобного рода риторические отождествления английской внешней политики с европейской системой равновесия сил, естественно, затрудняли американцам четкое различение двух концепций,

вызывавших у них одинаковое неприятие.

2. Равновесие сил как исторический закон. Другое понимание равновесия сил основывается непосредственно на природе силовых единиц. В Новой Европе его впервые сформулировал Давид Юм. В эпоху почти полного упадка политической мысли, наступившую после промышленной революции, его достижение было забыто. Юм осознал политическую природу этого феномена, подчеркнув его самостоятельность по отношению к факторам психологического и морального порядка. Закон равновесия работает независимо от мотивов действующих лиц, пока эти последние ведут себя как носители силы. Что бы ни служило для них побудительным мотивом, «ревнивое соперничество или благоразумная осторожность», опыт, полагал Юм, демонстрирует, что следствия оказываются одинаковыми. А. Ф. Шуман пишет: «Допустим, что существует некая система государств, состоящая из трех единиц, — А, В и С. В таком случае ясно, что рост могущества любой из них приведет к ослаблению двух других». Отсюда он заключает, что равновесие сил «в его простейшей форме призвано защищать независимость каждого элемента данной системы государств». Он вполне мог бы обобщить свой тезис, применив его к любым видам силовых единиц, как входящим, так и не входящим в упорядоченные политические системы. Именно так, в сущности, закон равновесия сил и проявляется в социологии истории. Тойнби в

Постижении истории указывает на то обстоятельство, что силовые единицы обнаруживают тенденцию к экспансии скорее на периферии силовых групп, нежели в центре, где давление бывает максимальным.

Соединенные Штаты, Россия и Япония, так же как и британские доминионы, достигли колоссального расширения своей территории в ту самую эпоху, когда в Западной и Центральной Европе даже незначительные территориальные изменения были практически невозможны. На исторический закон сходного типа ссылается Пиренн. Он отмечает, что в сравнительно неорганизованных сообществах главный очаг сопротивления натиску извне возникает обычно в районах, наиболее удаленных от могущественного соседа. В пример он приводит создание Франкского королевства Пипином Геристальским на далеком севере и превращение Пруссии в организующий центр для германских государств. Другой закон подобного рода можно усмотреть в бельгийском законе Де Греефа о буферном государстве, который, судя по всему, повлиял на школу Фредерика Тернера и породил концепцию Американского Запада как «движущейся Бельгии». Концепция равновесия и дисбаланса сил не зависит от моральных, юридических или психологических теорий и представлений. Они трактуют единственно лишь о силе, в чем и проявляется их чисто политическая природа.

3. Равновесие сил как принцип и как система. Как только человеческий интерес начинает считаться законным, из него выводятся принципы политического поведения. После 1648 г. заинтересованность европейских государств в

status quo, зафиксированном в Мюнстерском и Вестфальском договорах, была признана официально, и подписавшие их государства приняли на себя солидарную ответственность за его сохранение. Договор 1648 г. был подписан практически всеми европейскими державами, которые и объявили себя его гарантами. К нему восходит международное признание Нидерландов и Швейцарии в качестве суверенных государств. Отныне государства Европы были вправе считать, что любое серьезное изменение

status quo должно соответствовать интересам всех. Это была зачаточная форма равновесия сил как принципа семьи наций. По этой причине ни одно государство, действующее в соответствии с данным принципом, не должно было считаться повинным во враждебных действиях по отношению к той державе, которую оно, справедливо или нет, подозревало в намерении нарушить

status quo. Естественно, подобное положение дел должно было чрезвычайно облегчить

создание коалиций, выступающих против таких нарушений. И однако, лишь по прошествии семидесяти пяти лет этот принцип был определенно признан в Утрехтском договоре, когда «ad conservandum in Europa equilibrium»[99] владения испанской короны были поделены между Бурбонами и Габсбургами. Благодаря его формальному признанию Европа постепенно превратилась в

систему, основанную на данном принципе. А поскольку прямое поглощение (или фактическое подчинение) мелких государств крупными привело бы к нарушению равновесия сил, то эта система косвенным образом гарантировала независимость малых стран. Какой бы смутной и неопределенной ни была политическая структура Европы после 1648 г. и даже после 1723 г., сохранение всех европейских государств, как больших, так и малых, на протяжении примерно двухсот лет можно отнести на счет системы равновесия сил. Именем ее велись бесчисленные войны, и хотя все они без исключения имели своей причиной соображения силы и могущества, результат во многих случаях оказывался таким, как будто их участники руководствовались принципом коллективной гарантии против актов неспровоцированной агрессии. Невозможно объяснить иначе тот факт, что столь слабые политические образования, как Дания, Голландия, Бельгия и Швейцария, продолжали существовать в течение столь долгого времени, несмотря на громадную мощь угрожавших их границам держав. Различие между принципом как таковым и основанной на нем организацией, т. е. системой, вполне очевидно. И все же мы не должны недооценивать эффективность принципов даже на их «до-организованной» стадии, иначе говоря, тогда, когда они еще не успели превратиться в особые институты, а лишь выступали в роли общих ориентиров, неформальных регуляторов политических нравов и обычаев. Даже без официально признанного центра, регулярных конгрессов, общих функционеров и обязательного для всех кодекса поведения Европа сумела превратиться в упорядоченную систему государств — и произошло это исключительно благодаря непрерывным тесным контактам между представителями дипломатического корпуса. Строгая традиция регулировала всевозможные запросы, демарши, ноты и меморандумы, вручавшиеся совместно или по отдельности, формулировавшиеся в тождественных или несхожих терминах; все эти формы дипломатической деятельности представляли собой средства выражения тех или иных связанных с проблемой равновесия сил ситуаций, позволявшие не доводить дело до кризиса, в то же время они открывали новые возможности для поиска компромисса или, если переговоры в конечном счете заходили в тупик, для определенного рода совместных действий. Право совместного вмешательства в дела малых государств в случае возникновения угрозы для законных интересов великих держав означало по сути существование европейской директории в ее доинституциональной форме.

Самой, пожалуй, прочной опорой этой неформальной системы была громадная по своим масштабам международная частная коммерческая деятельность, очень часто осуществлявшаяся в рамках каких-нибудь торговых договоров или с помощью иных международных институтов, эффективность которых обеспечивалась обычаем и традицией. Эти международные деловые связи бесчисленным множеством самых разнообразных финансовых, экономических и юридических нитей опутывали правительства отдельных государств и их влиятельных граждан. Локальная война означала всего лишь кратковременный разрыв некоторых из них, тогда как огромная масса интересов, связанных с прочими сделками и операциями, остававшимися, по крайней мере, на известный срок, незатронутыми этим событием, несоизмеримо превосходила те связи, отказ от которых неверная военная фортуна могла бы обратить в ущерб врагу. Это бесшумное давление частных интересов, которые пронизывали всю жизнь цивилизованных обществ и не признавали государственных границ, и являлось незримым фундаментом сложнейшей системы международной взаимозависимости, обеспечивая таким образом принцип равновесия сил эффективными санкциями, даже тогда, когда сам этот принцип еще не достиг упорядоченной формы Европейского концерта или Лиги Наций.

Равновесие сил как исторический закон

Hume D. On the Balance of Power. Works. Vol. HI (1854). P. 364;

Shaman F. International Politics (1933). P. 55;

Toynbee A. J. Study of History. Vol. III. P. 302;

Pirenne H. Europe from the Fall of the Roman Empire to 1600 (Engl. 1939), Barnes-Becker, on De Greef; Vol. II. P. 871.

Hofmann A. Das Deutsche Land und die deutsche Geschichte (1920), а также геополитическая школа Хаусхофера. На противоположном полюсе:

Russel B. Power, Lasswell's Psychopathology and Politics; World Politics and Personal Insecurity и другие работы. См. также:

Rostovtzeff. Social and Economic History of the Hellenistic World. Ch. 4, Part I.

Равновесие сил как система

Mayer J. P. Political Thought (1939). P. 464;

Vattel. Le droit des gens (1758);

Hershey A. S. Essentials of Internatinal Public Law and Ozganization (1927). P. 567–69;

Oppenheim L. International Law;

Heatley D. P. Diplomacy and the Study of International Relations (1919).

Столетний мир

Leathes. Modern Europe. Cambridge Modern History. Vol. XII, Ch. I;

Toynbee A. J. Study of History. Vol. IV. P. 142–53.

Shaman F. International Politics, BK. Ch. 2;

Clapham J. H. Economic Development of France and Germany, 1815–1914. P. 3;

Robbins L. The Great Depression (1934). P. 1;

Lippmann W. The Commerce in Modern Times;

Knowles L. C.

A. Industrial and Commercial Revolution in Great Britain during the 19th Century (1927);

CarrE. H. The 20 Years' Crisis 1919–1939. (1940);

Crossman R. H. S. Government and Governed (1939). P. 225.

Hawtrey R. G. The Economic Problem (1925). P. 265.

Багдадская железная дорога

Конфликт, якобы урегулированный британо-германским соглашением от 15 июня 1914 г.:

Buell /?.

L. International Relations (1929);

Hawtrey R. G. The Economic Problem (1925);

Mowat R. B. The Concert of Europe (1930). P. 313.

Stolper G. This Age of Fable (1942). Противоположный взгляд:

Fay S. B. Origins of the World war. P. 312.

Feis H. Europe, The World's Banker, 1870–1914. (1930). P. 335 ff.

Европейский концерт

Langer W. L. European Alliances and Alignments (1871–1890). (1931);

Sontag R. /. European Diplomatic History (1871–1932). (1933);

Onken H. The German Empire // Cambridge Modern History. Vol. XII;

Mayer J. P. Political Thought (1939). P. 464.

Mowat R. B. The Concert of Europe (1930). P. 23;

Phillips W.A. The Confederation of Europe 1914 (2d ed., 1920);

Lasswell H. D. Politics. P. 53;

Muir R. Nationalism (1917). P. 176;

Buell R. L. International Relations (1929). P. 512.

Столетний мир

1. Факты. За сто лет с 1815 до 1914 г. великие державы Европы воевали друг с другом в течение лишь трех кратких периодов: шесть месяцев в 1859 г., шесть недель в 1866 г. и девять месяцев в 1870–1871 гг. Крымская война, продолжавшаяся ровно два года, имела периферийный и полукOLONиальный характер, с чем соглашаются и такие историки, как Клепхем, Тревельян, Тойнби и Бинкли. (Между прочим, во время этой войны в Лондоне по-прежнему имели хождение русские облигации, принадлежавшие британским владельцам.) Периодически вспыхивающие всеобщие войны и полное отсутствие всеобщих войн — таково основное различие между XIX в. и предшествовавшими столетиями. Утверждение генерал-майора Фуллера о том, что в XIX в. не было ни единого года, когда бы ни шла какая-нибудь война, представляется несерьезным. А Куинси Райт, сопоставляя количество военных лет в разных веках без учета различия между всеобщими войнами и войнами

локальными, обходит, на наш взгляд, наиболее существенный вопрос.

2. Проблема. Прежде всего следует объяснить прекращение почти непрерывных торговых войн между Англией и Францией, служивших благодатной почвой для возникновения войн общеевропейских. Оно было связано с двумя причинами из области экономической политики: закатом старой колониальной империи и началом эры свободной торговли, которая перешла в эпоху международного золотого стандарта. С развитием новых форм торговли военный интерес стремительно угасал, и в то же самое время новые международные валютные и кредитные структуры, неотделимые от золотого стандарта, порождали вполне очевидную заинтересованность в сохранении мира. Интересы экономики целых государств были теперь прямо связаны с поддержанием стабильности валют и нормального функционирования мировых рынков, от которых зависели доходы и занятость. На смену традиционному экспансионизму пришла антиимпериалистическая тенденция, почти полностью преобладавшая в политике великих держав вплоть до 1880 г. (Об этом у нас идет речь в главе 18.)

Тем не менее, как нам кажется, можно говорить о более чем полувековом промежутке (1815–1880) между эпохой торговых войн, когда считалось само собой разумеющимся, что внешняя политика должна служить выгодам коммерции, и позднейшим периодом, когда забота об интересах непосредственных инвесторов и держателей заграничных облигаций рассматривалась как прямая обязанность министерств иностранных дел. Именно в эти промежуточные полвека сложилась доктрина, исключавшая всякое влияние интересов частного бизнеса на внешнюю политику, и лишь только к концу данного периода дипломаты вновь стали считать подобные притязания допустимыми — правда, с некоторыми строгими ограничениями и оговорками, отражавшими новую тенденцию в общественном мнении. Мы полагаем, что эта перемена объяснялась характером торговли, объем и успех которой в условиях XIX в. уже не зависели от прямой политики силы, и что постепенный возврат к практике влияния бизнеса на внешнюю политику был вызван тем фактом, что международная валютная и кредитная система создали новый тип деловых интересов, стоявших выше государственных границ. Но пока подобные интересы оставались лишь интересами держателей иностранных облигаций, правительства крайне неохотно предоставляли им малейшее право голоса в этих вопросах, ибо иностранные займы долго считались чисто спекулятивным предприятием в самом строгом смысле слова; гарантированным источником законных доходов служили, как правило, внутренние государственные облигации, и ни одно правительство не считало достойным себя делом поддержку своих подданных в их чрезвычайно рискованных затеях по кредитованию чужеземных правительств сомнительной репутации. Каннинг решительно отверг назойливые просьбы инвесторов, ожидавших, что британский кабинет примет близко к сердцу их заграничные убытки, и категорически отказался поставить признание латиноамериканских республик в зависимость от признания самими этими республиками своих внешних долгов. Знаменитый циркуляр Пальмерстона (1848) стал первым признаком изменения данной позиции, но перемены эти не зашли слишком далеко, ибо деловые интересы торгово-промышленного класса были столь широкими и повсеместными, что правительство едва ли могло позволить каким-либо незначительным интересам отдельных групп осложнять и запутывать ведение дел по управлению громадной империей. Новое включение заграничных коммерческих операций в сферу забот внешней политики явилось прежде всего следствием завершения этой эпохи свободной торговли и вызванного им возврата к методам XVIII в. Но поскольку торговля оказалась теперь тесно связанной с заграничными инвестициями уже не спекулятивного, а совершенно нормального типа, то внешняя политика вернулась к своим традиционным принципам, иначе говоря, вновь стала на службу торговым интересам нации. В объяснении нуждался не этот факт, а отсутствие чего-то подобного в период 1815–1880 гг.

Разрыв золотой нити

Крах золотого стандарта был ускорен искусственной стабилизацией национальных валют. Инициатором этой стабилизации стала Женева, через которую лондонский Сити и Уолл-стрит оказывали давление на финансово слабые государства.

Первой группой стран, прошедших через процесс стабилизации, были побежденные государства, чьи валюты рухнули после Первой мировой войны. Во

вторую группу входили европейские державы-победительницы, стабилизировавшие свои валюты в основном уже после первой группы.

Третью группу составляли Соединенные Штаты, которые главным образом и оплачивали подобную политику.

Тяжесть дисбаланса

первой группы некоторое время несла вторая. Как только

вторая группа также стабилизировала свою валюту, она в свою очередь стала нуждаться в поддержке, которую оказала ей третья. В конце концов именно

третья группа, состоявшая из Соединенных Штатов, более всего пострадала из-за постепенно накапливавшегося дисбаланса европейской стабилизации.

Движения политического маятника после Первой мировой войны

Движения политического маятника после Первой мировой войны были стремительными и повсеместными, но амплитуда оказалась незначительной. В огромном большинстве стран Центральной и Восточной Европы период с 1918 по 1923 г. принес с собой простую консервативную реставрацию, наступившую вслед за демократической (или социалистической) республикой, результатом военного поражения; несколько лет спустя, и опять же практически всюду, к власти пришли однопартийные правительства.

Финансы и мир

О политической роли международных финансов в послевоенные полвека нет почти никаких материалов. Корти в своей книге о Ротшильдах ограничился эпохой, предшествовавшей Европейскому концерту. Такие темы, как участие Ротшильдов в покупке акций Суэцкого канала, предложение Бляйродеров о финансировании французской военной контрибуции 1871 г. посредством международного займа или крупные сделки времен строительства Восточной железной дороги, в нее не вошли. В исторических трудах, например у Лангера и Зонтага, международным финансам уделяется крайне незначительное внимание (последний, перечисляя факторы, способствующие миру, не упоминает о финансах); едва ли не единственное исключение здесь — замечания Литса в

Кембриджской Новой Истории. Неакадемические либеральные критики, например Лисис во Франции или Дж. А. Хобсон в Англии, обличали финансистов за недостаток патриотизма либо за их склонность к поддержке протекционистских и империалистических тенденций в ущерб свободной торговле. В марксистских трудах, таких как исследования Гильфердинга и Ленина, всячески подчеркивалось происхождение сил империализма от национальных банковских

систем и их органическая связь с тяжелой промышленностью. Подобный тезис относится главным образом к одной лишь Германии, а кроме того, он, естественно, ничего не способен прояснить в сфере международных финансовых интересов.

Влияние Уолл-стрита на события 20-х гг., по-видимому, еще не отошло в прошлое настолько, чтобы мы могли рассчитывать на его объективный анализ. Едва ли, однако, возможны какие-либо сомнения в том, что в целом это влияние, начиная со времени послевоенных мирных договоров вплоть до плана Дауэса, плана Юнга и ликвидации репараций в эпоху Лозанны и после нее, склоняло чашу весов международной политики в пользу сдержанности и примирения. Авторы новейших работ склонны оставлять в стороне проблему частных инвестиций. Стейли, например, сознательно исключает из своего анализа правительственные займы, предоставленные как другими правительствами, так и частными инвесторами, — ограничения, делающие фактически невозможным для автора этого интересного исследования какую-либо общую оценку роли международных финансов. Замечательное изложение Файса, которому мы чрезвычайно многим обязаны, ближе подходит к целостному охвату предмета, но оно также страдает из-за неизбежной скудости своей документальной базы, ведь архивы

haute-finance все еще остаются недоступными для ученых. То же обстоятельство не могло не отразиться и на результатах ценного труда Эрла, Ремера и Вайнера.

К главе 4

Отдельные ссылки к главе «Общества и экономические системы»

XIX в. попытался сделать фундаментом саморегулирующейся экономической системы мотив личной выгоды. Мы считаем, что подобная затея была обречена на провал в силу самой природы вещей. Здесь же нас интересует лишь то искаженное представление о жизни и обществе, которое лежало в основе такого подхода. Мыслители XIX в. несколько не сомневались, что для человека «естественно» вести себя, подобно торговцу на рынке, а любой другой образ действий есть искусственное экономическое поведение, результат внешнего вмешательства в сферу врожденных человеческих склонностей; что рынки возникают стихийно, стоит лишь оставить людей в покое; что независимо от желательности подобного общества с точки зрения морали практическая возможность его создания коренится в неизменных свойствах человеческой природы, и т. д. Результаты новейших исследований в различных областях общественных наук, таких как социальная антропология, первобытная экономика, история ранних цивилизаций и общая экономическая история, почти полностью противоречат этим утверждениям. Едва ли во всей философии экономического либерализма можно найти такое антропологическое предположение, молчаливо подразумеваемое или ясно высказанное, которое не оказалось бы совершенно опровергнутым. Приведем некоторые цитаты.

а) Мотив корысти не является для человека «естественным». «Отсутствие какого-либо стремления извлекать выгоду из производства или обмена — характерная черта первобытной экономики»

(Thunwald. Economic in Primitive Communities. 1932. P. XIII). Еще одно представление, которое следует отбросить раз и навсегда, это концепция Первобытного Экономического Человека, столь популярная в иных современных руководствах по экономике

(Malinowski. Argonauts of the Western Pacific. 1930. P. 66). Мы должны отвергнуть Idealtypen манчестерского либерализма, которые не только теоретически несостоятельны, но и в историческом плане неверны

(Brinkmann. Das soziale System des Kapitalismus. In Grundriss der Sozialökonomik. Abt. IV. P. 11).

б) Ожидание вознаграждения за труд не является для человека «естественным».

«Выгода, которая нередко служит стимулом к труду в более цивилизованных обществах, никогда не выступает в роли побудительного мотива к работе в естественных условиях туземного существования»

(Malinowski. Op. cit. P. 156). «В первобытных обществах, еще не испытавших внешнего воздействия, мы нигде не обнаруживаем, чтобы труд был связан с идеей платы»

(Lowie. Social Organization. Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. XIV. P. 14). «Труд нигде не является объектом продажи или найма»

(Thunwald. Die menschliche Gesellschaft. Bk. III. 1932. P. 169). «Отношение к труду как к обязанности, выполнение которой не предполагает особого вознаграждения...» является общепринятым

(Firth. Primitive Economics of the New Zealand Maori. 1929). «Даже в Средневековье плата за труд посторонним людям была чем-то неслыханным». «Посторонний, чужак не связан с данным коллективом

личными узами долга, а значит, ему следует работать исключительно ради почета и одобрения». Менестрели, будучи чужаками, «тем не менее принимали плату и потому вызывали презрение»

(Lowie. Op. cit.)

в) Ограничение трудовых усилий неизбежным минимумом не является для человека «естественным».

«Нельзя не заметить, что работа никогда не ограничивается неизбежным минимумом, но превосходит абсолютно необходимое количество; причина тому — врожденное человеку или приобретенное им стремление к деятельности как таковой»

(Thunwald. Economics. P. 209). «Труд всегда имеет тенденцию выходить за пределы строго необходимого»

(Thunwald. Die menschliche Gesellschaft. P. 163).

г) Обычными стимулами к труду являются не выгода и корысть, а отношения взаимности, соревнование, удовольствие от работы и общественное одобрение.

Взаимность: «Мы обнаруживаем, что большинство, если не все экономические акты, входят в какую-то сложную цепь подарков и ответных подарков, которые, в конечном счете, уравнивают друг друга, принося одинаковую пользу обеим сторонам... Человек, который в своем экономическом поведении будет постоянно нарушать традиционные нормы, вскоре окажется за пределами существующего общественного и экономического порядка — и он сам

прекрасно это создает»

(Malinowski. *Crime and Custom in Savage Society*. 1926. P. 40–41).

Соревнование: «Соревнование является весьма упорным; работа, хотя и совпадающая по конечной цели, бывает различной по качеству выполнения... Стремление к совершенству в воспроизведении установленных образцов»

(Goldenwieser. *Loose Ends of Theory on the Individual, Pattern, and Involution in Primitive Society*. In *Essays in Anthropology*. 1936. P. 99). «Когда туземцы несут в сад большие колья или уносят собранный урожай ямса, они стремятся превзойти друг друга в скорости, усердии и тщательности работы, в величине тяжести, которую они способны поднять»

(Malinowski. *Argonauts*. P. 61).

Удовольствие от работы: «Работа ради самой работы — устойчивая черта хозяйственного уклада маори»

(Firth. *Some Features of Primitive Industry*. E. J. Vol. I. P. 17). «Масса времени и труда посвящается эстетическим целям: сад тщательно очищают от всякого мусора, чтобы он радовал глаз аккуратным и ухоженным видом, ставят красивые и прочные изгороди, заготавливают особо крепкие и большие колья для ямса и т. п. В известном смысле все это нужно для выращивания растений; несомненно, однако, что усердие туземцев простирается далеко за пределы строго необходимого»

(Malinowski. *Op. cit.* P. 59).

Общественное одобрение: «Совершенство в искусстве садоводства — обычный критерий социальной ценности человека»

(Malinowski. *Coral Gardens and Their Magic*. Vol. II. 1935. P. 124). «Каждый член общины должен демонстрировать определенную степень прилежания» (Firth. *Primitive Polynesian Economy*. 1939. P. 161). «Жители Андаманских островов считают лень антиобщественным качеством»

(Rotcliffe, Brown. *The Andaman Islanders*). «Предоставлять свой труд в распоряжение другого — не просто экономический акт, но социальная услуга»

(Firth. *Op. cit.* P. 303).

д) История не изменяет человеческую природу.

Линтон в своем

Исследовании человека предостерегает от увлечения психологическими теориями личностной детерминации; он пишет, что «результаты наблюдений всюду приводят к выводу, что диапазон этих типов во всех обществах примерно одинаков... Иными словами, как только наблюдатель проникает сквозь завесу культурных различий, ему становится ясно, что в наиболее существенном эти народы похожи на нас» (P. 484). Турн-вальд подчеркивает внутреннее сходство людей на всех стадиях развития человечества: «В плане человеческих отношений описанная выше первобытная экономика не отличается от любой иной формы экономики; в основе ее лежат те же универсальные принципы социальной жизни» (*Economics*. P. 288). «Некоторые коллективные эмоции простейшего характера являются общими для всех людей; они объясняют постоянное повторение сходных ситуаций в их социальном бытии» (*Sozialpsychischen Abläufe im Völkerleben*. In *Essays in Anthropology*. P. 383).

Модели культуры Рут Бенедикт построены по существу на аналогичном предположении: «Я

рассуждала, исходя из того, что человеческий характер остается в общем неизменным, что во всех обществах основные человеческие типы распределены в принципе примерно одинаково и что культура, действуя согласно своим традиционным парадигмам, проводит отбор этих и добивается того, что подавляющее большинство индивидов соответствует тому или иному из них. Например, опыт транс, согласно данной интерпретации, потенциально доступен определенному числу лиц в любом обществе. Там, где это состояние приносит почет и вознаграждение, многие его достигают или симулируют...» (Р. 233). Сходную точку зрения последовательно проводил в своих работах и Малиновский.

е) Экономические системы, как правило, входят в систему социальных связей; распределение материальных благ обеспечивается неэкономическими мотивами.

Первобытная экономика представляет собой «социальный феномен; она имеет дело с индивидами как взаимозависимыми элементами единого целого»

(Thurnwald. Economics. P. XII). Сказанное в равной мере относится к богатству, труду и обмену. «Богатство в первобытном обществе имеет не экономическую, а социальную природу» (Ibid.) Работник оказывается способным к «эффективному труду» по той причине, что «социальные факторы интегрируют его трудовые усилия в организованную трудовую деятельность всего коллектива»

(Malinowski. Agronants. P. 157). «Обмен вещами и услугами происходит главным образом в рамках устойчивых отношений товарищества, либо бывает обусловлен определенными общественными обязательствами, либо дополняется взаимопомощью в неэкономической сфере»

(Malinowski. Crime and Custom. P. 39).

Два основных принципа, управляющих экономическим поведением, это взаимность и хранение + распределение.

«Постоянные акты дарений и ответных дарений пронизывают всю жизнь племени»

(Malinowski. Agronants. P. 167). «То, что ты дал другому сегодня, будет компенсировано тем, что ты сам получишь завтра. Таков результат принципа взаимности, охватывающего всю организацию первобытного социума...»

(Thurnwald. Economics. P. 106). Известная дуальность институтов, или «симметричность структуры, которая обнаруживается в любом первобытном обществе, служит необходимой основой для обоюдных обязательств», обеспечивая действие принципа взаимности

(Malinowski. Crime and Custom. P. 25). «Симметричное разделение жилищ духов туземцев банаро обусловлено структурой их общества, которая также является симметричной»

(Thurnwald. Die Gemeinde der Banaro. 1921. P. 378).

Турнвальд установил, что помимо отношений взаимности, а иногда — в прямой связи с ними, чрезвычайно широко распространенной практикой, от первобытных охотничьих племен до громадных империй, было хранение и распределение. Сначала соответствующие предметы доставлялись в центр, после чего их самыми разными способами распределяли среди членов данной общины. Например, у племен Микронезии и Полинезии «цари как представители первого по знатности рода получают всевозможные доходы, а затем перераспределяют их под видом даров среди населения»

(Thurnwald. Economics. P. XII). Эта функция распределения является важнейшим источником политического могущества центральных органов (Ibid. P. 107).

ж) Сбор пищи исключительно для себя и своей семьи не характерен для первобытного человека.

Классики предполагали, что доэкономический человек должен был заботиться о себе и о собственном семействе. На рубеже веков эту гипотезу возродил в своей полной новых идей книге Карл Бюхер, и она приобрела огромную популярность. Результаты всех новейших исследований убедительно доказывают, что в данном пункте Бюхер заблуждался

(Firth. Primitive Economics of the New Zealand Maori. P. 12, 206, 350;

Thurnwald. Economics. P. 170, 268, а также Die menschliche Gesellschaft. Vol. III. P. 146;

Herskovits. The Economics Life of Primitive Peoples. 1940. P. 34;

Malinowski. Agronauts. P. 167, footnote).

з) Взаимность и перераспределение представляют собой принципы экономического поведения, характерные не только для небольших первобытных общин, но и для огромных, богатых империй.

«Распределение имеет собственную историю, восходящую к самым примитивным охотничьим племенам». «Иную ситуацию мы находим в обществах позднейшей и более резко выраженной стратификации...» «...Самым показательным примером является феномен контакта скотоводов с земледельцами» «...Эти общества во многом сходны, однако значение распределительной функции в них увеличивается вместе с ростом политического могущества отдельных родов и появлением единоличных правителей. Вождь получает от крестьян подарки, уже превратившиеся фактически в „налоги“, и распределяет их среди своих должностных лиц, прежде всего — связанных с его двором».

«Этот процесс приводил к возникновению более сложных форм распределения... Все архаические государства — древний Китай, Империя инков, индийские царства, Египет, Вавилония — использовали металлические деньги для уплаты налогов и жалованья, однако главная роль принадлежала платежам натурой из всевозможных хранилищ и амбаров... предназначавшимся чиновникам, воинам и праздным классам, т. е. непроизводительной части населения. В данном случае распределение выполняло главным образом экономическую функцию»

(Thurnwald. Economics. P. 106–108).

«Рассуждая о феодализме, мы обычно имеем в виду европейское средневековье... между тем данный институт довольно быстро возникает в стратифицированных обществах. Осуществление большинства сделок в натуре, а также претензии господствующего слоя на контроль над всей землей или всеми стадами представляют собой экономические причины феодализма...» (Ibid. P. 195)

К главе 5

Отдельные ссылки к главе «Эволюция рыночной модели»

Экономический либерализм ошибочно полагал, что его методы и приемы являются естественным следствием из общего закона прогресса. Чтобы подогнать их под единую схему, либералы проецировали на далекое прошлое принципы, лежащие в основе саморегулирующегося рынка, распространяя их таким образом на всю историю человеческой

цивилизации. В результате теория экономического либерализма почти до неузнаваемости искажила подлинный характер и происхождение торговли, рынков, денег, городской жизни и национальных государств.

а) Индустриальные акты «торга и обмена» являются в первобытном обществе чем-то исключительным и необычным.

«Первоначально ни о каком обмене не может быть и речи. Первобытный человек вовсе не испытывает неодолимого стремления обмениваться и торговать; напротив, эта процедура внушает ему отвращение»

(Biicher. Die Entstehung der Volkswirtschaft. 1904. P. 109). «Невозможно, например, выразить стоимость крючка для ловли скумбрии в терминах соответствующего количества пищи, поскольку в действительности подобного рода обменные операции никогда не совершаются, и туземец тикопия счел бы их чем-то странным и фантастичным... Каждый вид объектов строго соотносится с определенной социальной ситуацией»

(Firth. Op. cit. P. 340).

б) Торговля не возникает внутри данной общины; это внешний процесс, в котором участвуют разные человеческие коллективы.

«Исходной точкой развития торговли являются сделки между разными этническими группами. На древнейших стадиях социальной организации торговля происходит не между членами одного племени или одной общины, но представляет собой внешний феномен, процесс, в котором участвуют исключительно лишь разные племена»

(M. Weber. General Economic History. P. 195). «Это может показаться странным, и все же средневековая коммерция с самого начала развивалась под влиянием экспортной, а не местной торговли»

(Pirenne. Economic and Social History of Medieval Europe. P. 142). «Дальняя торговля обусловила экономический подъем в эпоху Средневековья»

(Pirenne. Medieval Cities. P. 125).

в) Торговля не опирается на рынки; она возникает из односторонних и не всегда мирных актов присвоения определенных предметов.

Турнвальд установил, что наиболее ранние формы торговли состояли попросту в поисках и завладении предметами, находившимися на значительном отдалении. По сути, это охотничья экспедиция. Приобретает ли она военный характер (как, например, в случае охоты за рабами или пиратства) зависит главным образом от того сопротивления, с которым сталкиваются ее участники (Op. cit. P. 145, 146). «Пиратство стояло у истоков морской торговли у греков гомеровской эпохи, точно так же, как и у скандинавских викингов; долгое время эти два промысла были неотделимы друг от друга»

(Pirenne. Economic and Social History. P. 109).

г) Наличие или отсутствие рынков не является существенно важной характеристикой; местным рынкам не свойственна тенденция к расширению.

«Из того, что некоторые экономические системы не знают рынков, вовсе не следует, что они непременно должны иметь еще какие-то общие черты»

(Thurnwald. Die menschliche Gesellschaft. Vol. III. P. 137). Первоначально на рынках «могли обмениваться только определенные количества определенных предметов» (Ibid. P. 137).

«Следует особо отметить мысль Турнвальда о том, что деньги и торговля в первобытных обществах представляют собой в своей основе скорее социальный, а не экономический феномен»

(Loeb. The Distribution and Function of Money in Early Society // Essays in Anthropology. P. 153). Местные рынки возникли не из «вооруженной торговли» или «молчаливого обмена» и не из иных форм внешней торговли, но из «мира», который сохранялся на традиционном месте встреч с вполне конкретной целью — сделать возможным обмен между соседями. «Функция местного рынка — обеспечивать постоянное население данной округи теми продуктами питания, в которых оно нуждается каждый день. Это помогает нам понять, почему подобные рынки устраивались раз в неделю, имели весьма узкий радиус притяжения и ограничивали свою деятельность мелкой розничной торговлей»

(Pirenne. Op. cit. Ch. 4, Commerce to the End of the Twentieth Century. P. 97). Даже в более позднюю эпоху местные рынки, в отличие от ярмарок, не обнаруживали тенденции к расширению. «Рынок удовлетворял потребности небольшого района, и посещали его исключительно лишь окрестные жители; продавались на рынке изделия местного производства и продукты, необходимые в повседневной жизни»

(Lipson. The Economic History of England. 1935. Vol. I. P. 221). Местная торговля «обычно возникала прежде всего как побочный промысел крестьян и лиц, занятых в домашней промышленности, и в целом как сезонное занятие...» (

Weber. Op. cit. P. 195). «На первый взгляд, кажется естественным предположение, что класс купцов постепенно вырос из среды земледельческого населения. Данная теория, однако, ничем не подтверждается»

(Pirenne. Medieval Cities. P. 111).

д) Разделение труда возникает не из торговли или обмена; оно обусловлено географическими, биологическими и иными неэкономическими факторами.

«Разделение труда вовсе не является следствием каких-то мудреных экономических соображений, как утверждает нам рационалистическая теория. Основной его источник — физиологические различия пола и возраста»

(Thurnwald. Economics. P. 212). «Едва ли не единственный вид разделения труда, который мы здесь встречаем, — это разделение труда между мужчинами и женщинами»

(Herskovits. Op. cit. P. 13). Симбиоз разных этнических групп — еще один путь возникновения разделения труда из биологических реалий. «Этнические группы превращаются в группы профессиональные через образование в обществе „высшего слоя“. Так складывается социальная организация, основанная, с одной стороны, на труде зависимого класса, а с другой — на власти распределять произведенное, которая принадлежит главным семействам господствующего слоя»

(Thurnwald. Economics. P. 86). Перед нами один из источников государства

(Thurnwald. Sozialpsychische Abläufe. P. 387).

е) Изобретение денег не имеет решающего значения; их присутствие или отсутствие далеко не всегда вносит существенные изменения в экономический уклад.

«Тот факт, что данное племя использовало деньги, сам по себе не слишком отличал его от остальных племен, денег не знавших»

(Loeb. Op. cit. P. 154). «Если даже деньги и используются, их функция сильно отличается от

той, которую выполняют они в нашей цивилизации. Они по-прежнему остаются конкретным материальным веществом, никогда не превращаясь в совершенно абстрактный знак стоимости»

(Thurnwald. Economics. P. 107). Неудобства и затруднения обмена не играли никакой роли в «изобретении» денег. «Противоположный взгляд, которого придерживались классические экономисты, опровергается современными этнологическими исследованиями»

(Loeb. Op. cit. P. 167, footnote, 6). Специфическое использование товаров, функционировавших в качестве денег, как и их символическое значение атрибутов власти, не позволяют нам рассматривать феномен «экономического владения с узко рационалистической точки зрения»

(Thurnwald. Economics). Деньги, к примеру, могут использоваться исключительно для уплаты жалованья и налогов (Ibid. P. 108) либо для выкупа за жену, пени за убийство родственникам убитого или штрафа. «Таким образом, из этих примеров, относящихся к государственному состоянию, явствует, что стоимость ценных предметов зависит от размера традиционных податей и приношений, от положения, занимаемого представителями высшего слоя, и от их конкретных связей с основной массой членов данной общины»

(Thurnwald. Economics. P. 263).

Деньги, как и рынки, представляют собой в основном внешний феномен, значение которого для общества определяется главным образом торговлей. «Само представление о деньгах приходит, как правило, извне»

(Loeb. Op. cit. P. 156). «Функция денег как всеобщего средства обмена возникла в сфере внешней торговли»

(Weber. Op. cit. P. 238).

ж) Первоначально внешняя торговля предполагала связи между коллективами, а не индивидами.

Торговля — это «групповое предприятие», она касается «предметов, приобретаемых коллективно». Истоки ее — в «коллективных торговых экспедициях». «В организации этих экспедиций, которые часто имеют характер внешней торговли, ярко проявляется принцип коллективности»

(Thurnwald. Economics. P. 145). «Древнейшие формы торговли — это всегда обмен между племенами»

(Weber. Op. cit. P. 195). Средневековая торговля, и это следует подчеркнуть, не являлась торговлей между индивидами. Это была «торговля между определенными городами,

межкоммунальная или

межмуниципальная торговля»

(Ashley. An Introduction to English Economics: History and Theory. Part I, The Middle Ages. P. 102).

з) В средние века деревня была отрезана от торговли.

«Вплоть до XV в. включительно города оставались единственными центрами торговли и промышленности, причем ни той ни другой не позволялось выходить за городские стены в сельскую местность»

(Pirenne. Economic and Social History. P. 169). «Борьба с деревенской торговлей и сельским ремеслом продолжалась, по крайней мере, семь или даже восемь столетий»

(Heckscher. Mercantilism. 1935. Vol. I. P. 129). Строгость этих запретительных мер возрастала вместе с развитием «демократической системы правления...» «На протяжении всего XIV в. против окрестных деревень высылали самые настоящие вооруженные экспедиции; ткацкие станки и красители для сукна уничтожались или конфисковывались»

(Pirenne. Op. cit. P. 211).

и) Средние века не знали свободной торговли между городами.

Межмуниципальная торговля предполагала особые, привилегированные отношения между определенными городами или группами городов, такими, например, как лондонская Ганза или немецкая Ганза. Отношения между подобными городами строились на двух принципах — взаимности и ответных репрессивных мер. Скажем, в случае неуплаты долгов магистраты города, где жил кредитор, могли обратиться к властям города, где обитал должник, с просьбой покарать его так, как поступают они в подобных обстоятельствах с собственными гражданами, «угрожая им при этом, что если долг так и не будет уплачен, то выходцы из этого города подвергнутся соответствующим репрессиям»

(Ashley. Op. cit. Part I. P. 109).

к) Государственного протекционизма не существовало.

«В плане чисто экономическом едва ли есть какая-либо необходимость проводить различия между отдельными странами в XIII в., ибо преград для человеческого общения внутри христианского мира тогда было меньше, чем существует их сейчас»

(Cunningham. Western Civilization in Its Economic Aspects. Vol. I. P. 3). Взимание пошлин на государственных границах началось лишь в XV в. «До этого времени не заметно ни малейших попыток со стороны властей оказать покровительство национальной торговле, оградив ее от иностранной конкуренции»

(Pirenne. Economic and Social History. P. 92). Все виды «международной» торговли были свободными (Power and Postan. Studies in England Trade in the Fifteenth Century).

л) Меркантилизм навязал городам и провинциям более свободный режим торговли внутри государственных границ.

Первый том работы Хекшера «Меркантилизм» (1925) называется

Меркантилизм как объединяющая система. В этом своем качестве меркантилизм «выступал против всего, что привязывало экономическую деятельность к определенному месту и служило препятствием для развития торговли в масштабах всего государства»

(Heckscher. Op. cit. Vol. II. P. 273). «Оба аспекта муниципальной политики — подавление торгово-промышленной активности деревни и борьба с конкуренцией других городов — противоречили экономическим целям государства»

(Pantén. Handel. In Handwörterbuch der Staatswissenschaft. Vol. VI. P. 281). «Чтобы создать рынки с автоматическим регулированием спроса и предложения, меркантилизм нередко навязывал конкуренцию»

(Heckscher). Первым современным автором, указавшим на либерализирующую тенденцию меркантильной системы, был Шмоллер

(Schmoller, 1884).

м) Средневековая регламентация была чрезвычайно успешной.

«После крушения древнего мира политика средневековых городов стала, вероятно, первой в Западной Европе попыткой упорядочить экономическую сторону жизни общества согласно последовательно проводимым принципам. Она увенчалась поразительным успехом... Еще одним примером подобного рода можно, пожалуй, назвать экономический либерализм, или

laissez-faire, в период его безраздельного господства, однако в смысле продолжительности либерализм, если сравнить его с постоянством и упорством политики городов, оказался всего лишь кратким и преходящим эпизодом»

(Heckscher. Op. cit. P. 139). «Города достигли этого с помощью системы правил и уставов, которая столь изумительно соответствовала своей цели, что мы вправе счесть ее своего рода шедевром... Городская экономика была достойна современной ей готической архитектуры»

(Pirenne. Medieval Cities. P. 217).

н) Меркантилизм распространил муниципальные порядки на всю территорию государства.

«Результатом стало распространение принципов экономической политики городов на более обширные регионы — своего рода городская политика, осуществляемая в масштабах государства»

(Heckscher. Op. cit. Vol. I. P. 131).

о) Политика меркантилизма была чрезвычайно эффективной.

«В сфере удовлетворения материальных потребностей меркантилизм создал сложную, тщательно продуманную и великолепно работавшую систему»

(Bucher. Op. cit. P. 159). Кольберовские *Reglements*, целью которых было высокое качество изделий как таковое, позволили добиться «потрясающих» успехов

(Heckscher. Op. cit. Vol. I. P. 166). «На общенациональный уровень экономическая жизнь поднялась главным образом благодаря политической централизации»

(Bucher. Op. cit. P. 157).

«Создание трудового кодекса, а также трудовой дисциплины, гораздо более строгой, чем все то, что мог обеспечить узкий партикуляризм средневековых городских властей» следует считать заслугой системы меркантилистской регламентации

(Brinkmann. Das soziale System des Kapitalismus. In Grundriss der Sozialökonomik. Abt. IV).

К главе 7

Литература по Спинхемленду

Ясное понимание решающей роли Спинхемленда мы находим лишь на закате эпохи капитализма. Разумеется, и до и после 1834 г. шли бесконечные разговоры о системе «денежных пособий» и о «дурном применении» Законодательства о бедных, однако исходной

точкой считали здесь, как правило, не Спинхемленд (1795), а Акт Гилберта (1782), и к тому же широкая публика не имела четкого представления о подлинном характере системы Спинхемленда.

Не имеет она его и теперь. Многие до сих пор твердо убеждены, что Спинхемленд означал попросту пособия беднякам, выдававшиеся всем подряд и без каких-либо ограничений. На самом же деле он представлял собой нечто совершенно иное, а именно регулярные дотации к зарплате. Современники лишь отчасти осознавали, что подобная практика прямо противоречит принципам тюдоровского законодательства, и вовсе не постигали того, что она является абсолютно несовместимой с формирующейся системой наемного труда. Что же касается реальных ее последствий, то лишь в более позднюю эпоху было обнаружено, что Спинхемленд в сочетании с законами против рабочих союзов способствовал снижению уровня заработной платы, превратившись по сути в субсидию для работодателей.

Классические экономисты так и не удосужились подвергнуть «систему пособий» столь же детальному исследованию, как, например, ренту или сферу денежного обращения. Все виды пособий и вспомоществований они свалили в одну кучу с «законами о бедных», решительно потребовав покончить с ними раз и навсегда. Ни Таунсенд, ни Мальтус, ни Рикардо не выступали за реформу Закона о бедных, они желали полной ее отмены. Бентам — единственный, кто потрудился изучить данный предмет, — был в этом вопросе менее категоричен, чем в других. Он и Берк осознали то, чего не сумел понять Питт, а именно, что по-настоящему порочным, развращающим принципом в этой системе был принцип дотаций к заработной плате.

Маркс и Энгельс не занимались исследованием Закона о бедных — а ведь, казалось бы, невозможно было вообразить более благодарного и выгодного для них занятия, чем обличение мнимо филантропической системы, которая, как принято было думать, потворствовала прихотям бедняков, а на самом деле снижала их заработную плату до уровня, не способного обеспечить даже полуголодное существование (в чем ей оказывали мощное содействие особые антипрофсоюзные законы), и, перекачивая общественные средства в карманы богачей, позволяла им с большой легкостью наживаться на неимущих. Но в их эпоху главным врагом успел стать Новый закон о бедных, старый же закон сильно идеализировали Коббет и чартисты. К тому же Энгельс и Маркс были убеждены (и вполне справедливо), что реформа Закона о бедных представляла собой неизбежный этап на пути к капитализму. В итоге они проглядели не только ряд чрезвычайно выигрышных в полемическом плане вопросов, но и тот связанный со Спинхемлендом аргумент, который мог бы подкрепить их теоретическую систему, а именно тезис о том, что капитализм не способен функционировать без свободного рынка труда.

Хэрриет Мартино в своих мрачных описаниях последствий Спинхемленда многое заимствовала из классических фрагментов Доклада Комиссии о реформе Законодательства о бедных (1834). The Goulds and Barings финансировали издание изящных томов, в которых она взялась просветить неимущих на предмет неизбежности их горестного удела — а Мартино была глубоко убеждена, что он неизбежен и что единственно лишь знание законов политической экономии способно помочь беднякам вынести столь печальную судьбу, — не могли бы найти более искреннего и в целом более осведомленного апостола их собственной веры (Illustrations to Political Economy. 1831. Vol. III; а также The Parish и The Hamlet в Poor Laws and Paupers. 1834). Ее «Тридцатилетний мир, 1816–1846» написан более трезво, и здесь заметны, скорее, симпатии к чартизму, нежели близость к покойному учителю, Бентаму (Vol. III. P. 489; Vol. IV. P. 453). Свою хронику Хэрриет Мартино завершила следующими знаменательными словами: «Лучшие умы и сердца в нашей стране занимает ныне великий вопрос о правах работников, а грозные события за границей предупреждают нас, что самой легкой карой за пренебрежение им станет всеобщая катастрофа. Можно ли поверить, что решение его так и не будет найдено? Этому решению суждено, вероятно, стать важнейшим фактом следующего периода британской истории, и тогда люди с большей ясностью, чем

теперь, поймут, что подготовка к нему и составляла глубинный смысл предшествовавшей эпохи Тридцатилетнего мира». Это было пророчество замедленного действия. В следующий период британской истории рабочий вопрос сошел со сцены, но он вернулся на нее в 70-е гг., а еще через полвека и в самом деле стал угрожать «всеобщей катастрофой». Разумеется, в 1840-е гг. было гораздо проще, нежели в 1940-е, заметить, что истоки этого вопроса восходили к принципам, лежавшим в основе Акта о реформе Законодательства о бедных.

На протяжении всей викторианской эпохи, да и после нее ни один философ или историк не снизошел до детального анализа таких мелочей, как экономические аспекты Спинхемленда. Если взять трех историков бентамизма, то сэр Лесли Стивен не потрудился войти в подробности; Эли Алеви (первый, кто осознал ключевую роль Закона о бедных в истории философского радикализма) имел о Спинхемленде лишь самое смутное представление. В третьей работе, у Дайси, подобный пробел кажется еще более поразительным. В своем блестящем анализе связей между законодательством и общественным мнением он рассматривал «laissez-faire» и «коллективизм» как уток и основу ткани. Сам же рисунок, полагал Дайси, был задан тогдашними тенденциями в развитии промышленности и торговли, иначе говоря, институтами, определявшими формы и характер экономической жизни. Никто не мог бы более энергично, чем Дайси, подчеркнуть главенствующую роль проблемы пауперизма в общественном мнении, как и особую важность реформы Закона о бедных для всей системы бентамистского законодательства. Однако центральное место, на которое ставили бентамисты в своих законодательных проектах реформу Закона о бедных, оказалось для него непонятным, и озадаченный Дайси решил, что речь здесь идет о том бремени, которым местный налог в пользу бедных ложился на промышленность. Историки экономической мысли даже такого уровня, как Шумпетер и Митчелл, анализировали концепции классических экономистов, совершенно не упоминая о Спинхемленде.

Предметом экономической истории промышленная революция стала в лекциях Тойнби (1881); ответственность за Спинхемленд с его принципом «богатые защищают бедных» последний возложил на торийский социализм. Примерно тогда же к этой теме обратился Уильям Каннингем, и она, как бы посредством чуда, воскресла для науки. Но его голос был гласом вопиющего в пустыне: Манту (1907), имевший возможность пользоваться в своей работе шедевром Каннингема (1881), рассуждал о Спинхемленде всего лишь как о «еще одной реформе» и довольно курьезным образом приписывал Спинхемленду тот результат, что он якобы «заставил неимущих идти на рынок труда». Бир, чей труд явился памятником раннему английскому социализму, о Законе о бедных почти не упоминал.

Спинхемленд был заново открыт лишь тогда, когда Хаммонды (1911) создали целостную картину новой цивилизации, приход которой возвестила промышленная революция. Для них он был частью не просто экономической, но и социальной истории. С. и Б. Уэббы (1927) продолжили эту работу, поставив вопрос о политических и экономических предпосылках Спинхемленда; при этом они ясно сознавали, что ведут речь об истоках социальных проблем нашего времени.

Дж. Г. Клепхем попытался выдвинуть аргументы против того, что можно было бы назвать институционалистским подходом к экономической истории, представителями которого были Энгельс, Маркс, Тойнби, Каннингем, Манту, а в более близкую нам эпоху — Хаммонды. Он решительно отказался рассматривать систему Спинхемленда как институт, трактуя ее всего лишь как частную особенность «аграрного строя» Англии (Vol. I. Ch. 4). Едва ли подобную позицию можно счесть правильной, ведь именно распространение Спинхемленда на города и разрушило эту систему. Кроме того, Клепхем отделил вопрос о влиянии Спинхемленда на местные налоги в пользу бедных от проблемы заработной платы, анализируя первый в рубрике «Экономическая деятельность государства». Это, опять же, был искусственный прием, ибо за пределами анализа оставались экономические аспекты Спинхемленда в контексте интересов класса работодателей, который выигрывал на низкой заработной плате столько же, если не больше, чем терял на налогах в пользу бедных. Но исключительно

добросовестное отношение Клепхема к фактам компенсировало ложную трактовку институтов. Именно Клепхем впервые указал на решающее влияние «огораживаний военной поры» на те районы, где применялся Закон Спинхемленда, и установил тот фактический уровень, до которого упала реальная заработная плата под воздействием последнего.

О полной несовместимости Спинхемленда с системой наемного труда всегда помнили лишь те, кто хранил верность традициям экономического либерализма. Лишь они ясно сознавала, что — в широком смысле — любая форма защиты труда предполагает нечто вроде принципа Спинхемленда — принципа интервенционизма. Негодующий Спенсер приклеивал ярлык «эрзац-зарплаты» (так в его краях называли систему денежных пособий) к любым «коллективистским» мерам и учреждениям — термин, который он не затруднился применить к государственному образованию, жилищному строительству, сфере отдыха и развлечений и т. д. Дайси в 1913 г. резюмировал свою критику в адрес Акта о пенсиях по старости (1908) в следующих словах: «По сути это не что иное, как новый вариант пособия беднякам, живущим самостоятельно». И он сомневался в том, были ли у политики экономических либералов какие-либо шансы на успех вообще. «Некоторые из их предложений так и не были реализованы; например, пособие неимущим, живущим самостоятельно, не отменено до сих пор». Если так думал Дайси, то для Мизеса было более чем естественно утверждать, что «пока выплачиваются пособия по безработице, непременно будет существовать и сама безработица» (Liberalisms. 1927. P. 74) и что «система помощи безработным оказалась на проверку одним из самых эффективных орудий разрушения» (Socialism. 1927. P. 484; Nationalökonomie. 1940. P. 720). Уолтер Липпман в своем «Хорошем обществе» (1937) попытался было отмежеваться от Спенсера, но лишь для того, чтобы солидаризироваться с Мизесом. Мизес и Липпман отражали либеральную реакцию на новый протекционизм 1920-х и 1930-х. Многие в тогдашней ситуации, вне всякого сомнения, напоминало Спинхемленд. В Австрии пособия по безработице субсидировало казначейство-банкрот; в Великобритании «долгосрочные пособия по безработице» невозможно было отличить от «благотворительных подачек»; в Америке действовали WPA и PWA; а сэр Альфред Монд, глава Imperial Chemical Industries, даже пропагандировал (правда, безуспешно) идею о том, что британские работодатели должны получить особые дотации из средств фонда помощи безработным, чтобы «восполнять до необходимого уровня» зарплаты и таким образом способствовать росту занятости. В вопросе безработицы, как и в валютном вопросе, бившийся в предсмертных судорогах либеральный капитализм столкнулся со все еще не решенными проблемами, полученными им в наследство от эпохи его юности.

Литература о пауперизме и о старом Законе о бедных (VIII–XIX вв.)

Acland, Compulsory Savings Plans (1786).

Anonymous, Considerations on Several Proposals Lately Made for the Better Maintenance of the Poor. With an Appendix (2nd ed., 1752).

Anonymous, A New Plan for the Better Maintenance of the Poor of England (1784).

An Address to the Public from the Philanthropic Society, instituted in 1788 for the Prevention of Crimes and the Reform of the Criminal poor (1788).

Applegarth, Rob., A Plea for the Poor (1790).

Belsham, Will, Remarks on the Bill for the Better Support and Maintenance of the Poor (1797).

Bentham, /., Pauper Management Improved (1802).

Bentham, /., Observations on the Restrictive and Prohibitory Commercial System (1821).

Bentham, /., Observations on the Poor Bill, introduced by the Right Honorable William Pitt; written February (1797).

Burke, E., Thoughts and Details on Scarcity (1795).

Cowe, James, Religious and Philanthropic Trusts (1797).

Crumple, Samuel, M. d., An Essay on the Best Means of Providing Employment for the People (1793).

Defoe, Daniel, Giving Alms No Charity, and Employing the Poor a Grievance to the Nation (1704).

Dyer, George, A Dissertation on the Theory and Practice of Benevolence (1795).

Dyer, George, The Complaints of the Poor People of England (1792).

Eden, On the Poor (1797). 3 vols.

Gilbert, Thomas, Plan for the Better Relief and Employment of the Poor (1781).

Godwin, William, Thoughts Occasioned by the Perusal of Dr. Parr's Spiritual.

Sermon, Preached at Christ Church April 15, 1800 (London, 1801).

Hampshire, State of the Poor (1795).

Hampshire Magistrate (E. Poulter), Comments on the Poor Bill (1797).

James, Isaac, Providence Displayed (London, 1800). P. 20.

Jones, Edw., The Prevention of Poverty (1796).

Luson, Hewling, Inferior Politics: or, Considerations on the Wretchedness and Profligacy of the Poor (1786).

M'Farlane, John, D. D., Enquiries Concerning the Poor (1782).

Martineau, H., The Parish (1833).

Martineau, H., The Hamlet (1833).

Martineau, H., The History of the Thirty Years' Peace (1849). 3 vols.

Martineau, H., Illustrations of Political Economy (1831-34). 9 vols.

Massie, /., A Plan... Penitent Prostitutes. Foundling Hospital, Poor and Poor Laws (1785).

Nasmith, James, D. D., A Charge, Isle of Ely (1799).

Owen, Robert, Report to the Committee of the Association for the Relief of the Manufacturing and Labouring Poor (1818).

Paine, Th., Agrarian Justice (1797).

Pew, Rich., Observations (1783).

Pitt, Wm. Morton, An Address to the Landed Interest of the defic. of Habitation and Fuel for the Use of the Poor (1797).

Plan of a Public Charity, A (1790), «on Starving», a sketch.

First Report of the Society for Bettering the Condition and Increasing the Comforts of the Poor.

Second Report of the Society for Bettering the Condition of the Poor (1797).

Ruggles, Tho., The History of the Poor (1793). 2 vols.

Sabatier, Wm., Esq., A Treatise on Poverty (1797).

Saunders, Robert, Observations.

Sherer, Rev. J. G., Present State of the Poor (1796).

Spitalfields institution. Good Meat Soup (1799).

St. Giles in the Field, Vestry of the United Parishes of Criticism of «Bill for the Better Support and Maintenance of the Poor» (1797).

Suffolk Gentleman, A Letter on the Poor Rates and the High Price of Provisions (1795).

Townsend, Wm., Dissertation on the Poor Laws 1789 by A Well-Wisher of Mankind.

Vancouver, John, Causes and Production of Poverty (1796).

Wilson, Rev. Edw., Observations on the Present State of the Poor (1795).

Wood, J., Letter to Sir William Pulteney (on Pitt's Bill) (1797).

Young, Sir W., Poor Houses and Work-houses (1796).

Некоторые новейшие работы

Ashley, Sir W. J., An Introduction to English Economic History and Theory (1931).

Belasco, Ph. S., John Bellers, 1654–1725. Economics, June, 1925.

Belasco, Ph. S., The Labour Exchange Ideal in the 17th Century. Ec. J. Vol. I. P. 275.

Blackmore, J. S. and

Mellonie, F. C Family Endowment and the Birthrate in the Early 19th Century. Vol. I.

Clapham, J. H., Economic History of Modern Britain. Vol. I. 1926.

Marshall, Dorothy, The Old Poor Law, 1662–1795. The Ec. Hist. Rev. Vol. VIII. 1937-38. P. 38.

Palgrave's Dictionary of Political Economy, Art. Poor Law. 1925.

Webb, S. And B., English Local Government. Vol. 709. Poor Law History. 1977-29.

Webb, Sidney, Social Movements, C M. H. Vol. XII. P. 730–65.

Спинхемленд и Вена

Впервые к изучению Спинхемленда и его воздействия на классических экономистов автора подтолкнула та чрезвычайно активно стимулировавшая мысль социально-экономическая

ситуация, которая сложилась после Великой войны в Австрии.

Здесь, в чисто капиталистическом окружении, социалистический муниципалитет установил порядки, подвергавшиеся яростной критике со стороны экономических либералов. Разумеется, некоторые элементы интервенционистской политики венских городских властей были несовместимы с механизмом рыночной экономики. И все же собственно экономические аргументы не исчерпывали эту проблему, которая в основе своей являлась не экономической, а социальной.

Изложим вкратце фактическую сторону вопроса. На протяжении большей части пятнадцатилетнего периода после Великой войны 1914–1918 гг. страхование по безработице в Австрии финансировалось в значительной степени из общественных фондов, что фактически делало пособия неимущим бессрочными; квартирная плата была зафиксирована на уровне во много раз ниже прежнего, а венский муниципалитет строил для сдачи в аренду на некоммерческих принципах большие многоквартирные дома, собирая необходимые средства через налоги. Дотаций к зарплатам не существовало, и всеохватывающая система социальной защиты, при всей скромности отдельных ее элементов, могла бы привести к резкому падению заработков, если бы не мощное профсоюзное движение, для которого долгосрочные пособия по безработице были, разумеется, серьезным подспорьем. Понятно, что в экономическом отношении подобная система представляла собой очевидную аномалию. Плата за жилье, искусственно удерживаемая на уровне, совершенно не способном обеспечить доход, была несовместима с существующей системой частного предпринимательства, особенно в строительной отрасли. К тому же в первые послевоенные годы меры социальной защиты в разоренной и нищей стране отрицательно сказывались на стабильности валюты — инфляционистская и интервенционистская политика шагали рука об руку.

В конце концов Вена, подобно Спинхемленду, рухнула под натиском политических сил, мощной поддержкой для которых служили чисто экономические аргументы. Политические перевороты 1832 г. в Англии и 1934 г. в Австрии имели своей целью избавить рынок труда от протекционистского вмешательства. Ни подвластная сквайру английская деревня, ни рабочая Вена не могли навечно изолировать себя от окружающего мира.

Ясно, однако, что между этими интервенционистскими периодами существовало огромное различие. Английскую деревню в 1795 г. нужно было уберечь от резких сдвигов и потрясений, обусловленных экономическим прогрессом — колоссальным рывком городской фабричной индустрии; промышленный рабочий класс Вены нуждался в 1918 г. в защите от последствий экономического упадка, вызванного войной, поражением и экономическим хаосом. В конечном счете Спинхемленд привел к кризису прежней системы организации труда, который открыл путь к новой эпохе процветания, тогда как победа «Хеймвера» в Австрии явилась прологом к национальной катастрофе и полному крушению социальной системы.

Здесь мы желаем подчеркнуть громадное несходство между культурными и моральными последствиями двух видов интервенционизма: попыткой Спинхемленда воспрепятствовать пришествию рыночной экономики и венским экспериментом, целью которого было полностью выйти за рамки подобной экономики. Если Спинхемленд означал истинное бедствие для простого народа, то Вена добилась одного из самых поразительных культурных триумфов в западной истории. 1795 г. привел к неслыханной нравственной деградации трудящихся классов, лишенных Спинхемлендом возможности приобрести новый общественный статус — статус промышленных рабочих; 1918 г. стал началом столь же беспрецедентного морального и интеллектуального подъема уже достаточно высокоразвитого промышленного рабочего класса; пользуясь защитой венской системы, он успешно противостоял нравственно разлагающим последствиям серьезных экономических потрясений и достиг культурного уровня, до которого ни до ни после не смогли подняться народные массы ни в одном индустриальном обществе.

Совершенно ясно, что стало результатом действия именно социальных, а не экономических факторов. Но сумели ли ортодоксальные экономисты правильно понять собственно экономические аспекты интервенционизма? По сути, экономические либералы доказывали, что венская система представляла собой еще один пример «дурного применения Закона о бедных», новый вариант «системы пособий», который нужно выжечь каленым железом классической политэкономии. Но разве сами творцы последней не были сбиты с толку сравнительно устойчивыми условиями, созданными Спинхемлендом? Нередко они с точностью рисовали контуры будущего, угадать которое помогала им глубокая интуиция, но совершенно ложно истолковывали собственную эпоху. Новейшие исследования показали, что их репутация людей, умевших здраво судить о практических вопросах, была незаслуженной. Мальтус превратно понимал потребности своего времени, и если бы его тенденциозные предостережения об угрозе перенаселения возымели действие на новобрачных (к которым он, англиканский священник, обращал их лично), то, как пишет Т. Г. Маршал, «экономический прогресс был бы задушен в колыбели». Рикардо неверно изложил факты, относившиеся к спору вокруг валюты и роли Английского банка, и не сумел понять истинные причины обесценения валюты, которые, как нам теперь известно, заключались главным образом в государственных платежах и трудностях в сфере трансфертных операций. Если бы власти последовали его советам по поводу Доклада о золотых слитках, то Британия проиграла бы войну с Наполеоном и «никакой Империи сегодня не существовало бы».

Так опыт Вены и его аналогии со Спинхемлендом, заставившие одних вновь обратиться к теории классических экономистов, внушили другим некоторые сомнения на ее счет.

К главе 8

Билль Уитбреда — почему бы и нет?

Единственной альтернативой Спинхемленду являлся, судя по всему, билль Уитбреда, внесенный в парламент зимой 1795 г. В нем предлагалось расширить Статут о ремесленниках 1563 г., включив в него пункт о ежегодном установлении минимальных расценок заработной платы. Подобный шаг, доказывал автор билля, укрепит елизаветинский принцип установления размеров заработной платы властями, распространив его с максимума на минимум, и таким образом позволит спасти английскую деревню от голода. Несомненно, он вполне соответствовал требованиям сложившейся тогда критической ситуации, и стоит отметить, что, скажем, члены нижней палаты от Сеффолка поддерживали билль Уитбреда, тогда как мировые судьи того же графства на своем собрании (где присутствовал сам Артур Юнг) одобрили принцип Спинхемленда: для неспециалистов различие между этими двумя мерами едва ли могло показаться таким уж громадным. И этому не стоит удивляться, ведь даже сто тридцать лет спустя, когда в Плате Монда (1926) была выдвинута идея использовать фонд помощи безработным для увеличения зарплаты занятых в промышленности, широкая публика по-прежнему не могла ясно понять принципиальное экономическое различие между помощью безработным и дотациями к заработной плате работающих.

Но в 1795 г. нужно было выбирать между минимальной заработной платой и дотациями к заработной плате. Различие между этими двумя курсами становится особенно заметным, если соотнести их с одновременной отменой Акта об оседлости 1662 г. Его отмена открывала путь к созданию национального рынка труда, главной целью которого было предоставить заработной плате возможность «самой находить свой истинный уровень».

Билль Уитбреда о минимальной заработной плате по своей основной тенденции шел

вразрез с этой целью, тогда как идея Закона Спинхемленда ей не противоречила. Расширив сферу действия Закона о бедных 1601 г., а не Статута о ремесленниках 1563 г. (как предлагал Уитбред), сквайры возвратились к патернализму лишь в отношении деревни, причем в таких его формах, которые подразумевали минимальное вмешательство в работу рынка,

фактически же выводили из строя рыночный механизм формирования заработной платы. То, что это так называемое расширение Закона о бедных означало по сути полный отказ от елизаветинского принципа законодательного принуждения к труду, так и не было признано открыто.

Для инициаторов Спинхемленда на первом месте стояли соображения практического характера. Его преподобие Эдуард Уилсон, каноник Виндзорский и мировой судья в графстве Беркшир, который, возможно, и был автором этой идеи, изложил свои взгляды в особом памфлете, где решительно высказался в пользу

laissez-faire. «Труд, — пишет он, — как и все, что выставляется на рынок, во все века находил свою цену без какого-либо вмешательства со стороны закона». (Для английского магистрата было бы более уместным противоположное утверждение, а именно что никогда, ни в какие века труд не находил свою цену без вмешательства со стороны закона.) Цифры, однако, показывают, продолжает каноник Виндзорский, что заработная плата растет медленнее, чем цены на хлеб, а потому он почтительно представляет на рассмотрение мировых судей «Положение о размерах пособия неимущим». Данное пособие должно было обеспечить семье из трех человек доход в пять шиллингов в неделю. В «Предупреждении» к его брошюре читаем: «Главная мысль настоящего сочинения была оглашена на собрании мировых судей графства в Ньюсбери, шестого мая сего года». Магистраты, как нам уже известно, пошли дальше, чем предлагал каноник: они единогласно утвердили шкалу в пять шиллингов шесть пенсов.

К главе 13

«Две нации» Дизраэли и проблема цветных народов

Различные авторы настойчиво подчеркивали внутреннее сходство между колониальными проблемами и проблемами раннего капитализма. Они, однако, не проследили эту аналогию в противоположном направлении, иначе говоря, не воспользовались возможностью пролить новый свет на положение беднейших классов Англии сто лет назад, представив их в качестве насильственно вырванных из рамок племенного уклада, деградировавших туземцев своей эпохи, какими они по сути и являлись.

Причина, по которой это очевидное сходство осталось незамеченным, лежит в нашей приверженности предрассудку о решающей роли экономического фактора, заставляющему нас чрезмерно преувеличивать значение экономических аспектов тех процессов, которые в основе своей не имеют экономического характера. Ибо ни расовая деградация в некоторых колониальных регионах в наше время, ни аналогичная дегуманизация трудящегося населения сто лет тому назад не были по своей природе экономическими явлениями.

а) Разрушительный культурный контакт не является преимущественно экономическим феноменом.

Большинство туземных обществ, пишет Л. Р. Мэр, переживает ныне процесс стремительной и насильственной трансформации, сравнить который можно лишь с бурными потрясениями

революции. Пришельцы, несомненно, преследуют экономические цели, и крах первобытного общества нередко бывает следствием уничтожения его экономических институтов, и все же ключевым моментом является здесь то, что

туземная культура оказывается неспособной ассимилировать новые экономические институты и по этой же причине распадается и гибнет, причем никакая упорядоченная система ценностей не приходит ей на смену.

Среди разрушительных тенденций, которые несет с собой западная цивилизация, на первом месте стоит «мир на обширной территории»: он подрывает основы «родового строя, власти старейшин, военной подготовки молодежи и делает практически невозможным передвижения отдельных родов или племен»

(Thurnwald. Black and White in East Africa; The Fabric of a Civilization. 1935. P. 394). «Очевидно, война придавала жизни туземца особую пряность и остроту, которых так недостает в нынешние мирные времена...» Запрет воевать приводит к уменьшению населения, ведь общее количество жертв в войнах туземцев было крайне незначительным, тогда как отсутствие войн означает утрату поднимавших «жизненный тонус» племени обычаев и ритуалов и, как следствие этой утраты, — нравственно разлагающую тоску и тупую апатию деревенского прозябания

(F. E. Williams. Depopulation of the Suan District. 1933. «Anthropology» Report, No. 13. P. 43). Сравните с этим «бодрость, энергию, эмоциональный подъем», характерные для жизни туземца в традиционной среде

(Goldenweiser. Loose Ends. P. 99).

Реальная опасность, по словам Гольденвейзера, это опасность оказаться в «пустом пространстве между двумя культурами»

(Goldenweiser. Anthropology. 1937. P. 429). «Старые культуры рушатся, а взамен их не появляется никаких новых ориентиров и норм» (

Thurnwald. Black and White. P. 111).

«Стремление сохранить общество, в котором накопление материальных ценностей считается асоциальным поведением, и при этом интегрировать его в современную белую культуру означает попытку соединить две несовместимые институциональные системы» (Wissel in Introduction to M. Mead, The Changing Culture of an Indian Tribe. 1937). «Носители пришлої культуры могут преуспеть в уничтожении туземной культуры, но они не способны ни уничтожить, ни ассимилировать ее носителей»

(Pitt, Rivers. «The Effect on Native Races of Contact With European Civilization» In Man. Vol. XXVII. 1927). Или, если воспользоваться меткими словами Лессера о других жертвах индустриальной цивилизации: «Со стадии культурной зрелости в качестве индейцев поуни они были низведены до уровня культурного младенчества белых людей» (The Pawnee Ghost Dance Hand Came. P. 44).

Причиной столь жалкого состояния вовсе не является экономическая эксплуатация в общепринятом ее понимании, т. е. в смысле экономических выгод, которые получает одна сторона за счет другой; хотя оно, это состояние, конечно же, тесно связано с переменами в экономических условиях, относящимися к собственности на землю, войне, браку и т. д. и затрагивающими широкий круг социальных привычек, обычаев и всякого рода традиций. Когда на редко заселенных территориях Западной Африки принудительно вводится денежная экономика, отнюдь не низкий уровень заработной платы становится причиной того, что туземцы «не могут купить продукты питания взамен тому, что уже не выращивают они сами,

ибо никто другой также не производит излишки продовольствия для продажи туземцам»

(Mair. *An African People in the Twentieth Century*. 1934. P. 5). Жизненный уклад последних предполагает иную шкалу ценностей; туземец бережлив и в то же время совершенно не способен мыслить рыночными категориями. «Когда на рынке избыток определенного товара, туземец будет запрашивать за него ту же цену, что и в период его нехватки; при этом он готов отправиться в далекий путь, чтобы ценой значительных затрат времени и сил сэкономить мизерную сумму на своих покупках»

(Mary H. Kingsley. *West African Studies*. P. 339). Рост заработной платы нередко влечет за собой падение интенсивности труда. Рассказывают, что когда индейцам племени сапотек в Техуантепеке начали платить 50 сентаво в день вместо 25, они стали работать в два раза хуже. Подобный парадокс был довольно распространенным явлением и на раннем этапе промышленной революции в Англии.

Такой экономический показатель, как динамика населения, помогает нам ничуть не больше, чем данные об уровне заработной платы. Гольденвейзер подтверждает сделанное в Меланезии знаменитое наблюдение Риверса: туземцы, лишённые своей традиционной культуры, «умирают от скуки». А. Ф. Э. Уильяме (миссионер, работавший в этом регионе) пишет, что «влияние психологического фактора на уровень смертности» объяснить не так уж трудно. «Многие наблюдатели отмечали ту поразительную легкость, или равнодушную готовность, с которой туземцы встречают смерть». «То, что прежние интересы и занятия туземца оказываются теперь под запретом, пагубно влияет на его душевное состояние. В результате сопротивляемость организма падает, и любая болезнь может быстро стать для туземца роковой» (Op. cit. P. 43). Это никак не связано с действием экономической нужды. «Таким образом, чрезвычайно высокий уровень естественного прироста населения может служить симптомом как жизнеспособности культуры, так и ее деградации»

(Frank Lorimer. *Observations on the Trend of Indian Population in the United States*. P. 11).

Процесс культурной деградации можно остановить только социальными мерами, которые несоизмеримы с чисто экономическими показателями уровня жизни; подобными мерами могут стать восстановление племенных форм землепользования или изоляция данного общества от влияния капиталистических рыночных методов.

«Единственным смертельным ударом стало отделение индейца от его земли», — писал в 1942 г. Джон Колльер. Всеобщий акт о земельных участках 1887 г. «индивидуализировал» владение землей у индейцев; вызванный им распад традиционной культуры привел к тому, что индейцы потеряли примерно три четверти, или девяносто миллионов акров своих земель. Акт о реорганизации 1934 г. восстановил племенную систему землепользования и спас индейское общество — причем достигнуто это было

через возрождение традиционной культуры.

То же самое происходит в Африке. Формы землевладения всюду играют ключевую роль, ибо именно на них самым прямым и непосредственным образом основывается вся социальная организация. То, в чем мы видим экономические конфликты — высокие налоги и ренты, низкая заработная плата, — почти всегда представляет собой замаскированные формы давления с целью принудить туземцев к отказу от традиционной культуры и таким образом заставить их приспосабливаться к методам рыночной экономики, т. е. работать за плату и приобретать необходимые товары на рынке. В ходе подобного процесса некоторые туземные племена, например кафры, а также те, кто переселился в города, полностью утратили унаследованные от предков добродетели, превратившись в жалкую и беспомощную толпу, в стадо «наполовину прирученных животных». Теперь мы встречаем среди них бездельников, воров, попрошайек и даже проституток (занятие, совершенно неведомое им прежде), и

невозможно найти для них более близкую аналогию, чем масса пауперизированного населения Англии 1795–1834 гг.

б) Человеческая деградация трудящихся классов в эпоху раннего капитализма стала результатом социальной катастрофы, которая не поддается выражению в экономических терминах.

Роберт Оуэн еще в 1816 г. говорил о своих рабочих, что «какую бы заработную плату они не получали, основная их масса обречена на жалкое и убогое существование...» (To the British Master Manufacturers. P. 146). Стоит вспомнить и прогноз Адама Смита о том, что оторванный от земли работник полностью утратит любые интеллектуальные интересы. А М'Фарлейн предсказывал, что «умение писать и читать будет становиться в среде простого народа все более редким» (Enquiries Concerning the Poor. 1782. P. 249–250). Примерно тридцать лет спустя Оуэн объяснял деградацию рабочих «отсутствием родительской заботы в детстве» и «изнурительным трудом», вследствие чего «в тех случаях, когда они получают высокую зарплату, невежество делает их неспособными разумно ею распорядиться». Сам он платил своим рабочим немного, повышая их статус через искусственное создание совершенно новой культурной среды. Пороки, распространившиеся в массе народа, были в целом те же, что и у цветного населения, которое деградировало под влиянием разрушительного контакта культур: пьянство, проституция, воровство, недостаток бережливости и предусмотрительности, неряшливость, низкая производительность труда, отсутствие чувства собственного достоинства и силы духа. Распространение рыночной экономики разрушало традиционную структуру крестьянского мира, сельскую общину, семью, старинные формы землевладения, нормы и обычаи, удерживавшие человеческую жизнь в рамках культурного поля. Защита, предоставленная Спинхемлендом, лишь ухудшила ситуацию. К началу 1830-х гг. социальная катастрофа простого народа была столь же полной, как и у современных кафров. Выдающийся негритянский социолог Чарльз С. Джонсон — и только он один — изменил аналогию между расовым вырождением и классовой деградацией, применив ее к последнему феномену: «В Англии, где промышленная революция развивалась быстрее, чем в остальной Европе, вызванный радикальным экономическим переустройством социальный хаос превратил детей бедняков в подобие „вещей“, которыми впоследствии суждено было стать африканским рабам... Аргументы, приводившиеся в оправдание системы детского крепостничества, почти тождественны апологиям работорговли» (Race Relations and Social Change. In: E. Thompson, Race Relations and the Race Problem. 1939. P. 274).

Выходные данные

Karl Polanyi

THE GREAT TRANSFORMATION

THE POLITICAL AND ECONOMIC ORIGINS OF OUR TIME

Карл Поланьи

ВЕЛИКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИСТОКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Перевод с английского А. А. Васильева, С. Е. Федорова и А. П. Шурбелева

Под общей редакцией С. Е. Федорова

Редколлегия серии:

Дмитриева О. В., Винокурова М. В., Лабутина Т. Л., Муха М. В., Репина Л. П., Сергеева Л. П., Федоров С. Е., Чамеев А.А.

Редакционный совет программы «Университетская библиотека»:

Н. С. Автономова, Т. А. Алексеева, М. Л. Андреев, В. И. Бахмин, М. А. Веденяпина, Е. Ю. Гениева, Ю.А. Кимелев, А. Я. Ливергант, Б. Г. Капустин, Ф. Линтер, А. В. Полетаев, И. М. Савельева, Л. П. Репина, А. М. Руткевич, А. Ф. Филиппов

Издание выпущено при поддержке Института «Открытое Общество» (Фонд Сороса) в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека»

This edition is published with the support of the Open Society Institute within the framework of «Poushkin Library» megaproject

Директор издательства: И. А. Савкин

Художественный редактор: Е. И. Шиленкова

Корректор: Н. П. Дралова

Оригинал-макет: Ж. О. Григорьева

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»:

193019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 13

Телефон издательства: (812) 567-2239

Факс: (812) 567-2253

E-mail: aletheia@spb.cityline.ru

Сдано в набор 24.04.2002.

Подписано в печать 28.08.2002.

Формат 60x88/14. 20 п. л.

Тираж 1000 экз. Заказ № 3562

Отпечатано с готовых диапозитивов в Академической типографии «Наука» РАН.

199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

Примечания

1

Sontag A . European Diplomatic History. L., 1871. P. 32–33.

2

Feis H. Europe, the World's Banker, 1870–1914. L., 1930.

3

Своеобразный, [единственный] в своем роде

(лат.) — Примеч. пер.

4

Feis H. Op.c\LP.20\.

5

Мир, навязанный Британией, мир по-британски

(лат.). — Примеч. пер.

6

Букв.: Оттоманский долг

(фр.); Комиссия по долгам Османской империи. —

Примеч. пер.

7

Hershey A. S. Essentials of International Public Law and Organization. L., 1927. P. 565–569.

8

Eulenburg F. Aussenhandel und Aussenhandelpolitik // Grundriss der Sozialoekonomik. Abt. VIII. 1929. S. 209.

9

Tawney R. И. The Agrarian Problems in the 16th Century. L., 1912.

10

Gibbins H. de B. The Industrial History of England. L., 1895.

11

Innes A. D. England under the Tudors. L., 1932.

12

Gairdner J. Henry VIII // Cambridge Modern History. Vol. II, 1918.

13

Heckscher E. F. Mercantilism. L., 1935. P. 104.

14

Clapham У.

H. Economic History of Modern Britain. Vol. III.

15

См. примечания к источникам, с. 435–441. В настоящей главе широко используются работы Малиновского и Турнвальда.

16

Семья

(лат.). — Примеч. пер.

17

Ср. примечания к источникам, с. 443–451.

18

Hawtrey G. R. The Economic Problem. L., 1925. P. 13. «Практическое применение принципа индивидуализма всецело зависит от практики обмена». Хоутри, однако, ошибался, полагая, что рынки возникают как простое следствие практики обмена.

19

Thurnwald R. C. Economic in Primitive Communities. L., 1932. P. 147.

20

Pirenne H. Medieval Cities. L., 1925. P. 148 (примеч. 12).

21

Firth Я. Primitive Polynesian Economics. L., 1939. P. 347.

22

Thyrnwald R. C. Op. cit. P. 162–164.

23

Поселок, селение, городок
(фр.). — Примеч. пер.

24

Букв.: «бог из машины»
(лат.). — Примеч. пер.

25

Далее в нашем изложении мы следуем известным работам А. Пиренна.

26

Montesquieu. De Tesprit des lois. 1748. «Англичане стесняют купца, но делают это в интересах торговли».

27

Henderson H. D. Supply and Demand. 1922. Рыночный механизм выполняет двойную функцию: распределяет факторы производства соответственно различным целям и

организует силы, определяющие обеспечение рынка всеми этими факторами.

28

Вне торговли

(лат.).

29

Hawtrey G. R. Op. cit. Роль его, согласно Хоутри, состоит в том, чтобы «приводить к взаимному соответствию рыночные цены всех товаров».

30

Утверждение Маркса о фетишизированном характере стоимости товаров относится к меновой стоимости подлинных товаров и совершенно не касается фиктивных товаров, о которых идет речь у нас.

31

Тем самым

(лат.).

32

Cunningham W. Economic Change // Cambridge Modern History. Vol. 1.

33

Meredith H. O. Outlines of the Economic History of England. L., 1908.

34

Martineau H. The Hamlet. L., 1833.

35

В своем роде, своеобразное
(лат.).

36

По мнению проф. Ашера, всеобщая урбанизация началась ок. 1795 г.

37

Martineau H. History of England During the Thirty Year's Peace (1816–1846). L., 1849.

38

Martineau H. The Parish. L., 1833.

39

M'Farlane I. Enquiries Concerning the Poor. L., 1782. Ср. также редакционное замечание Постлтуэйта в «Универсальном Словаре» 1757 г. о голландском Законе о бедных от 7 октября 1531 г.

40

Национальные мастерские (фр.).

41

Национальные мастерские (нем.).

42

В зародыше, в зачатке (лат.).

43

Bentham J . Pauper Management (1-е изд. 1797).

44

Невмешательство государства в экономику (фр.).

45

Ср. рассказы Антонио де Уллоа, Уэйфера, Уильяма Фаннела, а так же Исаака Джеймса (содержащий сообщение капитана Вуд-Роджерса об Александре Селкирке) и замечания Эдуарда Кука.

46

Webb S. and B. English Local Government, Vols VII–IX. Poor Law History.

47

Bentham J . Principles of Civil Code Ch. 4. (Bowring, Vol. 1. P. 333).

48

Bentham J. Principles of Civil Code Ch. 4.

49

Bentham J. Observations on the Poor Bill. 1797.

50

Bentham J. Principles of Civil Code. P. 317.

51

1832 г.

52

Sir L. Stephen. The English Utilitarian. L., 1900.

53

Mantoux P. L. The Industrial Revolution in the XIXth Century. L., 1928.

54

Каппан Е. A Review of Economic Theory. L., 1930.

55

Hazlitt W. A Reply to the Essay on Population by the Rev. T. A. Malthus in a Series of Letters. L., 1803.

56

Ricardo D. Principles of Political Economy and Taxation / Ed. by W. Gonner. L., 1929. P. 86.

57

Естественный порядок вещей (фр.).

58

Webb S. and B. Op. cit.

59

Redlich and Hirst J. Local Government in England. Vol II. P. 240; цит. по:

Dicey A. V. Law and Opinion in England. P. 305.

60

Ilbert. Legislative Methods. P. 212–213; цит. по:

Dicey A. V. Op. cit.

61

Spencer H. The Man vs. the State. 1884.

62

Marx K. Nationalökonomie und Philosophie // Der Historische Materialismus. Berlin, 1932.

63

Millin Mrs. S. G. The South Africans. L., 1926.

64

Goldenweiser A. Anthropology. L., 1937.

65

Goldenweiser A. Ibid.

66

Thurnwald R. C. Black and White in East Africa; The Fabric of New Civilization. L., 1935.

67

Положение обязывает (фр).

68

Mair L. P. An African People in Twentieth Century. L., 1934.

69

Loeb E. M. The Distribution and Function of Money in Early Society // Essays in anthropology. L., 1936.

70

Herskovits M. J. The Economic Life of Primitive Peoples. L., 1940.

71

Thurnwald R. C. Op.cit.

72

Brinkmann C. Das soziale System des Kapitalismus // Grundriss der Sozialökonomik. 1924.

73

Toynbee A. Lectures on the Industrial Revolution. L., 1887. P. 98.

74

Dicey A.V. Op. cit. P. 226.

75

В состоянии зарождения, формирования (лат.).

76

More H. The Lancashire Colliery Girl. May, 1795: cf.

Hammond J. L. and B. The Town Labourer, 1917. P. 230.

77

Cf.:

Drucker P. F. The End of Economic Man. L., 1939. P. 93, о британских евангелических церквях;
The Future of Industrial Man. L., 1942. P. 21 and 194, о статусе и функции.

78

Knowles L. The Industrial and Commercial Revolution in Great Britain During the 19th Century. L., 1926.

79

Brinkmann C. Das soziale System des Kapitalismus // Grundriss der Sozialökonomik. 1924.

80

Dicey A. K Op. cit. P. 226.

81

Ohein B. Interregional and International Trade. L., 1935. P. 42.

82

Biicher K. Entstehung der Volkswirtschaft. 1904. Cp. также

Penrose E. F. Population Theories and Their Application, 1934, где цитируется Longfield, 1834, впервые высказавший мысль о том, что движение товаров можно рассматривать как замену движения факторов производства.

Borkenau F. The Totalitarian Enemy. 1939. Chapter «Towards Collectivism».

Hawtrey R. G. The Economic Problem. L., 1933.

Trevelyan G.

M. History of England. L., 1926. P. 533. «При Уолполе Англия по-прежнему оставалась аристократией, ограниченной беспорядками». Одна из песенок «назидательных» брошюр Ханны Мор, «Мятеж», была написана в «девяносто пятом, в год нужды и тревоги» — это был год Спинхемленда. Cf.: The Repository Tracts. Vol. I. New York, 1835. См. также: The Library, 1940. fourth series. Vol. XX. P. 295, on «Cheap Repository Tracts (1795-98)».

Hayes C. N. (A Generation of Materialism, 1870–1890) замечает, что «большинство отдельных государств, по крайней мере, в Западной и Центральной Европе, обладает теперь, по-видимому, высочайшей внутренней стабильностью».

Carr E. H. The Twenty Years' Crisis, 1919–1939. 1940.

Haberler G. Der Internationale Handel. 1933. P. VI.

G. D. H. Cole называет 70-е гг. «безусловно, самым активным периодом социального законодательства на протяжении всего девятнадцатого века».

90

Hadley A. T. Economics: An Account of the Relations between Private Property and Public Welfare. L., 1896.

91

Bentham J. Manual of Political Economy. P. 44, об инфляции как «вынужденной умеренности»; P. 45 (примечание) о ней же как о «косвенном налоге». Ср. также: Principles of Civil Code, Ch. 15.

92

Polanyi K. Der Mechanismus der Weltwirtschaftskrise. Der Österreichische Volkswirt. 1933 (Приложение).

93

Тупик, безвыходное положение (фр.).

94

Polanyi K. The Essence of Fascism // Christianity and the Social Revolution. L., 1935.

95

Неутанн Н. Plan for Permanent Peace. Ср. письмо Брюнинга от 8 августа 1940 г.

96

Rausching H. The Voice of Destruction. L., 1940.

97

Букв.: связка, пучок; группа (ит.); полувоенные праворадикальные организации в Италии 1919–1921 гг.

98

British Blue Book. № 24. Cmb. 6106. 1939.

99

Ради сохранения равновесия в Европе
(лат.).